



*125-летию Игоря Северянина
120-летию Марины Цветаевой
посвящается*

XXI
век

СЕНТЯБРЬ



2012

Ежегодный альманах

АССОЦИАЦИЯ «ЛЕРМОНТОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД «ДОРОГА ЖИЗНИ»

Ежегодный альманах

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

XXI ВЕК

125-летию Игоря СЕВЕРЯНИНА
120-летию Марины ЦВЕТАЕВОЙ

посвящается

МОСКВА · ВОРОНЕЖ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЖУРНАЛА «ПОДЪЁМ»
2012

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2=411.2)6-5 Д34

Издание осуществлено при поддержке
департамента культуры и архивного дела
Воронежской области

Некоммерческое издание

Д 34 День поэзии — XXI век. 2012 год.
Альманах: Стихи, статьи. — Воронеж:
издательство журнала «Подъём»,
2012 г. — 312 с.

Издательство зарегистрировано в Федеральной
службе по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране
памятников культурного наследия.
Рег. ПИ № ФС77-25467 от 25 августа 2006 г.

ISBN 978-5-4420-0153-2

Редакторский совет:

Иван ЩЁЛОКОВ (Воронеж),
выпускающий главный редактор
Андрей ШАЦКОВ,
креативный главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА
(Санкт-Петербург)
Сергей МНАЦКАНЯН

Составители:

Вячеслав ЛЮТЫЙ (Воронеж)
Аршак ТЕР-МАРКАРЬЯН

Редакционная коллегия:

Лев АННИНСКИЙ
Валерий ДУДАРЕВ
Геннадий КРАСНИКОВ
Татьяна КУЗОВЛЕВА
Евгений МИНИН
(Иерусалим, Израиль)
Маргарита ШУВАЛОВА
(Нижегородская обл.)

Попечительский совет:

Михаил ЛЕРМОНТОВ,
председатель
Дмитрий МИЗГУЛИН
(Ханты-Мансийск), сопредседатель
Иван ОБРАЗЦОВ
(Воронеж), сопредседатель
Евгений БОГАТЫРЁВ
Вячеслав КАРАБАНОВ
(Волоколамск)
Владимир КОСТРОВ
Виктор ЛИННИК
Александр СОКОЛОВ

© Коллектив авторов, 2012.

© Составление. Ассоциация

«Лермонтовское наследие», журнал «Подъём», 2012.

© Оформление: журнал «Подъём»

СОДЕРЖАНИЕ

Мария АВВАКУМОВА	18	Александр КЛИМОВ-ЮЖИН	140
Анатолий АВРУТИН	19	Александр М. КОБРИНСКИЙ	142
Олег АЛЁШИН	22	Александр КОВАЛЁВ	143
Александр АНАШКИН	23	Кирилл КОЗЛОВ	145
Александр АСМАНОВ	24	Сергей КОЗЛОВ	147
Алёна БАИКИНА.....	26	Леонид КОЛГАНОВ	148
Ника БАТХЕН	27	Валентина КОРОСТЕЛЁВА	150
Юрий БЕЛИКОВ	29	Владимир КОСТРОВ	151
Алексей БОЛДЫРЕВ	31	Лев КОТЮКОВ	153
Владимир БОЯРИНОВ	32	Геннадий КРАСНИКОВ	156
Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ	34	Алексей КРЕСТИНИН	157
Виктор БУДАКОВ	36	Юрий КУБЛАНОВСКИЙ	158
Александр БУНЕЕВ	38	Марина КУДИМОВА	161
<u>Константин ВАНШЕНКИН</u>	39	Татьяна КУЗОВЛЕВА	164
Лариса ВАСИЛЬЕВА	41	Василий КУЛИКОВ-ЯРМОНОВ	166
Марина ВИРТА	60	Александр КУШНЕР	168
Наталья ГАЛКИНА	61	Валерий ЛАТЫНИН	174
Александр ГЕРАСИМОВ	63	Александр ЛЕОНТЬЕВ	175
Юлия ГИАЦИНТОВА	65	Светлана ЛЕОНТЬЕВА	177
Александр ГОЛУБЕВ	67	Евгений ЛЕСИН	178
Глеб ГОРБОВСКИЙ	69	Игорь ЛОГВИНОВ	180
Надежда ГОРЛОВА	71	Борис ЛУКИН	181
Александр ГОРОДНИЦКИЙ	73	Евгений ЛУКИН	182
Наталья ГРАНЦЕВА	76	Светлана ЛЯШОВА-ДОЛИНСКАЯ ..	184
Сергей ДРОЗДОВ	78	Елена МАКСИНА	185
Баир ДУГАРОВ	85	Мария МАЛИНОВСКАЯ	187
Валерий ДУДАРЕВ	86	Мария МАРКОВА	188
Евгений ЕВТУШЕНКО	87	Новелла МАТВЕЕВА	189
Анастасия ЕРМАКОВА	90	Олег МЕЛЬНИКОВ	192
Александр ЗАЙЦЕВ	92	Дмитрий МИЗГУЛИН	193
Максим ЗАМШЕВ	93	Евгений МИНИН	196
Николай ЗИНОВЬЕВ	95	Валерий МИХАЙЛОВ	198
Людмила ЗЛАЧЕВСКАЯ	96	Сергей МНАЦАКАНЯН	200
Геннадий ИВАНОВ	106	Ирина МОИСЕЕВА	202
Александр ИВУШКИН	108	Валентин НЕРВИН	203
Дарья ИЛЬГОВА	110	Галина НЕРПИНА	204
Мила ИЛЬИНА	111	Александр НЕСТРУГИН	206
Егор ИСАЕВ	112	Александра НИКУЛИНА	208
Елена ИСАЕВА	114	Евгений НОВИЧИХИН	209
Геннадий КАЛАШНИКОВ	117	Ирина ОБРАЗЦОВА	211
Людмила КАЛИНИНА	118	Григорий ОСИПОВ	212
Людмила КАЛЯЗИНА	120	Игорь ПАНИН	222
Евгений КАМИНСКИЙ	121	Николай ПЕРЕЯСЛОВ	223
Диана КАН	127	Юрий ПЕРМИНОВ	226
Бахытжан КАНАПЬЯНОВ	129	Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН	228
Валентин КАРАСЁВ	131	Екатерина ПОЛЯНСКАЯ	229
Светлана КЕКОВА	132	Василий ПОПОВ	232
Виктор КИРЮШИН	135	Евгений ПОПОВ	233
		Сергей ПОПОВ	235
		Алексей ПУРИН	236
		Алексей РАФИЕВ	238

Валентин РЕЗНИК	239
Наталья РОЖКОВА	241
Андрей РОМАНОВ	242
Геннадий РУСАКОВ	244
Анатолий РЫБКИН	247
Ольга РЫЧКОВА	248
Юрий РЯШЕНЦЕВ	249
Константин САВЕЛЬЕВ	252
Евгений СЕМИЧЕВ	253
Владимир СИЛКИН	255
Владимир СКВОРЦОВ	257
Владимир СКИФ	258
Сергей СОКОЛКИН	260
Валентин СОРОКИН	267
Евгений СТЕПАНОВ	269
Анатолий СТОЛЯРОВ	271
Марина СТРУКОВА	272
Наталья СТРУЧКОВА	274
Светлана СЫРНЕВА	276
Сергей ТЕЛЮК	277
Владимир ТЕПЛЯКОВ	278
Аршак ТЕР-МАРКАРЬЯН	280
Галина УМЫВАКИНА	282
Валентин УСТИНОВ	283
Александр ФИГАРЕВ	285
Владимир ХОХЛЕВ	289
Евгений ЧЕПУРНЫХ	290
Вита ШАФРОНСКАЯ	292
Андрей ШАЦКОВ	293
Владимир ШЕМШУЧЕНКО	295
Виктор ШИРОКОВ	297
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ	299
Алексей ШОРОХОВ	300
Маргарита ШУВАЛОВА	302
Андрей ЩЕРБАК-ЖУКОВ	303
Иван ЩЁЛОКОВ	305
Евгений ЮШИН	307
Евгений ЭРАСТОВ	310

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Лев АННИНСКИЙ	5
Иван ЩЁЛОКОВ	45
Станислав КУНЯЕВ	80
Геннадий КРАСНИКОВ	97
Вячеслав ЛЮТЫЙ	123
Александр КУВАКИН	137
Сергей МНАЦАКАНЯН	171
Лев АННИНСКИЙ	214
Лев АННИНСКИЙ	261
Андрей ШАЦКОВ	286

ЮБИЛЯРЫ 2012 года

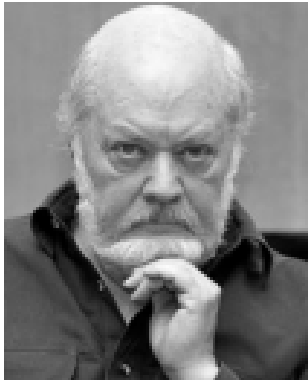
Евгений ЕВТУШЕНКО,
Валентина КОРОСТЕЛЁВА,
Станислав КУНЯЕВ,
Евгений СЕМИЧЕВ,
Андрей ШАЦКОВ

Редакторский совет, редакционная
коллегия и попечительский совет
альманаха «День поэзии – XXI век»
сердечно поздравляют с юбилеями
своих авторов и желают им
дальнейших успехов во славу
поэтического слова!



Лев АННИНСКИЙ

Москва



СТРАНА ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА

К 125-летию со дня рождения поэта

*Моя ползучая Россия –
Крылатая моя страна...
Игорь Северянин*

Ползает плоть – дух летает. Мучительно вползать в литературу, когда за плечами – четыре класса череповецкой «ремеслухи», и ни одна серьёзная редакция не интересуется поэтическими опытами самоучки, опьянённого Фофановым и Лохвицкой. И ни один салон не принимает паспортно-урождённого питерца, который успел понежиться первый десяток лет жизни на рафинированных дачах («мы жили в Гунгербурге, в Стрельне, езжали в Царское Село»), а потом, сорванный отцом, протаскался ещё семь лет по Новгородчине («в глухих лесах»), по Уралу и Сибири («синь Енисея»), за месяц до русско-японской войны сбежал с Дальнего Востока в родимый Питер и теперь рассылает свои стихи по журналам. Дальше «Колокольчика», однако, не продвигается – в основном ничтожными брошюрками издаёт за свой счёт.

Наконец, в 1909 году кто-то, входящий в Ясную Поляну, вместе с прочей литературной почтой доставляет туда брошюрку и вчитывает некую «поэзу» или «хабанеру» в ошетиненное брадищей ухо Толстого. Что-нибудь такое:

*Вонзите штопор в упругость пробки, –
И взоры женщин не будут робки!..*

Или такое:

*Не всё равно ли, – скот, человек ли, –
Не в этом дело...*

Или такое:

*Милый мой, иди на ловлю
Стерлядей, оставь соху...*

Толстой смеётся, но потом приходит в ярость. «Чем занимаются! Чем занимаются! И это – литература?! Вокруг – виселицы, полчища безработных, убийства, пьянство невероятное, а у них – упругость пробки!» Со скоростью журналистского спринта «Биржевка» предаёт приговор гласности и... наступает звёздный час автора безвестных «хабанер». Прознав, на кого пал яснополянский гнев, московские газетчики устраивают облаву: в одночасье Игорь Лотарев, избравший для себя знойный псевдоним – «Северянин», становится известен на всю Россию.

Впоследствии, возвращая долг великому старцу, «король поэтов» напишет о нём так:

*Солдат, священник, вождь, рабочий, пьяный
Скитались перед Ясною Поляной,
Измученные в блуде и во зле.
К ним выходило старческое тело,
Утешить и помочь им всем хотело
И – не могло: дух был не на земле...*

Заметим перечень, где от «солдата» до «пьяного» выстроен «народ» – мы к нему ещё вернёмся, а пока – о поэте.

Отчасти перед нами и автопортрет. Дух летает, а тело «ходит». Отныне даже и «бегают»: сорок журналов оспаривают право напечатать стихи; женские гимназии, институты, училища, курсы и благородные собрания рвут на части вошедшего в моду автора, зазывая на вечера.

И наконец, в его сторону поворачивают головы громовержцы поэтического Олимпа.

Позже крестник скажет: «Милыоны женских поцелуев – ничто пред почестью богам: и целовал мне руки Клюев, и падал Фофанов к ногам!»

Насчёт Клюева – сомнительно, а насчёт Фофанова – правда, впрочем, стилизованная: мэтр, если и падал, то спяну. Но талант оценил. Первым – Фофанов, затем – Брюсов, затем Сологуб. Потом – все: Гумилёв, Ахматова, Блок...

Что «Гумилёв стоял у двери, заманивая в «Аполлон» – явное преувеличение, а что признал – факт. Хотя признал с оговорками.

И долг будет возвращён – с оговорками. «Уродливый и блёклый Гумилёв» потянет только на «стилистический шарм». Зато в Ахматовой будет учуяна «бессменная боль» и узрена – высшая похвала! – «вуаль печали». Главное же – Блок. Блок сказал (если суммировать): Северянин – истинный поэт, талант его – свежий, детский, но у него НЕТ ТЕМЫ; это – капитан Лебядкин...

Люди, читавшие Достоевского, конечно, вздрогнут от такой похвалы; Блок, предвидя это, прибавил: «Ведь стихи капитана Лебядкина очень хорошие...» В каком смысле? –

позволительно уточнить. В смысле: что на душе, то и на языке. Детская непосредственность. Прозрачность. Открытость.

Отдавая долг, Северянин напишет: «Мгновенья высокой красоты! Совсем незнакомый, чужой, в одиннадцатом году прислал мне «Ночные часы». Я надпись его приведу: «Поэту с открытой душой».

И по-детски подхватит «блоковское»:

*Вселенную, знайте, спасёт
Наш ВАРВАРСКИЙ русский Восток!*

В устах Северянина этот скифский выкрик звучит скорее жалобно, чем угрожающе, но что душа его детски, незащитно открыта всему, что в неё залетает, действительно поразительная и, может быть, уникальная его черта в сонме великих поэтов. И защищается он в их кругу детски наивно. От простонародной поскони: «*И, сопли утерев, Есенин уже созрел пасти стада*». От интеллигентской сложности: «*Когда в поэты тщится Пастернак, разумничает Недоразуменье*». От безудержной ангажированности: «*Блондинка с папироскою, в зелёном, беспочвенных безбожников божок, гремит в стихах про волжский бережок, о в персиянку Разине влюблённом*».

Обратная связь: «От лица правды и поэзии приветствую Вас, дорогой!» – импульсивное письмо, написанное ему Цветаевой в 1931 году в Париже после «поэзоконцерта», данного там Северяниным. Письмо не отправлено из-за быстрого отъезда адресата. А может, из-за учуянной неприязни. Вот эпиграмма 1937 года: «Она цветёт не божьим даром, не совокупностью красот. Она цветёт почти что даром: одной фамилией цветёт» – не опубликована. А вот цветаевские записи: «Поэт пронзительной человечности», «романтизм, идеализация, самая прекрасная форма чувственности...» Тоже не для печати, для себя. Создаётся впечатление сорвавшегося, не состоявшегося взаимопонимания. Отчего не состоялось? Не от общей ли «ауры», окружавшей певца «ананасов в шампанском»? Когда в 1912 году Цветаева, молоденькая, и, кажется, в зелёном платье (но ещё вроде бы без папироски), впервые попадает в Крым, в волошинском доме ей шепчут: «Знаете, кто здесь? Северянин...» – и тайком ведут в аллею, где молодой человек, изящно склонившись к кусту, нюхает розы. Розыгрыш! Артист открывает своё имя: Сергей Эфрон. С этой сцены начинается любовная драма Цветаевой – Северянин символом стоит при её начале, и характерно отношение к нему действующих лиц. В самый взлёт популярности автора «грёзо-фарсов» в самых рафинированных интеллигентских кругах принято его как бы сторониться, стесняться, принимать с лёгким пожатием плеч либо со здоровым юмором. Чтобы сказать ему: «Приветствую Вас, дорогой», нужно всё это переступить...

Всё это и откликается годы спустя при отдаче долгов, когда мучительно и самозабвенно чеканит в «медальонах» отрезанный от России, запёртый в эстонской глуши Северянин портреты великих современников, в кругу которых он видит и своё бесспорное, но несколько двусмысленное место.

Две фигуры особенно интересны в этом кругу. Во-первых, Хлебников – тем, что начисто проигнорирован. И во-вторых, Маяковский – тем, что энтузиастически поддержан.



Дисконттакт с Хлебниковым на первый взгляд странен. Казалось бы, здесь близки сами принципы словесного пересотворения реальности. «Струнец благородный», поющий «пахуче, цветочно и птично», неутомимый «будоражич», влекомый «узовом», – чем это не Хлебников?

А может, потому и несовместимы, что стоят – поэтически – в одной точке, но смотрят – в разные стороны: один – в прабытие, другой – в лазурную «даль»?

С Маяковским – обратный случай: один – в марширующих колоннах пролетариата, другой – в «олуненных аллеях», где шелестят платья «дам», а связь очевидна, притом – прочнейшая, никакими революциями не поколебленная! «Мы никогда почему-то не говорили с Володей о революции, хотя оба таили её в душах». Почему «таили»? Потому что и без «революций» чувствовалась тяга?

Тяга с обеих сторон. Со стороны Маяковского, который Северянина постоянно цитирует и декламирует. И, встретив его в 1922 году в Берлине, окликает радостно: «Или ты не узнаёшь меня, Игорь Васильевич?» – И рапортует: «Проехал Нарву. Вспоминаю: где-то близ неё живёшь ты. Спрашиваю: «Где тут Тойла?» Говорят: «От станции Иеве в сторону моря». Дождался Иеве, снял шляпу и сказал вслух, смотря в сторону моря: «Приветствую тебя, Игорь Васильевич!»

Вот так: перед богом шляпы не снимал, а тут – снял.

А вот и отклик – в «Медальонах»:

*В иных условиях и сам, пожалуй,
Он стал иным, детина этот шальй,
Кошунник, шут и пресненский апаш:
В нём слишком много удали и мощи,
Какой полны издревле наши рощи,
Уж слишком весь он русский, слишком наш!*

Это, пожалуй, поточнее, чем «народа водитель – народный слуга»?..

Они родственны изначально, фундаментально, уже тем, что оба – вне «фундамента» – маргиналы, оба с «краёв». Только Маяковский, с «края» явившись, хочет «середину» сокрушить, Северянин же – всё обновить, но и сохранить разом. И предков своих любовно перечисляет, почитая не только «юного адъютанта», который «оказался Лотаревым, впоследствии моим отцом» и растратился в роли «коммерческого агента», но и мать, дворянку старинного рода и, между прочим, урождённую Шеншину.

Всё это не мешает отпрыску шеншинского рода на пару с отпрыском казаков и

сичевиков (две ветви русского «футуризма») дразнить и злить толстозадую чернь, таскающуюся на их поэзоконцерты. Маяковский издевается зло, нахально, грубо. Северянин издевается тонко:

*В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом
Вы такая эстетная, вы такая изящная...
Но кого же в любовники? И найдётся ли пара вам?
Ножки пледом закутайте дорогим, ягуаровым,
И, садясь комфортно в ландолете бензиновом,
Жизнь доверьте вы мальчику в макинтоше резиновом...*

Человек, мало-мальски чувствующий «запах слов» в стихе, не обманется бензиново-резиновым оттенком «рая».

Но происходит невероятное: публика — обманывается. Ананасно-шампанская чернь проники как бы не воспринимает.

В результате: Маяковский получает то, чего добивался, — ненависть. Северянин получает то, на что никак не рассчитывал: идольское поклонение.

Или втайне рассчитывал?

Потом всю жизнь отрещивается, выбивая свой профиль на «медальоне»:

*Он тем хорош, что он совсем не то,
Что думает о нём толпа пустая,
Стихов принципиально не читая,
Раз нет в них ананасов и авто.*

Разумеется, Игорь Северянин «совсем не то», чем вольно или невольно делается по выходе в 1913 году «Громокипящего кубка» и кем остаётся вплоть до того умопомрачительного дня 27 февраля 1918 года, когда в московском Политехническом музее публика избирает его «королём поэтов» (оставляя Маяковского вторым, а Бальмонта отодвигая ещё дальше к хвосту).

Кажется, Маяковскому это досадно, хотя, не подав виду, он бросает в публику: «Долой королей — они нынче не в моде!» И примирительно Северянину, наедине: «Не сердись, я их одёрнул — не тебя обидел. Не такое время, чтобы игрушками заниматься».

Но для Северянина это не игрушки — он принимает своё избрание всерьёз:

*Отныне плащ мой фиолетов,
Берета бархат в серебре:
Я избран королём поэтов
На зависть нудной мошкаре...*

Любопытная подробность: некоторое время спустя Есенин, застав в Харькове обнищавшего и больного Хлебникова, устраивает тому публичную церемонию избрания

«Председателем Правительства Земного Шара». Все участники представления (большею частью студенты) воспринимают это с юмором. Единственный, кто относится к церемонии всерьёз, сам «Председатель». Он очень горюет, узнав, что всё это шутка.

Таинственная точка соприкосновения между Хлебниковым и Северяниным – смычка по «детскости». Отсюда их пути ложатся в разные «края»; одному – скорая смерть в родном краю, другому – путь за его пределы.

Облачившись в «фиолетовый плащ», Северянин возвращается из Москвы в Питер, а потом отбывает за пределы России. Навсегда.

Это не изгнание, не бегство. Автора «грёзо-фарсов» несёт потоком обстоятельств: он отбывает в Эстонию на «дачу». Дача (вместе с Эстонией) отделяется в суверенитет. Впоследствии Северянин многократно заявляет, что он не эмигрант, а дачник. Что «дачник» – это серьёзнейшая позиция и в пределах страны Советов, он не знает: чтобы это знать, надо серьёзнее относиться к Пастернаку – принципиальному «дачнику» среди героев соцреализма.

Однако за пределами «королевства» король вскоре обнаруживает, что произошло непоправимое. Ему хватает года, чтобы осознать «фарс» осуществившейся «грёзы», и в феврале 1919 года он от порфиры отрекается:

*Да и страна ль меня избрала
Великой волею своей
От Ямбурга и до Урала?
Нет, только кучка москвичей...*

Оградившись «струнной изгородью лиры», он возвращается к проклятому вопросу: «что мне мир, раз в этом мире нет меня?»

Вернёмся и мы: что такое Северянин, если не «король поэтов», не певец «ликёров» и «Creme de Violette», не «эгофутурист», «выпрыгивающий лазурно в трам» и заказывающий: «Шампанского в лилию»?

Если он «совсем не это», то что же он?

Он – наследник тоскующей и стонущей русской музыки, которая от Некрасова уже рухнула к Надсону и теперь ищет, куда выбраться. Очи усталые. Сны туманные. Чары томные. Хижины убогие.

Эти северянинские «хижины», конечно, мало похожи на реальные избы, как и его комфортабельные ландолеты – на реальные экипажи. Всё смягчено, ступешвано, высветлено, обестенено. Краски приглушены – сильные тона тут немислимы. «Когда твердят, что солнце красно, что море – сине, что весна всегда зелёная, мне ясно, что пошлая звучит струна». Похоже, это отталкивание от блоковской цветовой определённости. У Северянина цветопись пёстрая, и цвета неакцентированы, неотделимы от предметов: коралл бузины, янтарь боярышника, лазоревая тальма, сиреневый взор... Иногда какие-нибудь топазы или опалы наводят на мысль о сходстве этого узорочья с Клюевским, но Клюев писал заведомо нереальную фактуру, Северянин же описывает реальный мир, но он в этом мире видит не цвета и предметы, а смешенье

их, дроблень: блёстки, искры, арабески, брызги, узор – всё пенное, искристое, кружевное, ажурное, пушистое, шелестящее, муаровое. Переливы чёрного и серебристого вобранны в общую гамму; чёрное почти не видно, серебро поблёскивает в смесях и сплавах: серебро и сапфир, серебро и бриллианты, серебро и жемчуг. Лучистые среброструи...

Чарующий морок этой поэзии овевает и окутывает тебя прежде, чем ты начинаешь понимать, что именно спрятано в этом перламутровом мареве, но поэт, активно подключённый к интеллектуальным клеммам эпохи, предлагает нам определение. «Моя вселенская душа». Планетарный экстаз – общепринятый код того времени, особо близкий футуристам («эго-футуризм», учреждённый Северяниным, первоначально называется «вселенским»). Часто эти мотивы добавляются к поэзии от ума, однако внутри стиха всё время бьётся какая-то жилка, какой-то детский вопрос: зачем мир злой, когда хочется, чтобы он был добрый?

В знаменитой, пронзившей публику самохарактеристике: «*Я, гений Игорь-Северянин, своей победой упоён*» всех задевает «гений», между тем если прочесть окружающие стихи 1912 года, – там «гений» на каждом шагу, это – обозначение живого духа (как в XVIII веке), а не количественная характеристика; магия же четверостишия – в третьей и четвёртой строках; там – гениальный лепет вселенского дитяти, осваивающего непонятный мир:

*Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утверждён!*

Всё объять, всех примирить, всех полюбить.

Уникальная драма Северянина – драма души, взыскующей всемирного братания и общего рая и одновременно чувствующей, что это несбыточно. Отсюда – ирония, и прежде всего – ирония над собой. Отсюда – лейтмотив двоения и простодушные северянинские оксюмороны: чёрное, но белое... рыдающий хохот... ненависть, которая любовь, любовь, которая ненависть... правда как ложь и ложь как правда... что прелесть, что мерзость... чистая грязь... грёза-проза... в зле добро и в добром злоба... И, наконец, обезоруживающее: «Моя двусмысленная слава и недвусмысленный талант!»

Насчёт таланта тоже неслучайно: об этом спорили, но в конце концов согласились: чтобы сделать то, что сделал Северянин: «трагедию жизни претворить в грёзофарс», талант нужен незаурядный. Но поток этикеток, всосанных, по выражению современного критика (Б.Евсеева), в душевный вакуум, скрывает трагедию.

Главная мысль: мир, достойный любви, должен быть прост. Прост и ласков. Прост и мил. Как песня. Как душистый горошек. Как сердце поэта. «Истина всегда проста».

Да простота-то бывает разная. Для Пастернака – это неслыханная стадия сложности, ересь сложности, недостижимый венец сложности.

Для Северянина – это отмена сложности. Просто сказать людям: живите мирно и будьте, как птицы небесные. Но не слушают! Ни на олуненных аллеях, ни в убогих хижинах – не хотят жить просто и мирно. Мир, очерченный светлым сознанием

божьего дитяти, распадается на безумные армии. Безумны «утончённо-томные дурь», которые «выдумывают новый стиль», то есть «крошат бананы в икру». Безумен и простой народ – «народ, угнетаемый дрянью, безмозглый, бездарный, слепой». Цепочка определений: толпа – орда – масса – холопы – людишек муть – звери – нелюди... Только одного определения нет: Северянин избегает слова «чернь» в социально-определённом смысле. В 1917 году сказано: страна «разгромлена чернью», но тут же уточнено: «чернь» – не «народ». И ещё в 1937-м, к столетию гибели Пушкина: «Ведь та же чернь, которая сейчас так чтит национального поэта, его сживала всячески со света...». То есть «чернь», поднимающаяся «снизу», сливается с «чернью», засевшей «наверху», и так мир закольцован, заведён в тупик, упёрт в безвыходность.

Собственно, дело не в том, что нет «выхода», а в том, что выхода нет, потому что не было и «входа». Ни «народ» не входил в круг сознания поэта, ни поэт не входил в круг жизни народа; только издали созерцал его «убогие хижинь». Или, «сидя на балконе против заспанного парка», видел внизу «поселянина» и наводил лорнет, как «дама» на «эскимоса». Или встречал пьяницу – в парке. Кухарку – по пути к столу. Почтальона на улице. Вообще кого где придётся. «На хуторе и в шалаше» и «даже на пароме». Типичное боковое зрение: «швейцар, столяр, извозчик и купец» – та же шеренга, что и «солдат, священник, вождь, рабочий, пьяный», обнаруженные близ Толстого. Такую компанию можно только презирать:

*Я презираю спокойно, грустно, светло и строго
Людей бездарных: отсталых, плоских, тёмно-упрямых...
Не знаю скверных, не знаю подлых; все люди правы...
Мои услады – для них отравы.
Я презираю, благословляя...*

Презирать хорошо, пока ты в безопасности. Но когда история берёт за шиворот, скользящее презрение сменяется ужасом.

И тогда приходится задавать истории вопросы, детские по простоте.

*Кто хочет войн – «верхи» или народ?
Правители иль граждане державы?
Ах, все хотят...*

Все! Обезумели – все: вся Вселенная, всё человечество! Это утверждение, столь же неоспоримое, сколь и безумное, столь же беспроегрышное, сколь в своей простоте и беспредметное, ведёт к отрицанию «всего». То есть к абсурду.

Хорошо, если спасает прония. А если нет? Если мысль о фатальной греховности «всех» принять всерьёз и довести до логического конца?

В «утопической эпопее» 1924 года под названием «Солнечный дикарь» – этот «дикарь» до конца всё и доводит. Города на земле – гнойники ненужной культуры. Наука – цивилизованное зверство. Университеты – на слом! И, поскольку у человечества

вообще не лицо, а морда (гениальность стихотворца ещё и в том, что он способен подсказывать выражения потомкам на пять поколений вперёд: «О, морда под названием лица!»), – так нечего плодить уродов! И (подсказывая Чингизу Айтматову сюжет «Тавра Кассандры» за семь десятков лет), Северянин предлагает: «Рождаемость судить гильотиной». Но, опомнившись, признаёт в финале: всё это чушь.

Виновных нет, все люди в мире правы.

Полюбить всех – такая же беспредметность, как всех возненавидеть. Выхода из ловушки нет. Из-под «грёзо-фарса» обнажается трагедия опустошения, которая осознаётся с ужасом. Пустота, разверзшаяся на месте простоты, вакуум, втянувший всю шелуху реальности, все этикетки и блёстки, а потом, когда всё это сдуло, оставшийся как есть – вакуумом.

Вот вехи опустошения:

1928 год:

*К закату возникает монастырь.
Мне шлют привет колокола вечерни.
Всё безнадежнее и всё безмерней
Я чувствую, что дни мои пусты...*

1930 год:

*И встреча с новой молодёжью,
Без милосердия, без святынь,
Наполнит сердце наше дрожью
И жгучим ужасом пустынь...*

1935 год:

*Не страшно умереть, а скучно:
Смерть – прекращение всего,
Что было, может быть, созвучно
Глубинам духа твоего.*

Блок был только внешне прав, сказав, что Северянин – поэт БЕЗ ТЕМЫ. Северянин – поэт без пристанища, без социальной и психологической прописки, и эта неприкаянность есть его ТЕМА. Можно сказать, что Северянин – жертва «всемирности», «космичности», «всесветности» и прочих аналогичных поветрий, охвативших на переломе к XX веку русскую (и мировую) поэзию. Самая незащищенная жертва и самая – по наивности – невинная.

В сущности, он изначально чувствует себя – «никем» (то есть «всем»). Он жалуется, что ему «скучно в иностранных», но где бы он ни приземлился «от Бергена и до Каира» (в мыслях) или «в смрадной Керчи» (реально), внутренне он всё равно пребывает «в иностранных» и, кажется, счастлив: «Весь я в чём-то норвежском! Весь я в чём-то испанском!».

Не даёт ему судьба ни Норвегии, ни Испании. А Германию даёт. Первый раз прихлопывают его немцы в марте 1918 года в дачной Тойле и отправляют в Таллин по этапу, на пару недель. Второй раз они его прихлопывают – двадцать три года спустя там же, в Таллине. Что пишет умирающий Северянин в 1941 году в оккупированной гитлеровцами Эстонии, мы не знаем; возможно, ему уже не до стихов. В 1918-м он пишет:

*Прощайте, русские уловки:
Въезжаем в чуждую страну...
Бежать нельзя: вокруг винтовки.
Мир заключён, и мы в плену.*

История вынуждает поэта, прятавшегося в «луны плерезах», спуститься на землю. Он спускается и пробует сориентироваться. С Германией – «не по пути». С Францией – тоже: «суха грядущая Россия для офранцузенных гостей». Вообще с Европой «русскому сыну природы», «варвару, азиату» делать нечего: «Всех соловьёв практичная Европа дожаривает на сковороде». И Америка тоже: «Америка! злой край, в котором машина вытеснила дух».

Эти инвективы выглядят довольно умозрительно: в них нет ни ярости, с которой клеймит Европу – Америку Маяковский, ни горечи, с которой вживается в западную жизнь Ходасевич. Что делать в этих декорациях соловью, который привык обитать «нигде»? «Что делать в разбойное время поэту, поэту, чья лира нежна?» Куда податься – «мы так неуместны, мы так невнопадны среди озверелых людей...»

В зрители, только в зрители:

*Вселенная – театр. Россия – это сцена.
Европа – ярусы. Прибалтика – партер.
Америка – «раёк»! Трагедия – «Гангрена».
Актёры – мертвецы. Антихрист – их премьер.*

Но поскольку виноваты «все» и одновременно все «правы», Антихрист неотличим от Христа. «Гангрена» ползёт по всему телу. «Партер» оказывается продолжением «сцены». Мертвецы-актёры открывают в зрителе то, что прежде было прикрыто иронией.

*Мне хочется уйти куда-то,
В глаза кому-то посмотреть,
Уйти из дома без возврата
И там – там где-то умереть...*

Где – «там»? Куда – «уйти»? Ведь **уже ушл** – из дому, из проклятой, варварской, азиатской страны. Ведь её как бы и не было – ни в стихе, ни в реальности...

Тема России возникает внезапно – в ноябре 1917 года. С этого момента – непрерывный, неостановимый, захлёбывающийся монолог:

«Я только что вернулся из Москвы, где мне рукоплескали люди-львы, кто за искусство жизнь отдать готовы! Какой шампанский, искристый экстаз! О, сколько в лицах вдохновенной дрожи! Вы, тысячи воспламенённых глаз... благоговейных, скорбных – верю в вас... Да, верю я, наперекор стихии... А потому – я верю в жизнь России!..»

«В России тысячи знакомых, но мало близких. Тем больней...»

«Не только родина – вселенная погрязла в корыстолюбии и всех земных грехах, не только Русь антихристическая язва постигла всем другим краям на смертный страх... Не только Русь одна – весь мир живёт погано...»

«Вот подождите – Россия воспрянет, снова воспрянет и на ноги встанет. Впредь её Запад уже не обманет цивилизацией глупой своей...»

«Глупец! от твоей тоски заморским краям смешно...»

«Моя безбожная Россия, священная моя страна! Моя ползучая Россия, крылатая моя страна!»

«О России петь – что стремиться в храм – по лесным горам, полевым коврам...»

«И будет вскоре весёлый день, и мы поедem домой, в Россию... И ты прошепчешь: «Мы не во сне?...» И зарыдаю, молясь весне и землю русскую целую...»

«Ты потерял свою Россию. Противоставил ли стихию добра стихии мрачной зла? Нет? Так умолкни: увела тебя судьба не без причины в края неласковой чужбины. Что толку охать и тужить – Россию нужно заслужить!..»

«Москва вчера не понимала, но завтра, верь, поймёт Москва: родиться русским – слишком мало, чтоб русские иметь права...»

«Не понимающий России, не ценящий моей страны, глядит на Днепр в часы ночные... За Днепр обидно...»

«Мой взор мечтанья оросили: вновь – там, за башнями Кремля – неподражаемой России незаменимая земля...»

«Я Россию люблю – свой родительский дом – даже с грязью со всею и пылью... Знайте, верьте: он близок, наш праздничный день, и не так он уже за горами – огласится простор нам родных деревень православными колоколами...»

«Бывают дни: я ненавижу свою отчизну – мать свою. Бывают дни: её нет ближе, всем существом её пою... Я – русский сам, и что я знаю? Я падаю. Я в небо рвусь. Я сам себя не понимаю, и сам я – вылитая Русь!..»

«Любовь! Россия! Солнце! Пушкин...»

«От гордого чувства, чуть странного, бывает так горько подчас: Россия построена заново другими, не нами, без нас...»

«Нет, я не беженец, и я не эмигрант, – тебе, родительница, русский мой талант, и вся душа моя, вся мысль моя верна тебе, на жизнь меня обрекшая страна...»

Это уже октябрь 1939 года – последняя песня. Вслушаемся:

*Не предавал тебя ни мыслью, ни душой,
Мне не в чем каяться, Россия, пред тобой:
А если в чуждый край физически ушёл,
Давно уж понял я, как то нехорошо...*

Нехорошо. Где кураж? Где искусство? Где точность поэтического жеста, та самая, о которой Мандельштам сказал, что она у Северянина – как мускулатура кузнечика? Стих влачится от одышки до одышки, кается, падает, ползёт:

*Домой вернуться бы: не очень сладко тут.
Да только дома мой поступок как поймут?
Как объяснят его? Неловко как-то – ах,
Ведь столько лет, ведь столько лет я был в бегах...*

Это «ах!» возвращает нас прямо в докарамзинские поэтические времена. Вздых обессиленной музыки. Потеря языка. Сердце замирает, рассудок слепо тычется в «новые слова», пытается освоить жаргон людей, заново построивших Россию – «без нас»:

*Из ложной гордости, из ложного стыда
Я сам лишил себя живящего труда –
Труда строительства – и жил как бы во сне,
От счастья творческой работы в стороне...*

Кажется, это последнее, что он выдыхает в сторону родины, каясь и не каясь, леденя от предчувствий и стора от слома гордости.

*И уж не поздно ли вернуться по домам,
Когда я сам уже давным-давно не сам,
Когда чужбина доконала мысль мою, –
И КАК, Россия, я тебе и ЧТО спою?*

А что раньше пел?

В июле 1918 года – «Отходную Петрограду»: чего, мол, топчешься на топи, кончаешься, никак не кончишься – провались, прими поскорее страшный свой конец!

Вы слышите? Это Петрограду сказано: «Ты проклят»! Пусть на этом месте ДРУГОЕ выстроят!

Ахматова, «послушница», в эту же безнадежную пору, в этом же городе пишет о невозможности оставить его, предать. Вот грань, отделяющая духовную силу от духовного бессилия.

Непримиримое не примирить. Но бессилие равняет «тех» и «этих» бессилием же: «Сегодня «красные», а завтра «белые» – ах, не материи, ах, не цветы! – матрёшки гнусные и озверелые, мне надоевшие до тошноты...»

«Мысль» вроде бы та же, что у Цветаевой. Дух другой. Одно дело – людишки надоевшие. Другое – когда горлом идёт кровь, и человек из красного становится бел.

Мандельштам может написать мучительные стихи о Сталине (не те издевательские, за которые его сослали в Чердынь, а те, что уже в Воронеже написаны – во славу). И Пастернак может написать восторженные строки, положив начало советской поэтической сталиниане. Это не «оплошности» гениев – это их крест, рок, сизифов камень.

Северянин, коченеющий от безденежья и одиночества, пишет в 1941 году товарищу Сталину письмо. Правит, переделывает. Но, кажется, так и не решается отправить. Где божья искра в этом мраке?

А вот:

*В те времена, когда роились грёзы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!*

Шестой год изгнания. Начало цикла «Классические розы». Классический Северянин. Классическая гамма: Мятлев, увековеченный Тургеневым.

*Прошли года, и всюду льются слёзы...
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!*

Вертинский берёт это в свой репертуар и поёт в 30-е годы на концертах. Какая музыка! Какая завершённость: были... есть... будут?

*Но дни идут – уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп...
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!*

Эти русские строки эстонцы выбивают на могильном камне, на Русском кладбище в Таллине, где упокоивается в декабре 1941 года русский поэт Игорь Северянин.



Забиться в норку как зверушка,
И слушать только звон песков,
Подставив остренькое ушко
Вселенской музыке без слов.

И если прошуршит отшельник
К ущелью, где блестит Кедрон,
То, значит, снова понедельник...
Блаженный длится мира сон.

* * *

Две тысячи двенадцатый к закату.

А за ним

Две тысячи тринадцатый
Придёт, как аноним.

И мы, как заведённые,
ему откроем дверь.

А если прокажённый он?
Иль того хуже – зверь?

Но никому не справиться
с тупой привычкой жить:

А вдруг он нам понравится?..

А вдруг... А может быть...



Анатолий АВРУТИН

Минск, Беларусь



* * *

Что не по-русски – всё *реченья*,
Лишь в русском слове слышу *речь*,
Когда в небесном облаченье
Оно спешит предостеречь
От небреженья суесловий,
Где, за предел сходя, поймёшь,
Что языки, как группы крови,
Их чуть смешаешь – и умрёшь.

* * *

С кареглазых холмов
всё сбегают потоки босые,
Ноздреватая дымка
ползёт с побледневших полей.
И летят журавли
Над холодной и мокрой Россией,
И в России темнеет
без белых её журавлей.

Снова листья кружат...
Покружив, сухо щёлкают оземь.
Всё прозрачней становится
голый запущенный сад.
Всё слышней поутру,
как свистит желтоблужая осень,
Как цепляясь за бренность,
последние листья кружат.

Но порою мелькнёт...
 Чуть погаснет... Опять загорится...
 То ли свет предвечерний,
 то ль блики с далёких болот.
 А потом то ли зверь,
 то ли просто пугливая птица
 Вспорет серую дымку...
 Над сгорбленным садом мелькнёт.

И запомнишь навек,
 Не забудешь и в ярости лютой,
 Этот свет неизбывный,
 буравящий пасмурность дней.
 Тот, что будет парить
 над твоею последней минутой...
 Над забытой Отчизной...
 Над горькой печалью твоей...

* * *

Ещё не стемнело...
 И можно немного пройтись
 Вдоль влажной лощины
 по серо-зелёному полю.
 Недоля струится отсюда
 в небесную высь,
 А высь переходит
 В безбрежную эту недолю.

И чтоб надыхаться,
 здесь нужно дышать и дышать,
 Стараясь запомнить,
 как стонут забытые травы.
 И чують – струится
 в безмерную даль благодать,
 А в той благодати –
 Безмерная доля отравы.

Есть только мгновенье...
 А суток и вечности нет...
 Мгновенье к мгновению –
 вот и дорога к прозрению.

О свет мой вечерний,
 туманный бледнеющий свет,
 Для белого света ты тоже
 Подобен мгновенью.

Ведь скоро над полем
 неярко засветит звезда.
 Пора возвращаться...
 Невидною стала дорога.
 Пусть что-то осталось...
 Но что-то ушло навсегда...
 И так же далёко
 До истины...
 Сути...
 И Бога...

* * *

Нет летописца... Нету Нестора...
 И лжива летопись страны.
 Не правду речь, а раболепствовать
 Лже-летописцы рождены.

Шепчу, неслышен в этом хоре я:
 «Придет царствие твое!..»
 Они солгали про историю,
 Но у Отчизны – житие.

Что их корить?.. Как жалки дети те
 Сто раз оболганной земли!..
 И что вы Господу ответите,
 Когда вы Бога прокляли?

Когда взметнётся меч карающий,
 Окститесь же, сходя с ума:
 «Неужто пепел догорающий
 И есть история сама?»

* * *

Спи, ненаглядная...
 Тихо стекает с пера

Слово горячее,
 слово совсем не парадное.
 Птицы в отлёте...
 И мне собираться пора...
 Но до отлёта
 поспи же, моя ненаглядная.

Я не жалею...
 И ты ни о чём не жалеи.
 Слышишь: листва устилает
 дорогу шершавую?
 Тихо струится
 ночная листва с тополей...
 Я не жалею,
 Что жил,
 не обласканным славою.

Спи, ненаглядная...
 В робком дрожании век,
 Тихо трепещущих,
 будто бы чуя неладное,
 Бьётся ответное:
 «Помнишь тот утренний снег?..»
 Как же не помнить?
 Поспи же, моя ненаглядная...

А просветлённой
 Подхватишься ранней порой,
 Встретишь звезду,
 Что скатилась
 над чёрными ветками.
 Строчку припомни...
 И двери плотнее закрой...
 Тихо присядь...
 Да подумай про что-нибудь светлое...

* * *

Снова мокрый декабрь...
 Очертанья не резки...
 Тьма во тьму переходит,
 что хуже всего.

Я не знаю, курил или нет Достоевский,
 Но вон тот, с сигаретой, похож на него.

Так же худ...
 И замызганный плащ долгополый,
 Не к сезону одетый, изрядно помят.
 Он в трамвай дребезжащий
 шагнет возле школы,
 На прохожих метнув
 с сумасшедшинкой взгляд.

Что с того? Те же тени
 на стёклах оконных,
 Та же морось...
 И те же шаги за спиной.
 Но теперь на «униженных»
 и «оскорблённых»*
 Все прохожие делятся
 в дымке сквозной...

* «Униженные и оскорблённые» — роман
 Ф.М. Достоевского.



Олег АЛЁШИН

Тамбов



* * *

Я не смерти ищу – вечной жизни.
 Что ты ходишь за мной по пятам,
 Неотступная мысль об отчизне,
 Как горбатая тень по холмам.

Здесь кресты, словно всходы пшеницы,
 Среди плевел забвенья стоят.
 Вместо зёрен здесь тихие лица
 На меня с фотографий глядят.

Здесь взошли семена моей боли
 Среди плевел безбожных идей...
 Я горчичным зерном на просторе
 лягу спать среди русских людей.

* * *

Мне снятся ковыльские дали
 И вымах державный клинка,
 И посвист заточенной стали
 Поверх головы казака.

Зовёт есаульское братство
 Под ветры славянских знамён.
 Вонзая копыта в пространство,
 Несётся на смерть эскадрон.

Молитесь, о, верные друзья,
 За честную пулю в седле.
 Пронесётся пыльные вьюги
 По залитой кровью земле.

Блажен, кому выпало в жизни
 Погибнуть за други своя.
 Холодные ветры отчизны
 Кольшут печаль ковыля.

Мне снятся ковыльские дали
 И вымах державный клинка,
 И посвист заточенной стали
 Поверх головы казака.



Александр АНАШКИН

Москва



* * *

Сложилось. Солод трёх веков
и хмель огромного пространства.
Когда ложишься, бестолков,
и просыпаешься для странствий.

Седьмая, первая печать,
сквозной озноб контрольных точек, —
и начинаешь различать:
южнее, западней, восточней,

на перекрёстке всех дорог
стоит одно и то же время,
лишь световой единорог
проходит сквозь листву деревьев.

И можно выйти хоть сейчас
из сумерек больных и зимних.
И помнишь, как их величать,
в какие складывать корзины.

Но этот город изнутри
непроходим, не покидаем.
И мы, как нищие цари,
ничем иным не обладаем.

ТОЧКА

...deja по ниточке возврата,
по тонкой девочке греха,
накроет ночью мешковатой,
в рукав вселенский записав,
пока височным молоточком,
обратным сжатием спирали,
не станешь к чёрту чёрной точкой,
дырой в космической морали,
пока не сможешь испариться,
исчезнуть в поле тяготенья,
цепочку с крестиком нательным
оставив в качестве границы...

ПРОГНОЗ

Напишут «снег» — и выпадет, как снег:
то пухом, то крупой, то сединою.
Насквозь пройдёшь холодное, земное:
за слоем слой, — чем дальше, тем ясней.

Напишут «снег» — и ляжет у дверей
хрустящим утром странная свобода:
нездешний свет, страна и время года,
ещё никем не прожитое в ней.

Напишут «снег», а далее — пробел:
не пустота, но таинство. Так просто
ложитесь их прогноз на этот космос.
Напишут «снег» — и выпадет тебе...

КОНФЕТА

Часы идут. Идут на юг.
Темно и холодно вокруг.
Когда они пойдут на север,
свет станет мягок и рассеян.

И та, которая не здесь,
но непременно рядом есть,

найдёт окно, откроет зонтик,
и заскользит над горизонтом

звездой не падающей, но
летающей к тем, кому темно.
Туда, где нет ни капли света,
где мир завёрнут, как конфета,
в бумагу, пластик и фольгу.

Ешь сам, я больше не могу.



Александр АСМАНОВ

Москва



КАФЕ У МОСТА АНГЕЛОВ

(Диптих)

I

Душа, как зебра: чёрно-белой фиброй –
Контрастами она утомлена.
Зелёный змей извилистого Тибра,
Ты намекаешь? Так налей вина.

Прохладное домашнее в кувшине
Под сенью безымянного куста,
А на закуску хоть бы тортеллини:
По-нашему – пельмени. Штук полста.

Как хорошо, когда отбиты пятки
Бульжниками древних мостовых,
Играть с унылым расписаньем в прятки,
И с близкими. А ну бы к Богу их.

В кувшине дня темнеет сок сомнений,
Чужая речь не засоряет слух,
Я пью на брудершафт

с российской ленью

В мемориале мировых разрух.

II

Римская ночь.

Искупителем грешного города,
Ангел недобрый стоит, опираясь на меч.
Взгляд синьорины стыдливо
отводится в сторону,
Не возражая допить,
докурить и возлечь...

Колкие груди. Осина тонкая талия,
Руки, как ветер.
Летящий, прерывистый пульс...
Я, попрощавшись,
отправлюсь фланировать далее —
Как же иначе?
Иначе останусь, влюблюсь...

Стану вальяжен.
Наверно, приму католичество,
В мёртвой латыни живой обретая исток.
И как-то вечером,
выключив всё электричество,
Глядя в окно, запушу себе пулю в висок.

КУПАНИЕ В ШТОРМ

Продравшись пространством
бескрайним
Сквозь древних досад мезозой,
Я вышел в тайфун над Тайванем
И в дождь по-китайски косою.

На берег недолгой прописки
Принёс ощущение вины
Под быстрые колкие брызги
И тяжкую лапу волны.

Как буй, оторвавшись от лески,
Нырнул я в прибое и плыл,
И даже буддист-полицейский
Крестом меня вслед осенил.

А берег был гол и изранен
Суровою лаской воды,
На нём было глупо и странно
Ракушки искать и следы.

И странно, и, в общем, не надо
Занозы вбивать в бытие —
Лишь душная эта прохлада
Напомнила сердце твоё.

Пусть ветер свистит и уносит
Никчёмную горькую грусть...
... Я в море монетку не бросил,
И значит — едва ли вернусь.

ДОРОГА В СОДОМ

Михаилу Берковичу

... А где ещё думать о жизни, о Боге,
Скрижали Завета душою любя?...
На жёстких изгибах содомской дороги
Точней и острее пониманье Тебя,
Господь, ненадолго отправивший Сына
За солнечным нимбом вокруг головы
Под быстрое серое небо хамсина
К удушливым запахам жухлой травы.

Здесь, глядя на жёлтые камни нагие,
Вдруг видишь Истории узкую дверь
В пространстве,
тотально больном ностальгией
И раненном памятью прежних потерь.
И слышны в речах обретённого друга
С медузой волшебных седин у виска:
«Достойная жизнь.
Исцеленье недугов»...
И тайная о незабытом тоска.



Алёна БАЙКИНА

Выкса, Нижегородская область

**ДОРОГА В БОЛДИНО**

Вот и встретимся завтра. Припомни-ка,
 что хотела тебе сказать.
 Твой портрет на обложке сборника
 заменяет мне образа.
 Всё шептала в ночи бессонница,
 что Россия теперь не та.
 Не отмоешься, не отмолишься,
 не избавится от креста.
 Что народ-то всё больше порознь,
 ветер с запада всё смелей.
 Молодую сжигает поросье
 кокаколовый суховец.
 Что всё чаще на Чёрной речке
 отливает багровым – лёд.
 Многих нет, ну а те – далече,
 скоро, видно, и наш черёд.
 Столько лет – через лес да в горы.
 Герцен – жаль, не дожил старик,
 не видал, как под залп «Авроры»
 поднимали страну на штык.
 В декабре без полков, негромко,
 сели трое сообразить.
 Что написано на обломках
 при ребёнке не повторить.
 Слово быстро сдаёт позиции,
 вера корчится по углам,
 благодарно в улыбках ситцевых

подбираем культурный хлам.
 Взгляд блуждает в толпе мучительно,
 что-то ищет поверх голов.
 Ничего не скажу, учитель мой.
 Мы друг друга поймём без слов.

* * *

*Вере Платоновой,
 настоящей петербурженке, посвящается*

В краю болот, где топь и мошкара,
 Где переменность стала постоянной,
 Рукою властной сшиты острова
 Причудливым лоскутным одеялом.

Мужчины здесь онегинской поры:
 Любой горяч, порывист и неистов.
 А женщины — изящны и мудры.
 Не Ларины, так жены декабристов.

И понимаешь, что молва не врёт,
 Когда какой-то клерк в каком-то сити
 Споткнувшись, кошку кошкой назовёт...
 «Любезный, вы из Питера, простите?..»

На Невском, сквозь «Бон жур!»,
 «Хелло!», «Шалом!»

Скрипач при галстукке
 поддакнет растаманке,
 Что город ангелов отнюдь не за «бугром»,
 А здесь на Балтике: на Невке, на Фонтанке.

Тосклив поребрика некрашенный бетон,
 В парадной вновь почтовый ящик сорван,
 Но в булочной вам продадут батон
 С такой сердечностью,
 что подступает к горлу.

И если вам осточертеет вдруг
 В холодном мире зависти и фальши,
 Бросайте всё. Езжайте в Петербург!
 Он тёплый. Он живой.

Он — настоящий!

Ника БАТХЕН

Москва



В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Осенняя любовь нехороша,
 Она слепа, бескрыла, безголоса.
 Её тревожит скрип карандаша
 И не пугают медленные осы
 И не томит растресканность плода,
 Багровое нутро несмелых зёрен...
 Простой гранат. Обычная еда.
 Дарёному плоду не смотрят в корень.
 Разыгрывая страсть по сентябрю,
 Рядятся девы в медные вериги.
 Болтается каштан в кармане брюк,
 Кленовый лист закрыл страницу книги.
 Гусиный клин в разорванную грудь
 Вбивает Норд. И не дожидаться Веста.
 Московскими дворами в добрый путь
 Уходит невестная невеста...
 Осенняя любовь стара как мир,
 Ей чужд полёт, зато знакомы бденья,
 Она распоряжается людьми
 По правилам свободного паденья.
 Ни мёда у неё, ни молока,
 Задует свечи и порвёт, где тонко...
 Но не оставит под дождём щенка
 И приютит бездомного ребёнка.

СМЕРТЬЮ СМЕРТЬ

Душа улетает. Под слёзы и стоны.
 Под звоны бокалов – разбитых и полных,
 Под копоть иконы, под грохот вагонный,
 Под плеск безмятежного Самбатриона.
 Разлука, разлука, родная подруга,
 Случайных смертей круговая порука,
 И круг все теснее и слезы все горче –
 Бессмертен ли дух в человеческой порче?
 Чья очередь – в снег, босиком, невесомо,
 Неслышно, как злые мохнатые совы?
 Беспмятно, просто... К чертям некрологи!
 Мы были в овраге, где стены пологи,
 Мы видели глины раскрытую книгу,
 Мы пели: «Пора собирать землянику»,
 Мы ели душистые ягоды. Ныне
 Я плачу, как чайка, о дальней чужбине.
 Я плачу о том, что однажды крылатой
 Очнусь и взлечу в голубые палаты,
 В сияющих окон огромные дали
 Ворвусь и спрошу... А тебя – не видали.

* * *

Звонят колокола и звуком алым
 Заполнена свирепая Москва.
 Нет милости к юродивым и малым,
 Бродячим и не знающим родства.
 Струится строй за строем. Твари-двери
 Глощают всех – попарно и толпой.
 Сияет логотип на монгольфьере
 «Чувак, весна приходит ЗА ТОБОЙ!»
 И вечный бой... Московские солдаты
 Уже не надевают ордена.
 На рубеже аванса и зарплаты
 Пьют портвешок на станции Двина –
 Мол, выжили на празднестве Расина
 Теперь по нам снимает Бондарчук.
 Священный долг, чулки и лососина
 На фоне отцветающих лачуг.
 Свисают в ряд карденовские плашки.

Плюс крупный план с иконой и икрой.
И колокольчик в лапке первоклашки
Звонит о тех, кто вскоре встанет в строй.
За правду малых бьёт бейсболка-бита,
От правды сытых сих сбесился бес.

...А где-то там, где царствует орбита,
Стыкуются «Союз» и МКС.

* * *

Отболела былая обида,
Сдулся бурей бедняга Борей.
Утонула моя Атлантида
В колыбели британских морей.
И теперь по воде – пешеходом,
По зелёной земле – моряком
Я брожу, готтентотам и готам
Говорю – родился мотыльком,
Унесённый ветрами, доньне
Я не знаю, куда прилечу.
У вина привкус сладкой полыни,
У дворцов очертанья лачуг.
И не в такт лёгкий пепел Итаки
Постучится в грудную броню –
Я избегну открытой атаки
И отечество снова сменю.
Дым приятен, а пепел бесплотен.
Я скажу тебе как на духу:
Посреди италийских полотен
Я предамся срамному греху.
И, стихи заплетая канатом,
Подниму из глубин якоря...
Знаешь, девочка: только крылатым
Достаются другие моря.

* * *

Чтобы мальчик не путался под ногами—
Научу его складывать оригами,
Журавлей и кораблики с парусами
Пусть плывут далеко и летают сами.

Пусть приносят вести
в бумажных клювах –
О прекрасных странах и добрых людях.
...У мальчишки книжки, велосипеды,
Кошки-мышки, завтраки и обеды,
Два альбома – пляжи и виды Крита,
И пятёрка в четверти по ивриту.
Он не любит пенки и кока-колу,
Но зато охотно шагает в школу
И мечтает где-то на полдороге
О зелёной ракушке в Таганроге,
О зелёном домике в Бирмингеме,
Может, и о мамином оригами.
...Время у мальчишек
сквозь пальцы тает –
Сколько ни отпущено – не хватает.



Юрий БЕЛИКОВ

Пермь



КРАСНАЯ ГРОЗДЬ

Мы – поздние, поздние, поздние...
Мы схожи с рябиновыми гроздьями.
Леса опустеют старинно.
Останется только рябина.

Рябина! Боярыня Морозова,
ты в будущее сослана
за то, что ещё не картина,
за то, что не к лету горька.
О, как ты любима, рябина!
Однако сквозь время пока.

Как в тяжкой цепочке похода
сильнейший идёт позади, –
чтоб первой быть в кроссе природы,
последней, рябина, иди!

Глотайте клубнику на корточках!
Но всё перетянет в мороз
скуная отважная горсточка,
высокая красная гроздь!

И, может быть, чудо – не чудо,
а просто в преддверье зимы
у истины смыло запруды,
и вот она – чудо, и мы
поэтому поздние, поздние,

всё время смотрящие в спину.
Но воздух уж пахнет полозьями.
И едет народ по рябину.

РОМАНС О ГОЛОСЕ

– Опять купалась в голосе твоём!
Я вздрагиваю.
Опасный водоём.
Там драгою
Алмазы черпал век, пока не вычерпал...
Все отмени песчаные привычные
теперь – водовороты.
Ты в голосе моём купалась?
Что ты!

По берегам его живут артели,
из-за кусочка солнца валят ели,
пьют, а посуду – в голос мой, враги!
Ты ноженьки побереги.

А маги, населявшие до драги
мой голос,
сели, други, в колымаги
и – следом за пичугами – в леса
отыскивать другие голоса.

Мутна, как брага, в голосе вода.
Ни рыбица, ни крупная звезда,
ни утица
не навестят его. И, как тогда,
купайся в нём, мути – он не замутится.
Беда.

СТИХИ МРАКОБЕСА

Памяти царевича Алексея Петровича

Я с ужасом взираю на компьютеры,
как если бы царевич Алексей
в Европу окна – душу русскую
как пьют они! –

увидев по России всей,
воскликнул: — Не в Европу,
а в Россиюшку
оконца-то и нету им конца!
И взглядом искал бы Ефросиньюшку,
как правду, что в ногах отца.

Берётся Русь, заузданная узами,
за старое иль новое опять,
а надобно Россию за неузнанным,
за непочатым временем искать.
— Где сын казнён отцом,
там нет двуперстия,
и дух святой — не зонтик японский, чтоб
при сём сложиться в Троицу,
как бестия, —
сквозь бедствия корит нас протопоп.

Я свёртываю время до царевича,
до Алексея: зелено зело!
Что вытянуться даже и до времечка
не смело, то, однако, не прошло...
В той неприкосновенной,
в той несбыточной,
в той матрице, запас её копия,
вдали от Интернета, как от пыточной,
немыслимо отречься от себя.

Ты — в будущее?
Глажу против шерсти я
его. А ты — по шерсточке? Ну, гладь.
До встречи там,
где можно непрошедшее
на будущее примерять.

БАЛЛАДА О РАСПЯТОМ ТРАМВАЕ

Трамвай застрял стоп-кадром
в темноте...
Мне плюнули в лицо юнца вон те
из темноты. Казалось, их плевки

текли и по стеклу, и со щёки.
Мне плюнули в лицо. И я не мог
разбить стекло. Но и стереть плевков.
Бессильно кулаками я грозил,
и глаз мой пуще прежнего косил.
Ночь у плевков стояла начеку.
И я подставил левую щеку.
И гоготала кодла подлецов,
как будто бы мне плюнули в лицо!
«Ты плюнь в лицо!» —

почти что умолял
я тех, кто свои слюни растерял.
Вот подошёл охотник: плюну, мол.
Через газетку плюнул — и ушёл.
«Ты плюнь в лицо!»

Чего ты скёшься, брат?..
Ещё я не музейный экспонат!
Сначала — плюнь...», —
вскипал я через край.
И плыл в депо оплёванный трамвай...

«Плюнь!..» —
прибрело смиренное словцо.
Увы, никто не плюнул мне в лицо.

СТРАШНАЯ ТЕТРАДЬ

А ты имеешь право умирать?
Оборотиться кустиком сиреневым,
пока не стала страшною тетрадь
и не назвали имя твоё временем,

покуда ты в том месте, где стоишь,
не отпечатал чётко своё тело,
чтобы по этой формочке малыш
потом фигурок множество наделал.

И если даже я неизлечим,
и хворь растёт Ордою Золотою,
для смерти нет особенных причин,
пока я сам не сделаюсь Ордою.

Уже таит темнейшая вода
 густую сушь в грядущем перерыве.
 И тени нет, есть только пустота,
 которая пребудет при отливе.

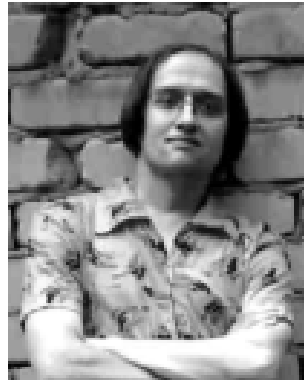
Так хлынь скорее музыкой небесной,
 пред тем как кровью хлынуть от обид.
 Чем глубже разразившаяся бездна,
 тем дольше крик над бездной прозвучит.

Вот напишу я страшную тетрадь
 и отпущу собаку погулять,
 и захлебнусь в раскатистой тоске
 на поводке.



Алексей БОЛДЫРЕВ

Павловск, Воронежская обл.



DEJA – VECU*

Когда умирают люди,
 Их sim-карты тоже хоронят,
 Не так пафосно, как человека,
 А просто в мусорное ведро.
 На карте номера телефонов,
 Близких, родных и не очень,
 Начальников и подчинённых,
 Да и просто «левых» людей.
 Ну вот, например, Серёга,
 С которым в поезде ехал...
 А может, пиво пил в баре...
 Словом, совсем никто.
 Вот номер старшего брата,
 Который снова женился,
 После первой же брачной ночи,
 Задумавшись: на хрена?..
 Покойный, год как развёлся,
 Поэтому под именем «Витя»
 Он больше не скрывал блондинку
 С четвёртым размером груди.
 А вот и ещё телефончик,
 Некто Болдырев, бывший коллега.
 Говорят, он катает стишки,
 Но покойный их не читал.
 Конечно же, телефон мамы,
 Самой дорогой и любимой,
 Звонки по выходным, и ещё:

Именины, и далее по календарю...
 Александр, друг детства покойного,
 Строитель, с дипломом психолога.
 Он сказал, что одиночество –
 Это когда не помнишь мелодию
 своего звонка.

Покойный не знал одиночества,
 Был бабником с вечным девизом:
 – Мочиться против ветра можно,
 Если позволяет напор!
 Словом, и т. д. и т. п.,
 были ещё абоненты,

Они удалялись из списка
 Покойного – за столом, на поминках,
 Под плач: «вечная память»,
 Допивая третий стакан...

* Уже прожитое...



Владимир БОЯРИНОВ

Москва



ЛЕСОРУБ

Пришёл в бригаду дед,
 С оливковым загаром:
 «Касатики, привет!
 Возьмите кашеваром».

Когда заря взошла,
 Открылось: мать честная! –
 Там просека легла,
 Где Русь была лесная.

– Да ты – большой мастак!
 Да ты, дедок, в ударе!
 Где наловчился так?
 – В Сахаре, брат, в Сахаре...

– Не завирайся, дед.
 Юродствовать негоже, –
 В Сахаре леса нет.
 – И здесь не будет тоже.

И ВСЁ ЖЕ

*Речь не о том, но всё же,
 всё же, всё же...*
 А.Т. Твардовский

Чудесны луга и цветы на опушке,
 Чудесен таинственный голос кукушки,

Чудесны учёные споры с людьми,
 Чудесна подруга на ложе любви.
 Вот звёзды восходят. И это чудесно.
 Чудесно и то, что лишь Богу известно.
 С трудом засыпаю, а сердце болит.
 Так что же, так что же уснуть не велит?
 С трудом засыпаю, бывшее итожа.
 Чудесная полночь!

И всё же, и всё же...

ТЫ МОЖЕШЬ

Ты можешь море переплыть,
 Ты можешь год вина не пить,
 Ты можешь лютого врага
 Свалить, скрутив ему рога,
 Ты можешь Родину спасти!
 Всё сможешь. Господи, прости!
 Но оголтелого глупца
 Не переспоришь до конца!

ЗАВЕТНОЕ СЛОВО

Покидая родимую землю
 На борту поднебесной ладьи,
 Ничему так открыто не верю,
 Как заветному слову любви.

Забираясь под райскую крышу
 По крутому, как серп, виражу,
 Разве я ничего не услышу,
 Разве я ничего не скажу?

Разве я не скажу: «Дорогая,
 В час, когда я обрёл высоту, —
 Лунный серп, под крылом догорая,
 Срезал слово моё на лету».

УШЕДШЕМУ ЛЕТУ ВОСЛЕД

С августом знойным расстались,
 Кончились летние дни,

Нам на прощанье остались
 Воспоминанья одни.

Лето на солнце сгорело,
 Испепелилось дотла.
 Девушка песни допела,
 Женщина свечи зажгла.

Мы распростились со сказкой,
 Ветер вослед зарыдал.
 Ты оглянулась с опаской.
 Я на судьбу загадал...

ПОЖАР

Что мучило, корёжило, томило,
 Сгибало в три погибели и жгло, —
 Всё преисподним чадом задымило,
 Ползучим ядом всё заволокло.

За наше беспримерное смиренье,
 За вечное: «Огнём оно гори!»,
 За принятые молча униженья
 Россия полыхнула изнутри.

Раскаянье терзает грудь и душит,
 Слеза обиды нестерпимо жжёт.
 Ни дождь того пожара не затушит,
 Ни выюга рукавом не заметёт.

Недолог час, когда потомок скажет:
 «Вконец ополоумели отцы!»
 Связать концы захочет — и не свяжет,
 И в воду бросит скользкие концы.



А солнце било это всё с размаху
Лучами света в локоть толщиной,
И, расправляя под ремнём рубаху,
Пел человек, влюбляясь в шар земной.

Я песню эту слышу сквозь эпохи,
И, принимая будущую тьму,
В любом цветке, в любом чертополохе
Я вижу солнце и молюсь ему.

* * *

Наберём в шелома живой воды,
Окропим оружие, жажду снимем.
На Руси моей тридцать три беды,
И одну из них мы сейчас осилим...

То не шум, не грай, не заря встаёт,
Не трава блестит – копыя светятся.
Но уже пошёл Пересвет вперёд –
Умереть Александру не терпится.

И Темир-мурза в эту ночь не спит:
Про монаха всё вызнать хочется...
А у дальних веж коростель скрипит,
А у ближних веж сабли точатся.

...И сошлись они посреди бугра:
Кудри чёрные – с русым волосом!
Прохрипел мурза: «Хороша игра...»
Подтвердил монах:
«Пахнет космосом...»

На две стороны разлеглись тела!
Слава мёртвому да увечному!
И Победа наша с небес сошла,
Но на поле пришла только к вечеру.

О ЗАРЕ

До того я её люблю –
Не хватает дыханья!

Вот идёт – я смотрю-ловлю
Все её колыханья.
Не затем ли светлым-тепло
В нашей горнице, в доме...
Переходит плечо в крыло!
Ноет сердце в истоке.

– Ой, ты, родина! – говорю, –
Не сменяюсь я и в недоле
На немецкую ли зарю,
На французскую, что ли.

Пусть они у них и светлы,
И красны, только наша
Как начнет страну вынимать из мглы –
От Курил до Балхаша!

А потом – Урал! За Уралом – нас –
До Балтийского моря!..
А у них заря – полчаса... ну, час...
Вот ведь горе.

* * *

Тихое раздолье –
Берег да вода.
Скошенное поле.
Ранняя звезда.

И по травам скошенным
Прямо под звездой
Ходит конь стреноженный,
Тенькает уздой.

Мнёт копытом сено –
Лёгкий дар судьбы,
И роняет пену
Жёлтую с губы.

Он бредёт по кругу,
И, вдыхая тьму,

Всё грустит по лугу
Прежнему, тому.

* * *

Не разлюби меня, уставшего...
У птицы осень на крыле.
И видно инея упавшего
Следы на утренней земле.

Не разлюби меня, печального...
И ощущается сильнее –
Как много в осени случайного,
Как мало радостного в ней.

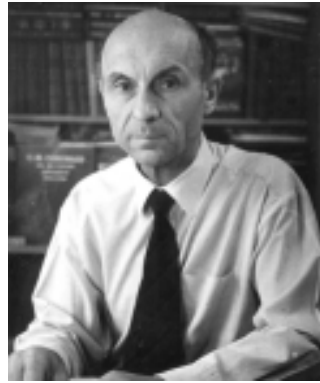
Не разлюби меня, остывшего...
И больно видеть, как листва
Летит с дерев, как будто лишняя,
И сиротеют дерева.

Куда пойду, кому пожалуюсь
На эту боль, на эту грусть...
Не разлюби меня, пожалуйста,
Я обязательно вернусь.



Виктор БУДАКОВ

Воронеж



ВОРГОЛЬСКИЕ СКАЛЫ

В. Пескову

Воргольские скалы –
былинный размах,
Славянское здесь городище?
Былое – забытый, развеянный прах?
Так что же, так что же мы ищем?

Печали исполненный бунинский край,
Осколок разбитого мира?
Иль, может, от века потерянный рай
Как призрак небесного пира?

Проехать полсвета, и здесь разглядеть,
Что всюду начала несложны:
Богатому – золото, а славному – медь,
Медь славы меж правдой и ложью.

Младенцу же – песни!
Пропела их мать
На глыбистых кручах Воргола.
А сын её вырос, и стал воевать,
И пал он, где чистое поле.

И древняя мать горевала над ним,
И вечной была её песня,

Александр БУНЕЕВ

Воронеж



* * *

Вот опять две серых колеи
 На одной из выбранных дорог,
 Где деревья, словно не мои,
 Где на плечи лунный свет прилёт.

Где в повозке дряхлой, чуть дыша,
 Думают о солнечной стране,
 Где судьба-лошадка не спеша
 Прячет взор в лиловой тишине.

Вот привал на несколько минут,
 Вот отъезд в немую пустоту.
 Обменяли лес и тихий пруд
 На дорогу, грязь и темноту.

Мы с травы съезжаем в колею.
 Чуть скрипит повозка колесом.
 Я рукой свободной шевелю
 Торбу с пыльным и сухим овсом.

И опять, обрывки снов храня,
 Едем мы неведомо куда.
 Эхо звуков, отблески огня
 И ночная стылая вода.

Вот уселся овод на шлее,
 Вот и успокоились сердца.

Только всплески в левой колее,
 Только в правой всплески без конца.

* * *

В эту зиму монеты лежат на снегу
 И вмерзают в искрящийся лёд.
 Разве что на ходу, на лету, на бегу
 Кто-то молча пятак подберёт.

Рубль прихватит, полтинник,
советский алтын
 По ошибке положит в карман,
 В тесноте убивающих город равнин
 Обретёт золотой талисман.

Подбирающий деньги российский народ
 Бьёт поклоны уставшей стране.
 А монеты лежат,

плавят мартовский лёд,
 На груди, на ребре, на спине.

А в апреле они растворятся в ручьях.
 Обречённо вздохнёт старичьё.
 Чья монета? Чей дождь?

Эта радуга чья?
 Чья страна? Чей народ?
Время чьё?



Константин ВАНШЕНКИН

Москва



ПОЖАРЫ

Как туманом, даль заволокло
Густо надвигающимся смогом.
Не дрожал сосед за барахло,
Впору бы самим убраться с Богом.

А жара какая, посуды!
Он такой не видывал за годы,
Находясь нередко посреди
Недоброжелательной погоды.

В общем, это было, как война,
Что прошла, бывшие жизни скомкав,
Но в судьбе аукнется она
Ничего не помнящих потомков.

ВЕСНА НА БЕЛОМ МОРЕ

При фантастической погоде,
Средь льдин с тюленями на них
Мы шли на белом теплоходе
В сиянье отсветов дневных.

От красоты нездешней этой
Не чужа собственной вины,
Отмечены особой метой,
Шли к устью Северной Двины.

Здесь близко не было причала,
И музыка, сверх всяких мер,

Не из динамиков звучала,
А из каких-то высших сфер.

ЛИСТОПАД

Замечаете вы
За другими делами,
Что всё гуще листвы
На земле под стволами?

Рябь холодных озёр.
Разноцветное стадо.
И всё шире обзор
С каждым днём листопада.

РОДНЫЕ

Внучка в Гималаях,
Дочка под Москвой,
Где собака лает,
Ночь шумит листвою.

Что мне нынче снится?
Ведь вдали от них
Я один в столице
Из моих родных.

ОПОЗДАНИЕ НА ПОХОРОНЫ

На похороны опоздал.
Приехал — там одни веночки.
Ах, Боже мой, какой скандал!
Как быть такому одиночке?

Что делать бедному ему,
Ища решенья по старинке —
Напиться с горя одному
Иль добираться на поминки?

* * *

А.М.

Ему подтвердили опять,
Что он согласился когда-то
Хоть несколько слов написать
К стихам молодого собрата.

Хотел похвалить от души,
Чему не пришлось воплотиться:
Стихи были так хороши,
Что он не сумел восхититься.

ХАРАКТЕР

Художника плохое настроенье,
Не связанное с качеством трудов —
От своего таланта отстраненье,
Которое он выказать готов.

Иной поэт чего-то ждёт, надувшись,
Другому нетерпимость дорога.
А выражавших мнение натурщиц
Вышвыривал на лестницу Дега.

РИМ

И снова, в самой ранней тишине,
В свою судьбу загнать себя, как в угол,
На жёстких досках лёжа на спине
И изнутри расписывая купол.

И, продолжая выстраданный труд,
Которому пока что нет предела,
Спускаться вниз на несколько минут,
Чтоб посмотреть, как движается дело.

РЕЗОЛЮЦИИ

Ничего святого нет,
Если эту сверку
В неожиданный момент
Запретили сверху.

Началась пора дождей
Мрак в холодной нише.
Но зато куда важней —
Одобренье свыше.

ЖЕНСКИЕ НОГИ

Женские ножки почти не видны, —
Будто от скверной погоды
Им объявили подобье войны
Брюки приевшейся моды.

В мае сирень зацветает бегом,
Смутные дарит надежды.
Женские голые ноги кругом —
Летняя форма одежды.

РОМАНЫ

Рассказы о своих романах
У смелых женщин городских
В подробностях, больших и малых,
Подостовернее мужских.

А выданные без утайки,
Изобретательно-пусты,
Солдатско-зэковские байки
Порой похожи на мечты.

ТРОТУАР

В тень укрылся уличного тента,
В сутолоку движущихся тел,
Потому что видеть её с кем-то
Он в который раз не захотел.

Бывшую и чуточку иную,
Ту, что так безжалостно ушла,
Он, её мучительно ревнуя,
Продолжал любить из-за угла.

КОНЕЦКИЙ

Был Виктор Конецкий суров,
Не многих душа принимала.
Однако и ласковых слов
В душе этой было немало.

Сказал один бывший моряк:
— Любил я общенье с Конецким,
А то ведь сплошной уже мрак,
Словцом перекинуться не с кем.



Лариса ВАСИЛЬЕВА

Москва



ЭХО

Стихи – прелюдия к прозе

Семеро. Приближаются. Прозрачные. Невесомые. Шестеро больших. Один малыш.
 Семь цветов радуги переливаются в каждом:

красный	фиолетовый
оранжевый	синий
зелёный	зелёный
голубой	жёлтый
синий	оранжевый
фиолетовый	красный

Шароподобны или шарообразны? И то, и другое.

Семеро. Медленно превращаются в телесные человеческие фигуры. Трое мужчин.
 Три женщины. Один ребёнок. Мальчик, девочка? Неясно.

Звучат семью нотами гаммы:

до	си
ре	ля
ми	соль
фа	фа
соль	ми
ля	ре
си	до

Семь голосов. Три мужских – бас, баритон, тенор. Три женских – контральто, меццо-сопрано, сопрано. Один детский – дискант.

бас	баритон
баритон	меццо-сопрано
тенор	сопрано

дискант
контральто
меццо-сопрано
сопрано

дискант
бас
баритон
тенор

Мужские голоса:

Эхо – песня без слов,
Эхо – без песни слова.
Отзвуком вещей снов
стынет во льду трава.

Женские голоса:

Эхо – огонь в душе.
Эхо – душа в огне.
Грифелем в карандаше
слово звучит во мне,
кровоточит, крича
времени злему вслед:

Дискант:

где не горит Свеча,
там да не будет Свет!

*Переключка
шести голосов:*

Оледенение, воспламенение,
землетрясение, наводнение,
оспа, холера, спид, чума –
вот наше горе от ума.
Не желая от природы
милостей покорно ждать
взяли силою свободу
всё и вся высвободить.
Выцедим, вырубим,
вытрясем, вырежем,
выкопаем, выколем,
выгрзем, выдавим,
вывалим, вытащим,
выплюнем, вынесем,
ненужное выбросим.

Дискант:

Куда? Все помойницы мира покойницы.
Гробами поднимаются они повсюду.

*Переключка
шести голосов:*

В наркотическом безумии
содрогается человечество,

корчится между смертей и рождений,
 овладевая плотью планеты
 на тонкой подстилке почвы.
 Мы – взыскующие града*
 рады оставлять следы,
 и агония распада
 нам награда за труды.

Дискант: Пожары, грозы,
 сверхморозы –
 предупреждения свыше ...

Разноголосица: Не слышим, не слышим, не слышим,
 не слышим, не слышим, не слышим.

Дискант: Что схватили,
 то и превратили

Бас: тяжёлую воду нефти – в автовыхлопы,
Баритон: бег волны – в светящуюся нить вольфрама,
Тенор: листву деревьев – в листы бумажные,
Контральто: червонное золото – в чёрное зло,
Меццо-сопрано: пространство и простор – в воздушный
 коридор,
Сопрано: чистое поле вселенной – в полигон.

*Переключка
 шести голосов:* Преобразовали мир
 и отправились на пир,
 а сегодня мы по кругу
 представляемся друг другу.

От кого нас породили,
 тех давным-давно забыли,
 вспоминаются в угаре
 предки нашего кармана:

Разноголосица: Казанова, Мата-Хари,
 Коза Ностра, Мари-хуана.
 Мы вели раскопки в теле
 доброй матушки-Земли,
 наше время на пределе,

а не всё ещё нашли,
то, что видите вокруг,
дело наших славных рук.

*Перекличка
шести голосов:*

Размежевание, распределение,
расщепление, расцепление, растворение,
разрушение, растление,
разложение, расстрел,
разъединение, развоплощение —
вплоть до исчезновения
с лица Земли.

Дискант:

Когда поглотит всё живое
волна или сожжёт война,
в Царствии Небесном
очнутся двое:
Она и Он,
Он и Она.

Воздушные, прозрачные, переливающиеся семью цветами радуги шароподобные
формы, легко взлетая в Небо, исчезают в его просторах.

* *Взыскующие града — искатели истины и справедливости.*



Иван ЩЁЛОКОВ

Воронеж

**ВЕЧНЫЕ СТРАННИКИ***Воронежские страницы в кавказских скитаниях М.Ю. Лермонтова.**Эссе на фоне дождливого летнего утра*

Ненастное летнее утро. Только что закончился короткий, не по-июльски тихий и мелкий дождь. Чуть прояснилось, и по небу даже не плывут, а нехотя передвигаются густые, не сплошные, а разорванные небесной десницей тучи. Серебристо-свинцовые, причудливо-вихрастые... Я провожаю их взглядом, и неожиданно из глубины сердца выплывает величественно-грустная музыка строк:

*Тучки небесные, вечные странники,
Степью лазурною, цепью жемчужною...*

И моя фантазия несёт меня вслед за лермонтовскими тучами по просторам воображения. Где ещё, если не у нас, в воронежском раздолье, ухватила и отнесла в тайники памяти душа поэта удивительный образ лазурной степи, чтобы однажды в Петербурге, незадолго до своей последней поездки на Кавказ, глядя в окно, с горечью признаться:

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники...

А тучи плывут и плывут. Не откуда-то, а прямиком «с милого севера в сторону южную...» И возникает беспокойство, и ты теряешь в это мгновение душевное равновесие от странного слияния собственного настроения с лермонтовским стихотворением и с привычным, не таким уж редким природным явлением — морозящим летним дождём.

Не этот ли ветер гнал поэта с вереницей «тучек небесных» через воронежские степи туда, в тревожно-опасный горный край, чтобы за хребтами Кавказа, либо в укромном таманском домике у моря, в тени чинар с их прохладой и покоем, укрыть поэта-изгнанника от «всевидящего ока и всеслышащих ушей», от насмешек и притеснений высшего света? Не этот ли ветер искал приют певцу, подобно дубовому листку, оторвавшемуся «от ветки

родимой», чтобы на чужбине обогреть, приласкать и передать его вечности, испытав на стойкость, верность и преданность через предательство, подлость и зависть соплеменников?

Вместе с думами о поэте ветер будто подхватывает и меня. Я что – странник? И тот незнакомец под зонтиком на тротуаре – тоже странник? Может, человек вообще странник на этой земле и под этим небом? Мы все – «тучки небесные»? «Степью лазурною, цепью жемчужною» каждого из нас гонит судьба по дорогам Отчизны. И в сокровенные минуты понимаем: любим мы её, но почему-то тоже, как и поэт, «странною любовью». Может, потому, что и её любовь к нам странная? Молодой Лермонтов зацепил, натянул в каждом из нас струнку, отозвавшуюся глубинной болью. Иначе откуда эти необъяснимые состояния тоски и обречённости, униженности и одиночества, безумства и мужества, бесшабашности и жертвенности, совестливости и добра? Отчего они? Из каких источников протекают? Какими ветрами надуло в сквозящую щель раздвоенного сознания и духа? По какому праву? И что это, наконец: божье предназначение или уязвлённая, разряженная русскими пространствами страждущая душа?

Я часто задумываюсь, как неравномерно распределено зло на планете. В Европе, например, где плотность населения высока из-за нехватки свободных территорий, этого самого зла на площадь обитания одной души приходится значительно меньше, чем у нас в России. Сколько же этой мерзкой философской субстанции, которую ни пощупать, ни понюхать, нужно, чтобы заполнить бездны российских расстояний, среди которых томятся наши святые и грешные души! И мы несём всё это из поколения в поколение, столетиями надрываясь, надламываясь, буйствуя и радуясь, любя и проклиная в извечном поиске правды и воли. Амплитуда наших душевных колебаний так велика, что выплёскивается не то что под лермонтовские «тучки небесные», но и прихватывает пространства, где «звезда с звездой говорит».

* * *

Через несколько минут небо снова заволокло, кругом потемнело. Задождило. В третий раз за утро.

А фантазию уже не остановить... Время перепуталось, границы стёрты... Поток чувств, перемешиваясь с дождевыми струями, несёт в прошлое. Туда, туда, почти на два века назад, к Лермонтову. Он уже здесь, на подступах к нашему городу... Он – тучка. Он – вечный странник на русской земле, изгнанный из привычного окружения.

*Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную...*

На счастье потомков Воронеж оказался уникальной географической и исторической точкой на пути скитаний гордого, свободолюбивого юноши.

В принудительных путешествиях на Кавказ (а первый раз поэт был сослан туда в 1837 году за стихотворение «На смерть поэта») через столицу Черноземья Лермонтов не был одинок.

В 1818 году в Воронеже короткую остановку совершил будущий автор «Горя от ума» А.С. Грибоедов. Как секунданта на дуэли его отправили в почётную ссылку в Персию – набираться дипломатического опыта.

В 1829 году через Воронеж в Минеральные Воды и Тифлис проезжал А.С. Пушкин.

Расположение Воронежа на пути опального русского вольнодумства сослужило ему одинаково как дурную, так и яркую славу города, ставшего знаковой частью истории России. Попавшие в немилость царей и сосланные на «перевоспитание» под пули горцев подданные Российской империи, как правило, люди передовых идей и мыслей, не могли миновать на изгнаннической тропе губернский центр с таинственным, неразгаданным, притягательно-пугающим набором звуков – В о р о н е ж.

Безымянных «вечных странников» русской судьбы гнали с севера на юг, по меткому определению Лермонтова, и «зависть тайная», и «злоба открытая», и «друзей клевета ядовитая». «Транзитных» особ Воронеж встречал, скорее всего, как это и было повсеместно, с жандармской настороженностью, равнодушно и холодно, буднично и скучно.

Впрочем, и высоким столичным пилигримам город представлялся рядовым привалом в длительной тряске по отеческим ухабам.

Среди вечных странников русской литературы, в биографии которых значится губернский город Воронеж, были К.Ф. Рылеев и Д.В. Веневитинов.

Поэт и вольнодумец, будущий основатель альманаха «Полярная звезда», один из организаторов восстания декабристов 14 декабря 1825 года Кондратий Рылеев в 1817–1819 годы служил в конно-артиллерийской роте, расквартированной в Острогожском уезде. Был женат на дочери местного помещика – Н.М. Тевяшовой. Частенько навещался в Воронеж. Тернистый путь бунтаря-стихотворца, возглавлявшего свободу и равенства, пролёг с меловых круч Дона к Сенатской площади Петербурга.

В 1824 году родовое воронежское имение в с. Новоживотинном в последний раз посетил знаменитый любомудр, философ и поэт Дмитрий Веневитинов. Поездка оставила в сердце юноши неизгладимый след. Вместе с братом Алексеем Веневитиновым он побывал на приёме у воронежского губернатора П.И. Кривцова, известного своей близкой дружбой с А.С. Пушкиным. Много гулял в окрестностях Новоживотинного, любовался картинами природы. В письме к сестре Софье в Москву признавался: «... я такой любитель деревни, что скоро забываю все неприятности, чтобы спокойно отдаться наслаждению, а здесь есть чем наслаждаться. Всякий раз, когда я переправляюсь через Дон, я останавливаюсь на середине моста, чтобы полюбоваться на эту чудную реку, которую глаз хотел бы провожать до самого устья и которая протекает без всякого шума, так же мирно, как само счастье...» Но это счастье не было долгим. Вскоре Веневитинов возвращается в столицу. Симпатизируя декабристам, тяжело переживает исход событий 14 декабря 1825 года. Осенью 1826 года, будучи переведённым в Петербург на дипломатическую службу, подвергается аресту и обыску. Петербургский период для восходящей звезды русской словесности оказывается недолгим – в марте 1827 года Дмитрий Веневитинов, простудившись, умирает. Его жизнь, короткая, как вспышка молнии, озарила на миг несостоявшийся в полной мере путь избранника и вечного странника, но успела оставить свой неповторимый след в судьбе Воронежа.



Транзитным пунктом русского свободомыслия Воронеж оставался на протяжении всего XIX века и даже в дореволюционные годы XX столетия. Толстой и Чехов, Горький и Маяковский, – кто только ни останавливался в городе в своих скитаниях по отеческим просторам... Избежал «транзитного» воронежского привала разве что Есенин. Вынужденный побег в Баку совершил по железной дороге через Курск...

Последним трагическим штрихом этого «транзита» стала ссылка в Воронеж О. Мандельштама и приезд к нему в гости в 1936 году А. Ахматовой.

Но и для своих, родных кровинушек, Воронеж нередко являлся «транзитным пунктом».

Вспомним А.В. Кольцова. Разве не странник? Разве не отверженный? Душа тянулась к стихам, а суровая действительность отправляла в бесконечные скитания

по Дикому полю. Месяцами не жил дома, гонял отцовский скот. Ночевал с чумаками в степи, у костра. Пел и горевал вместе с крестьянами, вёл душевные беседы с пешими странниками. В степи их тогда хватало: кто бродил в поисках лучшей доли, кто таким образом познавал Бога.

А Иван Бунин? Воронеж подарил младенца миру, записал дату рождения в метрику – и будь здоров, Алексеич, сам разбирайся в своих «окаянных днях» вечного странствования – от двухэтажного особнячка на центральной воронежской улице до тихого парижского кладбища.

В конце 20-х годов прошлого века Воронеж отправил в вечные скитания ещё одного своего титана – Андрея Платонова. Сказал ему: ступай! Тот пошёл искать сокровенных человеков, ювенильные моря и котлованы новой социалистической жизни в стремительном и яростном мире, да так и не пристал больше к родному берегу, пополнив гряду «летучих голландцев». Зато мотив странничества стал едва ли не самым распространённым в его творчестве. Трудно понять, в чём причины такого обращения к теме, скорее всего, по душевному строю писатель и был странник. Не так давно мне попалась в руки работа Л.П. Фоменко «Мотив железной дороги в прозе Платонова». Исследователь творчества писателя точно подметил: «В художественном мире Платонова железная дорога связана с важнейшим философским мотивом движения, включающего «уход», «возвращение», «дом», «дорогу», «странничество» и т.д... Странничество и поиск, как правило, в русской традиции связаны с пешим передвижением. Такой образ есть и у Платонова (стихи из «Голубой глубины», «Чевенгур», «Глиняный дом в уездном саду», «Июльская гроза» и др.). Совместив традицию странничества с железной дорогой, Платонов обогащает ее неожиданным обертоном, который особенно ярко сказывается в «Сокровенном человеке».

Во второй половине двадцатого столетия список «воронежских скитальцев» пополнился именами Анатолия Жигулина, с юности прошагавшего сибирскими дорогами с клеймом

врага народа, и Алексея Прасолова, кочевавшего в своей бесприютности из одного района области в другой...

Ссылные и не ссылные, служивые и отдыхающие на кавказских минеральных водах, знатные и разночинные особы – писатели, артисты, музыканты и художники, дипломаты и военные – поручики, капитаны, полковники и генералы, – все они в равной степени были «тучками небесными». И Лермонтов, наверное, первый и единственный из поэтов России особо остро ощутил трагичность великого духовного тракта из Санкт-Петербурга и Москвы на Кавказ:

*Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя
И вот, наконец, докатился до Чёрного моря...*

* * *

Дождь не кончается. Моросит, злит, портит настроение. Тучи, нагоняя и подпирая друг друга, слились в сплошное серое марево, будто что притормовило их беспрепятственное скольжение по воздушной лазури. Я больше не различаю их сказочные силуэты, но инерция лермонтовского поэтического эха сильнее переменчивых погод.

*Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?*

Читаю на память эти строки и будто слышу голос поэта. Нет, он не утверждает, и даже не вопрошает, он кричит на ветру, на этом высокомерном зазнайке-потоке, перед которым даже тучи – жалкие, слабые существа. Эти крики-вопросы – словно шифр к разгадке истинного смысла написанного. Какая сильная, оказывается, в этом вспльчивом, честном юноше, пусть хоть и «странная», но искренняя любовь к Отчизне, к ее героической истории, которую «недаром помнит вся Россия» и которую опошлили «наперсники разврата»! Какая неподдельная любовь к народу, даже к купцу Калашникову, поплатившемуся жизнью в схватке за честь жены и своего рода!.. Лермонтов – тучка. Он мог бы легко скользнуть за горизонт, пролиться дождём – и нет его больше для «севера милого», для «голубых мундиров» и пашей... Но он выше «мелочных обид», его душа полна веры в торжество справедливости и разума, чести и закона: «...есть и божий суд... Есть грозный суд... мысли и дела он знает наперёд». Поэт надеется на возвращение, он не желает разделить участь дорогих и близких ему по внутреннему ощущению мира небесных образов. В «минуты роковые» его обуревают сомнения:

*Что если я со дня изгнания
Совсем на родине забыт!
Найду ль там прежние объятья?
Старинный встречу ли привет?
Узнают ли друзья и братья
Страдальца после многих лет?..*

«Под бременем познания», горького открытия он готов сравнивать себя с тучками, но его судьба, в отличие от небесных странниц, иная, куда более незавидная. С тучами всё понятно: у них нет родины. А у него есть! Он любит «её степей холодное молчанье, лесов безбрежных колыханье...», любит «просёлочным путём... скакать в телеге» и «встречать по сторонам... дрожащие огни печальных деревень». И он жертвует возможностью обрести почти космическую свободу от всего, потому что осознаёт: человеку этого свыше не позволено. Пусть вокруг «...скучно, и грустно, и некому руку подать», пусть даже: «...печально я гляжу на наше поколенье...», все-таки выбор души однозначен: «Нет у вас родины, нет вам изгнания...» Последней строкой поэт как бы возвращает себя из стихотворной иллюзии в суровую объективную реальность.

А это уже – поступок, это – знак пророка! Печать себе и своему времени.

Обладая фантастической силой поэтического перевоплощения, Лермонтов не только был способен «уйти» в образ, раствориться в нем до последней живой клеточки, он обретал его сущностную энергию. Мысленно срастаясь с «тучками небесными», не отсюда ли, с высоты воплощённого, он взирает на землю? Что ему видится в то мгновение? Лазурная степь? Жемчужная цепь? Нет, это только атрибуты реального мира, его детали. Они важны, без них стихотворный каркас рухнет. За ними поэту являются глубочайшие противоречия мира. Он недоумевает от заложенного природой конфликтного предназначения человека как высшего разумного существа на земле. С одной стороны, человек создан по образу божьему и должен быть носителем добра и света, с другой – откуда в нём столько демонического, ярого, откуда столько зла, готовности жестоко и бессмысленно расправляться, мстить, убивать?

*И с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.., небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?»*

Даже без анализа сложнейших жанрово-композиционных и тематических особенностей стихотворения «Валерик» ясно, что в своих поэтических произведениях 40-х годов поэт достигает пика мастерства, высшей степени художественной обобщённости. Остаётся удивляться, как удаётся. Его душевное состояние крайне напряжённое. Поэт замотан, растерзан, беспрестанно трясется по дорогам между столицами и Кавказом, участвует в военных операциях с горцами, рискует жизнью...

И всякий раз на его пути – Воронеж. Дорожная неизбежность? Или всё-таки божье благорасположение: дать возможность передохнуть в тихом губернском городе, собраться с мыслями, привести себя в чувство?

Дорога в судьбе поэта – мощнейшая мотивация творческого взросления. Дорожные впечатления – уникальная возможность понять себя и других, прикоснуться к земному – сиюминутному и небесному – вечному. Кто ещё из его стихотворцев-современников мог легко, подобно космическому кораблю пришельцев, взмыть с сельской обочины, с каменистого берега горной речки, с места боя сразу под облака, к звёздам, свободно переместиться в пространстве и времени, сделав рядовую деталь земного бытия неотъемлемой частью мироздания и высшей гармонии? Наше общество только сегодня с помощью информационных технологий научилось создавать иллюзию картинки, в которой человек будто бы становится живым участником воображаемого действия. А поэтический гений Лермонтова с помощью нехитрых приёмов со словом, образом и метафорой, как в современных технологиях 3D, творил объёмную поэтическую иллюзию мира, помещая в него человека, чтобы понять, каков он, откуда в нём столько противоречий и отступлений от «подобия божьего».

*Под ним струя ясней лазури.
Над ним луч солнца золотой.
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!*

Стихотворение «Парус», 1836 год. Поэту всего 22 года. Начало поэтического движения к вечному странствованию. Всё написанное до этого в основном – ученичество и подражательство, оно – от общей культуры, образованности, начитанности. А в «Парусе» уже сама судьба будущего пророка водит пером по бумаге. Мятежный дух человека с его первородной обречённостью перед силами природы органично вписан в глобальные координаты земли и неба, моря и солнца!

...А уже через год Лермонтов будет сослан на Кавказ за дерзкий стихотворный отклик на смерть Пушкина. И маршрут его впервые проляжет через незнакомый ему город – Воронеж.

...А в 1839 году наконец-то закончит поэму «Демон», в которой по воле автора пространство, время и дух то сведены в точку, то отодвинуты до башен монастыря, а то распахнуты до космических горизонтов, над которыми «...за веком век бежал, // Как за минутой минута, // Однообразной чередой...». И кульминацией авторской медитации станет сцена клятвы Демона. Это – не воспалённый бред влюблённого юноши, стоящего на коленях перед любимой, это – голос неба, дыхание вселенной:

*Клянусь я первым днём творенья,
Клянусь его последним днём...*

...А через четыре года Лермонтов напишет «Тучи»... И такая же, как в «Парусе», простота, ясность и обманчивая внешняя безыскусность. Но вместо юношеского показного бунтарства мы угадываем пророческую мудрость мужа, воина, поэта, соединившего в себе несоединимое – все параллели мира, его философско-этические и духовно-нравственные потоки.

* * *

Дождь снова прекратился, небо стремительно очистилось. Синева и солнце. Два цвета торжествуют, наполняют красками каждый уголок земного пространства. И – ни одной тучи.

А как же Лермонтов? Как же мои попытки повстречать его на Большой Дворянской – главной улице старого Воронежа? Ведь он уже тут бывал. И когда ехал в конце января 1841 года из Новочеркасска... Остановившись в гостинице Кольбихина. Не сильно задержался, правда, спешил, не терпелось в столицу, к друзьям... И когда в конце апреля – начале мая того же года, но уже на обратном пути, из Петербурга на юг... Ехал не один, со своим другом и родственником А.А. Стольпиным – Монго. Ехал с неохотой, трудно. Словно нехорошие предчувствия одолевали. Потому, наверное, и задержался на несколько дней в провинциальном Воронеже. Сняли с Монго номера в гостинице Евлаховой и немного покутили, повеселились с местными барышнями...

...Мысли навязчивы, от них тяжело отмахнуться. И я хочу, чтоб снова по небу поплыли тучи. И тогда поэт будет мне ближе. Ведь он – тучка! У него этот образ по всему творчеству. Помните:

*Ночевала тучка золотая
На груди утёса-великана...*

Я пытаюсь остановиться на этих строчках и не могу: они выскользывают из сознания наружу:

*Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя...*

И пока нервничаю по поводу перемен погоды, пока надрываю сердце глупыми вопрошаниями, кажется: все эти небесные существа из всех лермонтовских стихотворений и поэм, прозы и писем наползают на меня, обволакивают, завораживают и под воздействием счастливого колдовства, растворившегося в крови, обжигающего прелестью и тайной, уносят за собой в край вечной гармонии...

И я спрашиваю, не знаю у кого, просто спрашиваю: как удалось поэту в стихотворении «Тучи» соединить волшебную простоту и глубочайший философский и нравственный подтекст? Ни единого намёка на конкретную житейскую ситуацию, ни малейшего штриха в описании места или времени действия и уж тем более – открытой обиды и презрения, как, например:

*Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ...*

Только настроение и музыка. Вечные мотивы, понятные любому чуткому сердцу и здравому уму. Это как у Пушкина в стихотворении «Я вас любил...».

Кто только ни следил за плавным движением небесных путешественниц! Кто ни дивился их причудливыми неземными формами! Не правда ли, красиво, романтично, забавно? Наверное, и через сто лет какой-нибудь гордый юноша – ровесник Лермонтова, только не с саблей на боку и верхом на лихом коне, а с чипом в башке и с монитором в зрачке, будет с интересом следить за полётом туч. Может, даже будет испытывать чувство легкой грусти, одиночества от мимолётности жизни. Что поделать: присутствие человека в обществе себе подобных не гарантирует защиту от таких душевных состояний. При виде проплывающих мимо «тучек небесных» почему-то наиболее остро осознаёшь себя пылинкой в космической бездне...

А вот Лермонтов двумя последними строчками разрушил стандартные романтические ощущения, придав стихотворению ненавязчиво-горестное, но легко прочитываемое гражданское звучание:

*Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания...*

Парадоксальный, неожиданный поворот авторского настроения – словно отрезвляющая от романтического опьянения дождевая струя. Иллюзии созерцания, созданного в первом четверостишии, рассеялись. Дохнуло хладом космической бездны, взглядом оттуда, откуда всего видней: кто ты – властелин, раб, избранник, изгнанник, пророк или бунтарь-одиночка? Согласен ли ты разделить судьбу «вечно свободных» тучек, кому «чужды... страсти и чужды страдания» или все-таки лучше оставаться в трудной доле изгнанника, но вместе с родиной? И только потом, перед последней поездкой на Кавказ, за несколько месяцев до трагической дуэли, Лермонтов будто делает «контрольный» поэтический выстрел:

*Прощай, немытая Россия!
Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь...*

* * *

Небо слышит своих избранников. Небо не теряет с ними связи, сколько бы лет не минуло на земле, сколько бы туч не проплыло по голубой лазури.

...Слава Богу, после короткого прояснения тучи вновь вынырнули откуда-то, будто из-под карнизов многоэтажек или из-под придонских холмов, и плывут себе – на радость фантазиям лета.

Степью лазурною, цепью жемчужною...

...Всё-таки здорово, что поэт всякий раз отправлялся на Кавказ через мой город. Наверное, поэтому я слышу его голос, различаю в забытом сонме людских шагов чеканный строй его гусарских сапог. А ещё я пытаюсь представить образ поэта, во что он одет, похож ли на того, что привычно смотрит с книжных страниц. Мысленно рисую нашу возможную встречу.

*Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть...*

Нет, это не пойдёт – финал трагичен. Может:

*Из-под таинственной холодной полумаски
Звучал мне голос твой отрадный, как мечта?..*

Пожалуй, это ближе к настроению. Но смущает слово «отрадный»...

И вдруг случайно, почти беспричинно из памяти выплывают строчки его «Казачьей колыбельной песни»:

*Богатырь ты будешь с виду
И казак душой...*

Я не могу сообразить, отвечают ли они воображаемой сцене встречи. Скорей всего, нет. Но строчки помимо воли льются из души музыкой – немножко грустной, немножко светлой. Я пытаюсь понять, откуда эта музыка? Почему эта песня мне знакома? Где я мог её слышать раньше?

*Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся богу,
Ставь перед собой...*

И меня озаряет: эту песню пела нам, братьям, бабушка. Она училась в церковно-приходской школе ещё в начале прошлого века. Когда ей было восемьдесят лет, она свободно цитировала наизусть целые куски из стихотворений Кольцова, Никитина. А «Колыбельную...» Лермонтова пела...

Вот как учили наших бабушек русской поэзии!

* * *

Лермонтов трижды проезжал на Кавказ через воронежский край. Однажды, в 1840 году, он отправился к месту службы с однополчанином Александром Гавриловичем

Реми. Впоследствии попутчик и однополчанин поэта стал известным генералом. Погиб трагически в 1871 году в железнодорожной катастрофе. О совместной поездке на юг договаривались в Петербурге ещё с одним товарищем по лейб-гвардии гусарскому полку Александром Львовичем Потаповым, который взял с Реми и Лермонтова слово, что они попутно погостят в его имении, в деревне Семидубравное Землянского уезда Воронежской губернии, куда он отправлялся несколькими днями раньше.

Потапов, происходивший из знатного генеральского рода и являвшийся внуком воронежского губернатора екатерининского времени, письменных воспоминаний о полковом товарище Лермонтове не оставил. Известно лишь, что некоторые сведения о поэте сообщил первому биографу Лермонтова П.А. Висковатому. В 1891 году тот издал книгу «М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество». Из сообщенного Потаповым стало известно, что в Семидубравном Лермонтов сочинил музыку для своей «Казачьей колыбельной песни» и что ноты этого произведения находились в имении.

Впоследствии этот примечательный факт из биографии М.Ю. Лермонтова использует Ираклий Андроников в статье «Образ Лермонтова».

В 1877 году «Донская газета» опубликовала «Случай из жизни М.Ю. Лермонтова», записанный якобы неким автором, укрывшимся под криптонимом «Гр.», со слов покойного генерала А.Г. Реми. Из газетного сообщения следовало, что эта поездка для Лермонтова не была простой. (Кстати, в публикации называется дата – 1841 год, но исследователями, в частности Г.В. Антюхиным, Б.Г. Окуневым и другими, на основании краеведческих материалов, указывается 1840 год – *прим. авт.*). Поначалу Реми не хотел брать в попутчики поэта из-за его сложного характера. Лермонтов дал клятву вести себя в дороге мирно. Но когда, то ли ещё в Петербурге, то ли по дороге, поэт узнал, что у полкового товарища в Семидубравном гостит к тому же его двоюродный дядя – генерал Потапов, слышавший в среде офицеров свирепым «зверем», Лермонтов отказывался заезжать в деревню, отговаривал и Реми. Однако гусарское слово было дороже непредвиденных обстоятельств. Опасения Лермонтова оказались напрасными. По сообщению той же газеты, когда после обеда Реми и Потапов-младший пошли зачем-то во флигель, поэт остался наедине с генералом. Каково же было удивление последних, когда они, возвратившись примерно через полчаса, увидели на одной из площадок сада сидящего на генеральской шее Лермонтова. «Оказалось, что «зверь» и до лихорадки боявшийся его поэт играли в чехарду», – пишет газета. Развязкой коллизии стали генеральские слова: «Из этого случая вы должны заключить – какая разница между службой и частной жизнью – будьте и вы такими же. На службе никого не щажу – всех поем, а в частной жизни я – человек, как и все».

«А.Л. Потапов, – заключает «Донская газета» – бывши на Дону атаманом, подтвердил этот рассказ».

...Некоторые исследователи высказывали предположение, что каприз Лермонтова объяснялся не боязнью поэта повстречаться с генералом-«зверем», а свобододолюбивыми идейными настроениями. Из биографии генерала Алексея Николаевича Потапова следует, что он повёл себя крайне верноподданнически в день восстания декабристов, 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, за что и был пожалован взошедшим на престол

новым императором Николаем I званием генерал-адъютанта. Затем вошёл в следственный комитет, который занимался делом декабристов, в августе 1826 года был произведён в генерал-лейтенанты... Лермонтову, симпатизировавшему декабристам, эти факты были известны.

Увы, как бы там ни было, история рассудила всех.

А мы благодарим судьбу за то, что поездка Лермонтова в Семидубравное в тот раз всё-таки состоялась.

Все дни, проведённые в имении Потапова, Лермонтов был бодр и весел, музицировал и наверняка не единожды презентовал в собственном исполнении «Казачью колыбельную песню».

* * *

Воронеж... Степь... Тучи... Колыбельная песня...

*Сам узнаешь, будет время,
Бранное житьё;
Смело вденешь ногу в стремя
И возьмёшь ружье.*

Как это всё мило и грустно, понятно и близко. И тревожно!

И – образ поэта как воплощение настроения. Скользит по небу тучкой из исторического небытия, чтоб хоть одним глазком взглянуть на город, в котором когда-то местная газета в хронике сообщала: в гостинице такой-то такого-то числа останавливался господин поручик М.Ю. Лермонтов...

Пытаюсь вместе с поэтом представить ту старину, и мне почему-то верится, что Лермонтову наверняка льстило, что он, автор стихотворения «На смерть поэта», несколько раз повторял маршрут своего поэтического кумира – Пушкина.

Но вот случился же парадокс истории! О Лермонтове губернская действительность оставила память в виде коротких строчек в хрониках «Воронежских губернских ведомостей» и в воспоминаниях современников. О посещении же нашего края «солнцем русской поэзии» воронежские архивы молчат. Пока ни единой строки, кроме страстного желания местных краеведов разыскать хоть какое-то упоминание. И желание это постоянно подпитывается строчкой самого Пушкина из «Путешествия в Арзрум»: «Наконец увидел я воронежские степи и свободно покатился по зелёной равнине». С этим авторским признанием следы пребывания поэта в воронежских просторах затерялись. Живут, правда, легенды. Лично мне известны две.

Первую я услышал лет десять назад в старинном донском селе Нижний Мамон. Это примерно километров двести с небольшим на юг от Воронежа. Село растянулось на пятнадцать вёрст вдоль берега Дона.

В те годы, когда вечные странники русской литературы совершали поездки на Кавказ, в Нижнем Мамоне осуществлялась переправа через Дон. В наши дни здесь, в

обыкновенной деревенской избе, располагается этнографический музей. В нём весьма даже уютно. Есть и уголок, посвящённый А.С. Пушкину. Среди вещей и утвари привлекает старинный чайник. Местная экскурсоводша всегда увлечённо и с гордостью рассказывает, что именно из него нижнемамонский пастух угощал Пушкина чаем. «Иначе и быть не могло, – говорила она убеждённо, – потому что другого пути на юг в ближайшей округе не было. Стало быть, Пушкин в нашем селе был!»

Наверное, жаль, что это – легенда! И, наверное, это – счастье, что у села Нижний Мамон и у его жителей есть легенда: такие легенды помогают нам выжить, сохраниться в нынешних безжалостных тисках глобализма и вымывания мультимедийными технологиями из молодого национального сознания исторической памяти...

Вторую легенду о пушкинском маршруте по воронежским землям услышал летом 2012 года, в день рождения Александра Сергеевича. И совсем в другой стороне от исторического кавказского тракта – около Нововоронежа, в селе Олень-Колодезь. Местные жители убеждены: именно из их родников Пушкин пил студёную воду. Автор исторической хроники о Петре I не мог не заехать сюда, потому что наверняка знал, что в Олень-Колодезе император бывал не один раз. Почему бы не посмотреть на село, куда приезжал сам царь-корабел?

Поклонники красивой легенды даже установили на околичном взгорке памятный знак. Он напоминает чем-то треногу. На знаке надпись о том, что через это село проезжал Пушкин. Ежегодно в день рождения поэта, шестого июня, у этого знака собираются самодеятельные поэты из окрестных сёл и из города атомщиков. Читают стихи, делятся новостями и впечатлениями. Приглашают в гости профессиональных авторов из Воронежа. В качестве гостя я и побывал на легендарном месте.

Конечно, жалко, что в Воронеже, кроме легенд, нет документальных свидетельств о пребывании Пушкина. И всё-таки прочная незримая нить соединяет и роднит наш город с великим поэтом-странником. И этой связующей нитью, несомненно, является Алексей Кольцов, который был лично знаком с Пушкиным. Встречались они в Петербурге в 1836 году.

Их встреча – символический знак судьбы в литературной биографии Воронежа и в его историческом предназначении быть не только транзитным пунктом русского свободомыслия, но и родиной отечественной поэзии.

Тогда в северной столице встретились не просто два поэта, но и два достойных сына Отечества. Дворянин и разночинец. Эстет и самородок. Представители двух сословий, двух эстетик и культур... Один гениально переплавил застывшую, омертвевшую в строгих канонах классицизма дворянскую литературную традицию в живую, звенящую, солнечную энергию человеческого торжества. Другой вывел крестьянскую душу, чистую, как утренняя роса, звонкую, как речная струя, и вольную, бесконечную, как воронежская степь, за деревенскую околицу. И по ухабам, по большаку, по почтовому тракту дошла она, томящаяся в нужде и празднествах, буйстве и лени, в трудовом гнёте и мироедстве помещиков, в весёлой и грустной песне, в безответной, нежной любви и огневой, безрассудной пляске, – до столичных бульваров.

*Ах ты, степь моя,
Степь привольная,
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
К морю Чёрному
Понадвинулась!
В гости я к тебе
Не один пришёл:
Я пришёл сам-друг
С косою вострою;
Мне давно гулять
По траве степной
Вдоль и поперёк
С ней хотелось...*

Пушкин интуитивно рассмотрел в Кольцове родоначальника пробивающегося из глубин народного поэтического сознания самостоятельного литературного направления. Наверное, это же самое рассмотрели в Кольцове и воронежский книгопродавец Д.А. Кашкин, и семинарист А.П. Сребрянский, а также современники и друзья Пушкина: Н.В. Станкевич, В.Г. Белинский, В.Ф. Одоевский, П.А. Вяземский, В.А. Жуковский (кстати сказать, Василий Андреевич дважды встречался с поэтом в Воронеже в 1837 году – по дороге на юг в составе придворной свиты и обратно). А русские композиторы охотно создавали на кольцовские тексты музыкальные произведения. Но самое важное, что стихи и песни Кольцова принял простой народ, который и ныне поёт их.

Странническая поэтическая судьба Кольцова, как и его великих современников, в век экспансии информационных технологий поучительна: они не дают нам оторваться от истоков, от почвы, не позволяют просвещённому цинизму и прагматической выгоде от всего выкорчевать из народной памяти корни нашей духовности и культуры.

Особенно остро понимается это во время поездок по воронежской глубинке. Ни современные машины и агрегаты в поле, ни звук авиалайнера в небе, никакая другая деталь окружающего мира не способны компенсировать даже сотой доли настроения, которое мы получаем при общении с природой. Человек – природа – мир. Божественное триединство от Сотворения... Меняется материальная обстановка, на смену устаревшим приходят более усовершенствованные предметы быта, а человек в сущности остаётся собой: работает, гуляет, влюбляется, воспитывает детей, бывает – пьёт, буянит и ленится. Ничего не поделаешь – это жизнь. Как во все времена. И во все времена у человека один и тот же проклятый вопрос: он над природой и миром – властелин или природа и мир – над ним...

...Наверное, это глупо, нелогично, но почему-то и об этом тоже думалось мне в эти дождливые часы июльского утра, в моменты духовного и эмоционального сопряжения с «тучками небесными». Да и размах-то у Кольцова разве не схожий, не близкий лермонтовскому?! Вон куда замахнулся – «к морю Чёрному». Даже настырных

юношеских амбиций не скрывал: давно ему гулять с косою «по траве степной... хотелось...».

Оказывается, этот самородок-прасол в творческом полёте способен был пронизать воображаемые поэтические пространства, как и Лермонтов – вечный изгнанник на земле и вечный избранник неба.

Остаётся сожалеть, что у Кольцова и Лермонтова не было встречи. Хотя каждый из них друг о друге, наверное, слышал. Интересно, каким бы могло быть их знакомство? Лермонтов – не Пушкин. Пушкин – певец земли и сердца, он с радостью поддержал такое поэтическое явление, как Кольцов. Лермонтов – певец неба и мятущейся души. Принял бы он Кольцова, рассмотрел бы в нём родственную странническую душу? Захотел бы пригласить в сообщество «тучек небесных»?

* * *

Летний дождь – капризное создание... Пока я любовался лермонтовскими тучами, пока готовился к мысленной встрече с поэтом, пока размышлял над строчками его стихов, к полудню ветер поменял направление. Горизонт очистился. И где теперь те чудные небесные пилигримы, которые всколыхнули сердце, разбередили, взволновали? В каких краях-пределах?..

Не в такой ли точно день 27 июля (по новому стилю) 1841 года у горы Машук предательская пуля прервала земной полёт поэта?..

...А деревню Семидубравное Землянского уезда Воронежской губернии в годы советской власти переименовали в Новую Покровку Семилукского района. Вряд ли теперь различит ухо среди земных звуков этого селения мелодию «Казачьей колыбельной песни», которую Лермонтов написал здесь, в степной глуши, когда гостил в имении Потаповых...

*Стану я тоской томиться,
Безутешно ждать;
Стану целый день молиться,
По ночам гадать;
Стану думать, что скучаешь
Ты в чужом краю...*



Марина ВИРТА

Москва



* * *

Оставлю в скверике скамью,
сверну на площадь наудачу,
под тёплым снегом постою,
от тёплой радости заплачу.
А на Неве, на грязном льду,
вороны серые скучают.
Они тоску обозначают.
Я поскорей от них уйду.
А снег разлётся на кустах,
кусты пушисты и красивы.
Но почему в моих ушах
гремят тяжёлые разрывы?
Как пуст зимою Летний сад!
Как мёрзнут руки в рукавицах!
Война.
Блокада.
Ленинград.
Две «шпалы» в папиных петлицах...

* * *

В сумерках классической метели
Каждый видит что-нибудь своё...
...На меня пронзительно глядели
Очи беспощадные её.
Вместо трона – ледяная горка,
Снежный нимб вокруг гордой головы.

Вздорная принцесса, фантазёрка,
Золотая пленница Москвы.
Я шепчу губами ледяными,
Поклонившись ей издалека:
«Нам с тобой одно и то же имя
Нашептали в разные века.
И как будто небо расколосось,
И пространство – ненадёжный кров.
Мы с тобой один и тот же голос
Различаем с дальних берегов».
Нет ответа. Значит, и не надо.
Потемнеет небо, и тогда
Над дворами Старого Арбата
Загорится древняя звезда,
И душа опять сольётся с небом.
Но опасен под ногами лёд,
Но блестят, блестят под грязным снегом
Золотые туфли Турандот.

КОКТЕБЕЛЬ

Не уйти – повсюду с нами
Тень ошибок и обид...
Над безлесыми холмами
Птица серая парит.
Лопушок, на мышь похожий,
В пыль зарылся и зачах.
Птичья тень тяжёлой ношей
Распласталась на плечах.
Путь недальний, вид унылый,
Бесконечно длится день.
Над высокою могилой
Кружит умершего тень.
Не спешి остановиться,
Приглядишь – холмы ли, дым?
На лицо моё ложится
Тень поэта или птицы?
Где живые?
Где граница
Между мёртвым и живым?..

Объясни мне хоть ты —
 для чего она бродит чуть свет
 в нашем городе, где зацветает
 лишь северный бред,
 не по наши ли души,
 прекрасная Оно Комати?

ЗАВОДНАЯ ИГРУШКА

Кончается время твоё,
 заводная игрушка.
 Кончается время твоё,
 заводская зверушка.
 Всё задано было: мотор с ноготок,
 повадка, раскраска,
 поклёвка, припрыжка, повтор,
 железная пляска.
 Железного бытия мир смирен
 и смирян.
 Кончается тайна твоя и ключик
 потерян.
 Ещё сверкнёт коготок шажка
 под ступнёю,
 и глянешь ты на меня с усмешкой
 стальнойю.
 И глянет вдруг на меня игрушка
 другая,
 в какой-то новый мирок недвижно
 шагая.

ИЗ ЦИКЛА «ПОРТРЕТЫ»

Все наши манеры и моды — блеф;
 к этой парсуне, взоры согрев,
 нас подводят экскурсоводки-парки:
 породистый старый лев,
 выживший в зоопарке.
 Вот сидит он в кресле,
 прямой, как гвоздь,
 поджавши горькие губы,
 должно быть, видит он нас насквозь,
 что ему наши гекубы,
 вцики, газеты, сталебетон,
 ночного конвоя взводный,

в нашей пучине он обведён
 капсулой глубоководной.
 Блик горит в зрачке у него, — знать, свет
 от какой-то любимой тени,
 и стоит на столе рядом с ним букет
 колыванской белой сирени.

ИЗ ЦИКЛА «ВОСПОМИНАНИЯ О ВАЛДАЕ»

*Памяти
 Алексея Николаевича Ржаницына*

Домишко на краю земли прибрежной
 в три окна, в три ока,
 где жили вместе Лё и Ли, приехав
 с Дальнего Востока.
 Глядели пальма и герань на снегопад
 с дорогой в гору,
 топилась печь в такую рань —
 последним сновиденьям впору.
 Сарай насест, собак глаза,
 а возле мальвового тына
 стояла белая коза, как голубая балерина.
 Китайский веер на столе у фотографии
 Хмельёва,
 и тишина навеселе в канун
 охоты или лова.

Болгарский крест, а то и гладь
 полувдовы, полубобылки.
 Ты только времени не трать на письма,
 просьбы и посылки.
 Меня порог не удержал, не жди меня,
 как ждут победу.
 Я из немецкого бежал и из советского
 приеду.

Меня отпустят околеть за полстраны
 в чаду вагонном,
 и я успею поглядеть на озеро
 с крестом оконным.

И только раз охватит дрожь в мороз
 ночного полусвета,
 когда ты двери распахнёшь,
 меня встречая, Лизавета.

На улице Февральской – что?
 Календарю – какое дело?
 В обнимку ватник и пальто,
 собаки пляшут оголтело.
 Ну, вот и кончилась зима,
 входи, входи, я натопила.
 Спят Сахалин и Колыма,
 спят монастырь, барак, тюрьма.
 Усни... я так... тебя... любила...

* * *

Ларисе Ёлкиной

Вянут не вместе, не всех тянет
 гибнуть и спать,
 благоухают, раскрыв лепестки, героини;
 если я две уберу, их останется пять:
 чайных четыре и розовая в середине.

Впрочем, что их и считать?
 Так и так Гюлистан,
 райского сада охалка, декабрьское лето.
 Шорох взамен ветерка
 пробежал по листьям,
 были кустами и вы, балерины букета.

Дней через восемь
 букет превратится в сухой
 лёгкий гербарий,
 звенящий, что хрупкие пчёлы,
 то натюрмортом снедаем,
 то этой строкой:
 семеро, призраки роз,
 акварельная школа.



Александр ГЕРАСИМОВ

Подольск, Московская область



* * *

Тбилиси, Баку, Ереван...
 Ты воздухом разных стран
 Дышала целое лето,
 В себя принимая Кавказ.
 И даже влюблялась не раз...
 Предчувствие есть у поэта.

Ещё говорят, что ты
 Легко принимала цветы
 И вина пила, и чачу...
 Мне это не всё равно, но
 Мы виделись так давно,
 Что нервы уже не трачу.

Гораздо важнее мне
 Те дни, что прошли вдвойне
 Приятней других. Но, впрочем,
 Мне помнится каждый миг,
 Пока мы шли напрямик
 К тому, что дороже – ночи...

В касаниях ты нежна,
 Во взглядах – сама княжна.
 По мне ли это, по мне ли?
 Ведь ямочки на щеках
 (когда ты вдыхала: «ах!»),
 Подкашивали колени.

И, может, я был неплох,
 Раз ты выдыхала: «ох!»
 И гнулась, шепча: «О, Боже...»
 Мы были чисты в темноте,
 Честны в своей нагоде,
 И не было ложью ложе.

А после бежали дни,
 Мы были с тобой одни.
 На разных меридианах:
 Ты – далее, я – в Москве.
 По талии был в тоске
 И думал о дальних странах...

За Хельсинки шёл Тегеран,
 А после – млечный туман
 Сгущался на новой взлётке.
 А я, ожидая тебя
 И атлас в руках теребя,
 Прослушивал метеосводки...

Но хватит! Бросай же весло!
 Куда тебя понесло?
 По кругу живёшь, подруга.
 По кругу летят города,
 По кругу все «нет» и «да»,
 А я выхожу из круга!

Помашем друг другу рукой.
 Пусть скачет строка за строкой,
 Как будто по древу мыси.
 А ты улетай! Пока!
 Целую издалека!
 Баку, Ереван, Тбилиси...

* * *

В деревенском домике ходиков нет,
 Телефон звонит через раз.
 И комода нет, где слоны на обед
 Всемером, из фарфора, уходят с глаз...

В этом доме уже редко топится печь,
 Покосилась от лет стена...
 И калитку крапива спешит стеречь,
 Отзываясь на «крапивá».

Этот домик – внешне – почти аскет,
 Но внутри имеется быт-уют.
 Там дубовый паркет положил мой дед,
 А под крышей ласточки гнёзда выют.

Чуть пониже, в овраге, журчит родник,
 И бобры прибрежный грызут ивняк.
 А чуть дальше, если идти напрямик,
 На развалинах церкви – репей-сорняк.

И всё реже в деревне кричит петух.
 И всё меньше в деревне жилых домов.
 Так, увы, выдыхается русский дух,
 Прирастая крестами в грядах холмов...

Но упорно я еду косить траву
 И цементом править стены уклон.
 Я потом, конечно, как все умру,
 Но родник очищу и справлю дом.

* * *

От станции ж/д погост недалеко.
 Овражек, тюль берёз, направо –
 сгиб реки.
 И, если бы не храм, то было б нелегко
 В упор не видеть смерть –
 могилки-бугорки.

Но храм ещё стоял.
 Укором. Без крестов.
 Как остов корабля,
 библейского ковчега,
 Что крепко сел на мель,
 на плиты меж кустов,
 Наросших на холмах
 последнего ночлега.

По сбитой в кровь стене,
 стуча в кирпич киркой,
 Учился восходить какой-то альпинист.
 Наверно, атеист... Когда-нибудь, рукой
 Хватая облака, он оборвётся вниз.

А прочие идут; им, в общем, нету дел
 До вечности, святынь,
 до мыслей о высоком.
 И, значит, справедлив
 жителейский их удел,
 И пусть дела их рук затянутся осотом.

Картина хороша, художник даровит,
 Но на концах кистей –
 октябрь тёплым маем...
 Чтоб выжить за холстом
 ты должен быть убит,
 Чтоб выжить на холсте –
 хотя б не понимаем.

Посадки вдоль ж/д весной обнажены.
 Берёзы-тополя –
 прореженный штакетник.
 Придёт ещё пора, когда однажды мы
 Увидим поезда,
 как видит их бессмертник.

Мы будем той травой, мы тянемся
 на свет,
 Расталкивая вьюн и луговой горошек.
 Стрекозы в нас – в упор –
 глядят через фасет,
 И птицы среди нас
 разыскивают мошек.



Юлия ГИАЦИНТОВА

Москва



К СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Ты поймёшь меня, златокудрый,
 С огоньком в глазах голубых,
 Как мы пели и били в бубны,
 Что звенели как русский стих!

Ты бы понял мой нрав упрямый,
 Этот ревностный крик сгоряча.
 Мы с тобой бы шагали прямо
 И рубили б сразу с плеча!

Ты простил бы моё затмение
 Головы от хмельной ночи...
 Ты любил это русское зелье,
 От которого пой-хохочи!

Ты простил бы гордую душу
 И двуликость зелёных глаз...
 Будто камешек гладь нарушил –
 Что-то острое пало в нас...

Ты поймёшь меня, златокудрый,
 С огоньком в глазах голубых.
 Пойся, песня! Звените, бубны!
 Да воскреснет наш русский стих!

* * *

У меня же мой Пушкин есть!
У меня же Есенин есть!..
У меня всё на свете есть!
Что ни пить не могу, ни есть...

Мне теперь и плакаться им,
Мне теперь и гневаться им,
Я и с радостью — сразу к ним!
И с бедою, и с горем — к ним...

Им и грядки со мной полоть,
И стирать, и дрова колоть —
Всё на свете перебороть!
Вместе с ними перебороть...

Если враг ворвётся в дом,
Если вдруг погорит мой дом —
Только брёвна истлеют в нём:
Вы — мой крепкий и вечный дом.

А когда время будет счастье —
Где-то там — грехи мои счастье,
А во мне и доброе есть —
И Есенин, и Пушкин есть!

ВЕК

Суну голову в снег...
Всё равно — обожжёт.
Этот глупый, как сон,
и отчаянный век,
Что же может ещё?

Может дать золотых,
Иль украсть, словно тать,
И восславить до звёзд
дураков и хмельных,
Только счастья не дать.

Будет короток век,
Как у бабочки жизнь —
В равнодушие,
в цветах, где не нужно вовек
Ей всех прочих Отчизн!

Суну руку в костёр,
Всё равно — не согреть.
Жил на свете
Поэт,
Музыкант и Актёр...
Век им вылепил смерть.

Что ты можешь ещё?
Ни роптать, ни молить
Я не буду.

Мой голос
на плач обречён:
Что ты можешь ещё?
Что ты можешь ещё?..



Александр ГОЛУБЕВ

Воронеж



* * *

Лебяжий яр – откос сыпучий.
Реки уснувшей перекат.
Я вдаль смотрю – седой и скучный,
как будто в чём-то виноват.

А в чём – и сам ещё не знаю.
Душой озябшею скорбя,
как лютый грешник горько каюсь
и не могу казнить себя.

Судьбу, казак, не переспоришь.
Порвал – так заново не сшить.
Стою, как Мелехов Григорий,
и вроде некуда спешить.

Вода журчит на перекате,
былых надежд считая дни...
Мой тихий Дон,
мой добрый батя,
оборони!
Оборони...

* * *

За курганом седым, за отрогом,
у полоски плакучих ракушек
с тёмным верхом, осевшим порогом
одинокая хата стоит.

Что ей снится в вечернем безмолвии,
где вокруг ни кола, ни плетня,
да за ериком сполохи молний
жгут покой августовского дня?

Может быть, ей почудилась песня
из попевок «колоды-дуды»?
Или вновь сквозь полынную плесень
к ней спешат дорогие следы?

Подойдут торопливо к порогу
и заплачут слезами навзрыд.
За курганом седым, за отрогом
наша хата стоит,
наша хата стоит...

* * *

Летний полдень, серебряный ветер.
Под обрывом лозы шелестящая медь.
Я давно у поры золотой на примете:
«Не мешайте мне петь.
Не мешайте мне петь».

Я ходил, будто лошадь по кругу,
на степном чигире, задевая кугу.
Я искал на земле не богатство, а друга,
но до самых седин отыскать не могу.

И такая порой накрывает усталость,
будто пёстрога зяблика сеть.
Я прошу об одном –
посочувствуйте малость!
«Не мешайте мне петь.
Не мешайте мне петь».

ПЕЙЗАЖ С СОБАКОЙ

Я не жаждал последней встречи,
не томился весь день в тоске.
Но случилось,
что рядом плечи

и нелепо рука в руке.
Мы бредём над вечерним морем,
где седая клубится мгла.
Сбоку тёмный собор Егорья
вскинул ржавые купола.

Рядом с нами пятнистый сеттер,
молчаливый и умный пёс.
Он худое давно заметил
и косится на нас всерьёз.

Знаешь, сеттер, прощаться больно,
на загадки ответ не прост.
Пёс волнуется — недовольно
поджимает пушистый хвост.

Наша спутница в злом веселье
улыбается, вслух шутя:
«Слава Богу, что не успели
по ошибке купить дитя!»

Остальное всё легче, проще:
«Чао, милый, — маме привет!»
Юный сеттер, — мудрец мой тощий,
ты за кем ковыляешь след?..

* * *

Луговой дорогой
вдоль оврага.
Здравствуй, Русь,
лазоревый мой край!
Снова зорька
медовухой-брагой
хмельно
поливает иван-чай.
А над ним
смущённо, как любовник,
что изведал тайный миг
впервой,
огневой и заспанный
шиповник

кутается в листья
с головой.

* * *

Ты зачем спешишь, дорога,
в дальний край
логом, пыльным и пологим,
через молочай?
Я спешу судьбе навстречу
экий год.
К вишне
в платье подвенечном,
там, где поворот.
Где у речки
с тёмным руслом,
возле хат,
ранен был
солдат безусый
много лет назад.
Лесом, полем и поляной
всё бегу.
Может быть,
живым застапу,
может, помогу.



Глеб ГОРБОВСКИЙ

Санкт-Петербург



ЖИЗНЬ

Очнись... Возьми перо-бумагу,
взгляни с низин на небеса
и вспомни Бога, что из мрака
тебя извлёк, открыв глаза.

Твои глаза открыл, твой разум,
чтоб ты явленной красотой
обжётся ... но – не вспыхнул сразу,
а величал её святой.

Ты посетил мгновенья жизни,
что даровал тебе Господь.
... На ветке яблоком повисни
и упади, утратив плоть.

* * *

Тремя перстами карандаш
беру – отнюдь не для молитвы –
и в стих вхожу, как в Эрмитаж,
и Явь рисую без палитры.

А Явь сияет за окном
под кистью Бога-живописца.
И взгляд мой, замутнённый сном,
восторгом пенистым искрится!

У НАС

Где я в жизни только не был,
посещая шар земной,
а вчера опять на небо
возвернулся... В мир иной.

Что я видел на планете,
где страдают враг и друг,
обалдевшие – как дети,
приуставшие от мук?

Видел я святых и грешных,
однобоких и двойных...
Но у нас – в краю крошечном –
интересней, чем в иных.

ЗИМНИЕ ПТИЦЫ

На белых деревьях они, как плоды,
их гложет крещенский мороз...
Ни корочки хлебной, ни капли воды, –
лишь медной луны купорос.

Вороны, воробьишки, искры синиц,
алеют в снегу снегири...
Терпение наше, терпение птиц –
кристаллы и пузыри.

Едва подморозит – мы мечем и рвём,
холодной бежим новизны.
А зимние птицы на древе своём
и тверди, и небу – верны!

ЗВЁЗДНЫЙ ТАНЕЦ

Звезда танцевала в немеркнущем небе,
горланили зрители «би-и-сс»,
и не было звёздного танца нелепей,
когда она рухнула вниз...

Алмазы надежды, мечты бриллианты
сверкают на грязном полу...
Кремлёвские в сердце бормочут куранты,
добро улыбается злу.
Не хочется видеть, не можетя слушать,
к обрыву скользя бытия,
теряя — не тело, теряя не душу:
всего лишь изжитое «Я».

ЗЛЫДЕНЬ

За окном — стадион...
Он покрыт не травой,
а какою-то химией неживой.

На зелёном ковре —
нынче дождь, завтра снег
и каких-то букашек осмысленный бег.

Единит их не смех
и, тем паче, не плач,
а безмозглый, накаченный воздухом мяч.

Наблюдая игру
с высоты этажа,
я словесного им отсылаю ежа.

Пусть пинают не мяч,
а колючую тварь,
пусть целуется с ней —
двухметровый вратарь!

* * *

Свечение глаз, звучанье рта,
смешных ушей — насторожённость,
ноздрей всеядных — напряжённость...
Лица конструкция проста.
А что под ней? Как — подо льдом?
Река Души — неистоцима,
струящаяся жизни мимо,
чтоб стать бессмертною потом.

С годами — в трещинах морщин
лица тускнеет оболочка:
дохнёт зима — и нет цветочка.
Но для унынья нет причин:
звучала речь, работал слух,
глаза светились, нюх старался...
но главное — не растерялся,
превозмогая будни, дух!

* * *

Теперь я знаю, только и всего:
страшнее жизни нету ничего.
Её отведав, вдоволь отхлебнув,
я улыбнулся, губы не надув.
Она в свою вмещает колею
рождение моё и смерть мою.
То беспощадно грабит, как бандит,
то, походя, — любовью угостит.
По молодости — насулит чудес,
заставит верить в первенство небес.
А то наслёт болячек в телеса,
отравит золотом и ослепит глаза,
а душу сделает капризней...
Нет ничего страшнее жизни!
Но в каждый из её священных дней
я всё азартней думаю о ней!

* * *

На станции Разлука
мы встретились с Тобой.
В глазах Твоих не скука,
а смертной жизни бой!

Устало тело... Кожа
похожа на паркет.
И всё ж лицо — не рожка.
И я — всё тот же шкет.

А я — всё тот же шибздик,
что втрескался в Красу...

К Тебе – моей Отчизне –
любовь как крест несу.

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

Нет, не когда сходила благодать –
любое из отпущенных мгновений
остановить! – и долго наблюдать,
не убоясь фатальных откровений...
Не то мгновение, когда я на войне
стоял под вражьем дулом карабина,
или когда барахтался на дне
якутской речки, ухватясь за льдину...

Остановить хотел бы я тот миг,
когда, блуждая странником по свету,
я вдруг непостижимое постиг:
что Бог – во вне,
но что меня в Нём – нету.



Надежда ГОРЛОВА

Москва



* * *

«Мама, погляди!
Облако, похожее на Бога!
Выше, впереди».
«Да, похожее немного, –
Тем, что посылает влагу
Праведным – и нет,
Тем, кто всем дарует благо,
Тем, кто мстит в ответ,
Тем, кто молится, кто матерится,
Тем, кто плачет, тем, по чьей вине
Плачут.
Роженицам и убийцам,
И тебе, и мне».

АЛХИМИЯ

Как изворотливо врешь, извиваешься,
словно в огне,
Я же – сгораю, припёк твой,
мой грешник любимый,
Жена я – сбоку припёка,
не половина твоя, и мне –
Слезной солью в осадок,
Да прахом в остаток
Яко плоть двоих, неделимый.

Тебе вчера лишь оды посвящали,
 А нынче выгоняют со двора.
 Прощай, трамвай, не надо лишних слов.
 Ты в прошлое ушёл. Не на тебе ли
 Сквозь питерские чёрные метели
 Летел навстречу смерти Гумилёв?
 На рубеже изменчивых времён
 Не ты ли вызывал в сердцах стеснённых
 Церквей, большевиками разорённых,
 Из детства возвращённый перезвон?
 В блокадные лихие времена,
 Будя людей неугомонным звоном,
 Внушал ты горожанам истощённым, –
 Мы победим, и кончится война.
 Прощай, трамвай, тебе уж не звенеть
 По площадям и набережным старым.
 Тебя автобус не заменит впредь,
 Бензиновым чадающий перегаром.
 Забуду ли мальчишеских времён
 Былой азарт? По островам зелёным
 Ты двигался к футбольным стадионам,
 Обвешанный людьми со всех сторон.
 В далёкие студенческие дни
 Ты неизменно доставлял нас к цели,
 Через дожди, туманы и метели
 Светили разноцветные огни.
 Теперь к поре не возвратишься той,
 Когда во тьму мы вглядывались зорко,
 Где шла зеленоглазая «семёрка»
 И желтоглазый шёл «двадцать шестой».
 Прощай, трамвай, ты устарел давно.
 С тобою завтра встретимся едва ли.
 Те парки, где трамваи ночевали,
 Распроданы теперь под казино.
 Прощай, трамвай, скорее уезжай.
 Твой звон я не услышу спозаранку.
 Ты вытеснен сегодня за Гражданку,
 За Купчино, за Охту, за Можай.
 Прощай, трамвай, судьба твоя темна.
 Мы оба – уходящие натуры,
 Два персонажа той литературы,
 Которая сегодня не нужна.

МАЙАМИ

Если вас одолела усталость,
 И не ждать вам везения впредь,
 Приезжайте в Майами под старость,
 Чтобы кости на солнце погреть.
 Приезжайте скорее в Майами
 На остаток отпущенных дней,
 Где шагают деревья баньяно
 На извилистых ножках корней.
 Там напитки внутри и на вынос,
 Дышат влагой морской вечера,
 И крутые красотки латинос
 Будут вас улаживать до утра.
 Пусть ваш век ненадолго продлится,
 Чтобы видеть вокруг без помех
 Загорелые юные лица,
 Чьи-то песенки слышать и смех.
 И, любуясь сияющим летом,
 Под слабеющим греясь лучом,
 Вы поймёте, что счастье не в этом,
 И неясно, наверное, в чём.

ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА МУЖЧИНЫ

Рождённые под Зодиаком,
 По виду мы неразличимы.
 Фламандский мастер Ян Ван Даком –
 «Четыре возраста мужчины».
 И обликами, и повадкой,
 Как непохожи люди эти:
 Дитя с игрушечной лошадкой,
 Усатый юноша в берете,
 Который с лютней в Лету канет.
 Его сменяет в ходе цикла
 Мужчина с тёмными щеками,
 На глобус опустивший циркуль.
 И, в тьму грядущую уставясь,
 Заканчивает век короткий
 Худой седоволосый старец, –
 В руке – молитвенные чётки.

Весьма серьёзные причины
 Для грусти, овладевшей мною,
 Четыре возраста мужчины,
 Три из которых – за спиною.
 Я вглядываюсь в эти лица.
 На сердце боль и в мыслях робость:
 Давно и мне пора молиться,
 Забыв про лютню и про глобус.

* * *

И в наши годы, и в иные лета,
 Какая бы ни длилась полоса,
 Политика – не тема для поэта, –
 Слышны ему иные голоса.
 История спешит расставить точки.
 Торопятся империи на слом.
 Но гневные недолговечны строчки,
 Пропитанные горечью и злом.
 И не об этом пишутся поэмы,
 Отобразив жизни торжество.
 Лишь две на свете существуют темы:
 Любовь и Смерть, и больше ничего.
 И вечны, как Медина или Мекка,
 Сближая отдалённые края,
 Всё так же не смолкают век от века
 Серебряные трели соловья.
 Обрушатся великих храмов стены,
 И города обуглятся в огне.
 А эти две неубиенных темы
 Вернутся, как зелёнка по весне.
 Десяток лет или столетье минет.
 Утихнут страсти, и умолкнет бой.
 Любовь и Смерть, две вечных героини,
 Поэзию уводят за собой.

* * *

Тот церковно-славянский косный, –
 Битый палкою Третьяковский,
 Ломоносов или Капнист,
 Невозвратно теперь забытый,

Что писать не давал пииту,
 Понапрасну марая лист.
 Начиналось всё с перевода, –
 Год из года, год из года,
 Итальянский, немецкий, френч.
 Слава Вам, Василий Андреич,
 Слава Вам, Александр Сергеич,
 Что России открыли речь.
 Всё заёмное, – что ни троньте, –
 Шиллер, Байрон и Пиндемонти,
 И Вергилий, и Ювенал.
 И другие потом поэты
 За чужие брались сюжеты,
 Забывая оригинал.
 Перелётные пойте, музы.
 Съели рифмы свои французы,
 И любая иная масть.
 Но поэзии нет предела:
 Европейская захирела,
 А российская – началась.



Наталья ГРАНЦЕВА

Санкт-Петербург



* * *

Прекрасно пространство
в небесной пыли,
Материи тёмной полёт.
Ах, если б бесплотное видеть могли
Прозревшие камень и лёд.
Но вырвана с корнем из века душа —
Любовного зренья оплот.

В себе, как в трясине, погрязли юнцы,
А старцы витают в былом.
И жизнью повторной кипят мертвецы
За круглым хрустальным столом.
И времени дом без судьбы и лица
Уже предназначен на слом.

Его окружал удивительный сад,
Увитый цветами забор.
Над ним ястребиный пернатый отряд
Держал домотканый шатёр.
Но съели фундамент кислот пльвуны
И солнце ушло за бугор.

Вселился распад в плотоядную тьму,
И вещи дышать не хотят.
Не стоит прощаться схватившим суму,
Бегающим вперёд и назад,
Забывшим об органах чувств неземных,
Узнавшим, как мысли смердят.

Планета Нибиру пылает вдали,
Огонь нападает на лес.
Вползают на сушу моря, корабли
И небо нисходит с небес.
И зеркало духа стирает следы
Того, кто бесшумно исчез.

* * *

Я тоже в этом времени жила,
Любя его туманы и загадки.
Я тоже знала эти зеркала,
Их свет кривой и хитрые повадки.
Я не держу на будущее зла,
Да и с былым я не играю в прятки.

Кто жаждет мщенья веку, тот воздаст...
И далее по тексту. И однако
Корм не в коня, не по копытам наст,
Не по зубам поводья Зодиака.
Свинья не съест? Не выдаст?
Не предаст?
Гудят в крови эритроциты мрака.

Бульжником прикончи циферблат.
Календарю черкни по горлу бритвой.
Твой персональный безъязыкий ад —
Трансгенный ужас, выстраданный битвой.
А ненависти сладкий виноград —
Колодец вод, отравленных молитвой.

Вот, говорю, и выразился прах.
Вот, говорю, и высказались бездны.
Я тоже в этих сумрачных мирах
Жила-была, не ведая железных
Законов рока, стынущих в горах,
В долинах блага и ущельях тесных.

Распалась жизнь на тысячу частей.
Рассыпалось бесплодное цветенье.
И вот, забыв отверженных детей,
В пустыне века одинокой тенью
Стою в кругу рождений и смертей,
Закрыв глаза, как горькое растенье.

А к гранитному образу — городу,
и божеству,
Бестелесному идолу
в многоимённости дымной.
Отрицанье бессильно —
и пеплом посыпав главу,
Не дождёшься вражды,
не допросишься страсти взаимной.

Да не будет дано! —
заклинал, предрекал, ворожил,
Баш на баш предлагал
и судьбе заговаривал зубы,
Догорающий уголь в незримом костре
ворошил
И цариц проклинал,
помянув лохмотья Гекубы.

Да не будет дано! Да не будет дано...
Да не бу ... —
Словно мантру, затверживал сам себе
он на потребу.
Во вселили счастья дышал
в золотую трубу,
Но звучанья не слышал,
когда выдыхала: «Да небу...».

Только музыки странник, хранитель
бесчисленных рек,
Обезлюдевших пристаней,
пирсов и трапов скрипучих
Затуманивал взор,
провожающий баржу-ковчег
И рыдания сдерживал,
прячась в неузнанных тучах.

Только музыки странник и мог увидеть
с высоты
Немоту громогласную —
плен нерождённых инвенций,
И бессмертную славу,
и жалкую речь правоты,
И бездушную гибель вдали
от обеих Венеций...

Сергей ДРОЗДОВ

Санкт-Петербург



КАРЕЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Ах, лесочек, лесок,
Снеговой поясок
Или тропка затянута козья?
Ибо день ото дня
Едет пряжка ремня
И две линии чертят полозья.
Сколько вылизать ям,
Надо тем колеям
И скалу опоясать по кругу,
Чтобы двое саней,
Повстречавшись на ней,
Покивали степенно друг другу?

Чтобы зычное: «Тпру-у-у!»
Разнесла поутру
Основательная Калевала
И, презрев холода,
Бороде борода
Что-то важное повествовала.

Оторочки снежка
На бровях седока
У обочины — хвойная стража.
Он деревья валил,
Он лосося ловил
Исключительно в жанре пейзажа!

Станислав КУНЯЕВ

Москва



РЫЦАРЬ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

К 195-летию со дня рождения А.К. Толстого

Вспоминается довоенное время. Маленькая сельская больница, где работает мать. Вокруг больницы – ромашковые луга, клеверница, тёмные еловые леса, цветущие в ту весну алыми цветами. Старая санитарка бормочет, что это не к добру. По воскресеньям мы с матерью идём пешком к станции встречать отца – он приезжает навестить нас из города. Отец любит стихи и по дороге что-нибудь обязательно мне читает, а в последний свой приезд, за неделю до 22 июня, он научил меня маленькому стихотворению, которое с того дня я запомнил на всю жизнь:

*Край ты мой, родимый край,
Конский бег на воле,
В небе крик орлиных стай,
Волчий голос в поле!*

*Гой ты, родина моя!
Гой ты, бор дремучий!
Свист полночный соловья,
Ветер, степь да тучи!*

Стихи можно было петь или кричать на бегу, задыхаясь от ветра в ромашковом поле; крик орлиных стай в синем летнем небе, волчий голос и дремучий бор – вся эта стихия трепетала, колыхалась, оживала вокруг маленького белобрысого мальчика, вдруг почувствовавшего, что поэзия и явь едины.

Много позже я узнал, что стихотворение «Край ты мой, родимый край» написал Алексей Константинович Толстой.

В книге «Силуэты русских писателей» (1906 г.) известного в своё время критика Юлия Айхенвальда есть небольшое эссе о творчестве Алексея Толстого. Критик, отдавая



дань заслугам Толстого, тем не менее не скупится на упрёки. «Вялая проза и рассудочность», «маскарад национализма», «поверхностная стилизация», «дробность вдохновения»... Подобных высказываний в статье немало. В той или иной степени некоторые из этих изъянов были присущи перу Толстого. Более того, если взглянуть на него на фоне всей литературы XIX века, то ясным становится, что он не был «властителем дум», не стоял в ряду первых поэтов.

Но тем не менее лучшие его стихи стали хрестоматийными и вошли в золотой фонд русской поэзии, где почётно остаться не то что целым стихотворением, а строфой или даже строчкой. На стихи его малыми и великими русскими композиторами написаны десятки романсов – некоторые стихи имеют до восемнадцати

романсовых вариантов! В его исторических драмах, уже более семидесяти лет не сходящих с подмостков русских театров, играли самые замечательные актёры разных времён – от Станиславского до Смоктуновского. Его «Князь Серебряный» – это «Айвенго» отечественной прозы. Его «Козьма Прутков» из литературной шутки, из пустяка вдруг стал действующим лицом литературной и даже общественной жизни. Всё это объяснить гораздо труднее, чем сделать Алексею Константиновичу Толстому упрёки в «бутафорстве» и «вторичности». (Как будто не было у нас других мастеров театральной бутафории или других эталонов вторичности вроде Потапенко. Где они сейчас?) А. Толстой есть в каждой более или менее приличной домашней библиотеке. Только в советское время сочинения его были изданы на разных языках 47 раз общим тиражом более чем в 5 миллионов экземпляров.

Что же привлекает нас в Алексее Константиновиче Толстом? Что не позволяет забыть его? Ну, конечно, прежде всего талант. «Острою секирой ранена берёза», «Перо его местию дышит», «Державные уста змеилися улыбкой» – с такой свободной силой мог говорить только поэт большого дарования. А если вспомнить его хрестоматийные стихи? «Князь Михайло Репнин», «Василий Шибанов», «Шумит на дворе непогода», «Колокольчики мои...», «Не ветер, вея с высоты...», ну и, конечно, «Средь шумного бала...» и «То было раннею весной...». Его поэзия – ступень к познанию русской классики, она врата в её великое государство. Во вратах долго не задерживаются, но мимо них не пройти.

От наиболее значительных стихотворений Толстого веет каким-то особым духом жизнелюбия, душевной молодости, слиянности с природой, и это свойство его лирики будет привлекательно для любого времени. К тому же оно, это жизнелюбие, у поэта имело не литературное происхождение, а происходило из его образа жизни, из его склада души и пристрастий. В автобиографическом очерке Толстой пишет: «Между нашими записными охотниками я скоро приобрёл известную репутацию хорошего

охотника на медведей и лосей и всецело погрузился в стихию, которая столь же мало согласовалась с моими артистическими инстинктами, как и с условиями моей официальной жизни. Мне кажется, я обязан этой жизни охотника тем, что почти все мои стихотворенья писаны в мажорном тоне... Я думаю в старости рассказать многие захватывающие эпизоды из этой жизни в лесах, которую я вёл в мои лучшие годы».

Признание замечательное, и дело здесь не просто в охоте, хотя вроде бы речь идёт только о ней. Читая эти строки, я думаю о том, что великие просторы русской земли, разнообразие и богатство её природы, конечно же, имеют глубинную связь не только с темами и сюжетами, но и с самой сутью нашей литературы, с некоторой особой струёй вольной праздничности и душевного здоровья, почти что уже изжитых к середине XIX века в литературе западноевропейской.

*Винтовку сняв с гвоздя, я оставляю дом,
Иду меж озимей, чернеющей дорогой,
Смотрю на кучу скирд, на сломанный забор;
На пруд и мельницу, на дикий косогор,
На берег ручейка болотисто-отлогий
И в ближний лес вхожу...*

Вспоминается Пушкин с его «Осенью», тургеневские «Записки охотника», сцены охоты из «Войны и мира», многое из поэзии Некрасова и, конечно же, стихи Ивана Бунина... Словом, почти все наиболее здоровые страницы русской поэзии и прозы, утверждающие счастливую возможность слияния природы и человека. В эту мажорную книгу вписал несколько вечных строчек и Алексей Константинович Толстой.

Особенность Толстого-поэта в том, что на некоторую стилевую «вторичность» и «расхожесть» его лирики наложила печать самобытность его характера, его положение в русской литературе, подчёркнутая оригинальность литературно-общественной позиции. Блистательный вельможа XIX века, личный друг Александра II, он вдруг сразу же после коронации нового царя оставил военную службу, карьеру, государственную деятельность, чтобы отдаться любимому делу – служению искусству.

*Вошёл правитель Иоанн
В чертог Дамасского владыки:
«О, государь, внемли! Мой сан,
Величье, пышность, власть и сила —
Всё мне несносно, всё постыло.
Иным призванием влеком,
Я не могу народом править:
Простым рождён я быть певцом...»*

Это из поэмы «Иоанн Дамаскин»... В письме к царю с просьбой об отставке поэт пишет: «Служба и искусство несовместимы. Одно вредит другому...» Чуть ниже в

письме Толстой рассуждает о том, что у него остаётся возможность служить государю и отечеству по-своему: «Говорить во что бы то ни стало правду и это — единственная должность, возможная для меня и, к счастью, не требующая мундира». Вспоминается Пушкин с его камер-юнкерством, с гордой формулой «...истину царям с улыбкой говорить». Да и вообще нечто пушкинское по характеру, в своих масштабах, разумеется, есть в творчестве и жизни Алексея Константиновича Толстого. Прежде всего понятия о чести, независимости, сознание достоинства, к которому обязывает звание русский литератор. Недаром его любимые герои — князь Репнин, князь Серебряный, воевода Иван Петрович Шуйский — люди рыцарского склада, чести и слова. Они гибнут, но не предают своих убеждений, не расстаются со своими благородными представлениями о человеке. Донкихоты русской истории, плоды светлой фантазии графа Толстого!

Его, на мой взгляд, несправедливо порою называли писателем тенденциозным. Он не был таким. Одна тенденция, правда, была ему всегда близка: в литературе и жизни поэт всегда защищал и отстаивал гонимых и страдающих. Его тенденцией была человечность.

Он, не принимавший крайностей того движения, которое в 60-е годы называлось общим словом «нигилизм», после выхода в свет романа «Отцы и дети» пишет жене: «Если бы я встретился с Базаровым, я уверен, что мы стали бы друзьями, несмотря на то, что мы продолжали бы спорить». К этим словам надо вспомнить, что именно он, граф Толстой, заступался перед царём за Чернышевского, взгляды которого на политику и на искусство были чужды ему, что именно он сыграл, может быть, решающую роль в освобождении из ссылки Шевченко.

Истина, как он её понимал, была ему дороже дружбы, положения, кастовости. Близкими людьми были для Толстого московские славянофилы, в том числе И.С. Аксаков. Но всё же в письме к Стасюлевичу он считает необходимым заявить: «Хотя я враг всякой предвзятой мысли в искусстве, всякой тенденции, но мои убеждения высказывались невольно в «Царе Борисе», и я невольно заявил мою антипатию к русофобам, становящимся спиной к Европе». Алексей Толстой не был атеистом, но, признав за собою власть высшего начала — Искусства, писал царю, обвиняя русское духовенство и чиновничество в разрушении прекрасных древнерусских церквей: «На моих глазах, Ваше Величество, лет шесть тому назад снесли древнюю колокольню Страстного монастыря, она рухнула на мостовую, как поваленное дерево, так что не отломился ни один кирпич, настолько прочна была кладка, а на её месте соорудили новую псевдорусскую церковь... И все это бессмысленное и непоправимое варварство творится по всей России на глазах и с благословения губернаторов и высшего духовенства».

Вот каков он был в жизни, рыцарь-утопист, мысливший порою так реально и одновременно всегда вздыхавший о золотых временах домонгольской Руси, жизни, не искажённой якобы тогда тиранией и борьбой за власть. А разве в его настойчивом стремлении что-то объяснить самодержцу через головы чиновничье-бюрократической иерархии нет того чувства, которое Пушкину продиктовало «Стансы»?

*Семейным сходством будь же горд:
Во всём будь пращуру подобен:*

*Как он, неутомим и твёрд,
И памятью, как он, незлобен.*

Такие поучения тоже в традиции большой русской классической поэзии. Чехов сказал как-то приблизительно следующее: что Толстой надел театральный костюм, да так и позабыл его снять. Я думаю, что Антон Павлович был несправедлив. Толстой обладал врождённым чувством долга и чести, и в эпоху жестокой общественно-литературной борьбы он отстаивал свою, не абсолютную, конечно, во многом наивную, но благородную платформу.

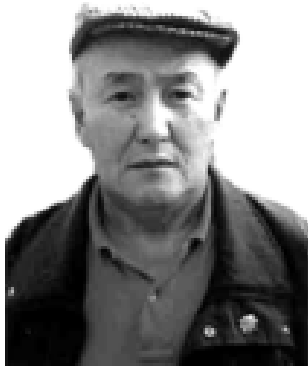
*Двух станов не боец, но только гость случайный,
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,
Но спор с обеими – досель мой жребий тайный,
И к клятве ни один не мог меня привлечь...*

Но нам Алексей Константинович Толстой близок и дорог прежде всего своей трепетной, полной любви к природе своей родины и её народу поэзией, своими историческими драмами, своей острой и яркой сатирой.



Баир ДУГАРОВ

Улан-Удэ, Бурятия



ЛЕБЕДЬ

Леди небес – моя белая Лебедь ...
 Лепет лесных лепестков
 собираю в элегию снов и легенды.
 Лезвие молний мои обжигает уста,
 обращённые к небу.
 Люстрой хрустальной росинок
 увенчаны травы на утреннем склоне.

Любо с высокой скалы мне пропеть
 сокровенные нежные гимны.
 Лютня из рук выпадает, и в бездну летит,
 чтоб об камни разбиться.
 Лебедь серебряным взмахом крыла
 её для меня возвращает.
 Лета стремится свои воды,
 и в каждой волне – лебединая песня.

АЗИЯ

Аз –
 на монгольском наречье «удача и
 счастье».
 Да, именно «счастье».
 Азия, лани твои торопили моё
 на земле появленье.
 Азбука вечных письмен, проступавших
 на пальмовых листьях и скалах.
 Азимут веры, искавшей в пустыне опору
 и храмы в душе воздвигавшей.

Алангуа, из сияния лунных лучей
 сотворявшая всадников грозных.
 Алою пылью клубились просторы,
 и лотос в уставшей пыли распускался.
 Айсберги гор
 вырастали из бездны песчинок,
 спрессованных жизнью и смертью.
 Азия – твой караван так велик,
 что отыщется след мой едва ли.

ЗИМНЯЯ ПРЕЛЮДИЯ

Януарий, сверкая алмазами
 царской короны,
 Ярлыки раздаёт на правленьё
 сибирским буранам.
 Янычары зимы –
 в серебристых доспехах морозы,
 Ятаган полумесяца
 в небе сияет хрустальном.
 Ягель сизых дымков
 над землёй расстилают рассветы.
 Ягуаровым мехом огней
 отливают закаты.
 Як угрюмо пасётся
 на северном склоне планеты,
 Яко мамонт оживший,
 такой же большой и мохнатый.
 Ясноглазая нимфа приходит
 в мои сновиденья,
 Ясень сагой листвы
 навевает раздумья и нежность.
 Янтарём золотятся
 плывущие в полночь мгновенья.
 Ян и инь осеняют парисовым яблоком
 вечность.
 Я лелею для нимфы поэму,
 рождённую снегом.
 Янус будит в струне моей
 звук кипарисовой лиры.
 Ясаком поднебесных снегов
 обложивший полмира,
 Януарий трясёт за окном
 горностаевым мехом.

Валерий ДУДАРЕВ

Москва

**ПОЭТЫ**

Вот эта девочка – Ахматова.
Из темноты.
Из глубины.
Начало века,

и полпятого,
И все мосты разведены.

Она.
Она – тут нет сомнения!
Так и пророчили волхвы:
То одиночество весеннее,
И повороты головы,
Вот чётки – чётче,
крепче локоны,
Крупны браслеты на руке.
А тень аптеки – чары блоковы
И душный спуск к Неве-реке.

Предупреждала ведь – не сбудется
Повторный в мир её приход.
Не верь!
Смотри,
где гаснет улица,
Она идёт!
Вот дом,
где муж хлестал узорчатым,
Навечно сложенным ремнём...

Бродяги,
пьяницы ли,
зодчие,
За ней пойдём!

Среди заборов у обочины
И сволочья
Мы будем жить.
Мы напророчены!
А жизнь – ничья.

О ЛЮБВИ*Юлии Гиацинтовой*

Покажется –
беды и ливни прошли.
Настанет прекрасное утро.
И ты насовсем –
оторвись от земли!
Как просто!
Как лихо!
Как будто!

Кассирша о планах начнёт узнавать –
Про пункт назначения который.
На жёсткий
плацкарт поменяешь кровать –
На поезд сомнительно скорый.

Вот тут и забудешь, что было всегда –
И давеча или намерени.
Вот так и пройдёт вместе с ливнем
беда
И день замечательно летний.

Где скорый ночной обернулся судьбой–
Поверь незабудкам и чуду!
Я буду с тобой.
Я не буду с тобой.
Я буду с тобой.
Я не буду...

ВОЗЛЕ ЦЕРКВИ

Памяти Андрея Вознесенского

Не обновить холста!
 Не повторить эскиза!
 Пробилась через век скрижалей
 пустота.

Спасает лишь одно:
 в России Мона Лиза
 Тебя подстережёт у всякого куста.
 Ни заговор-травой,
 ни музыкой вселенской
 Уже не исцелит погибшая верста,
 Где тишина жива
 ночной и вознесенской
 Загадкой бытия
 Голгофского Креста.

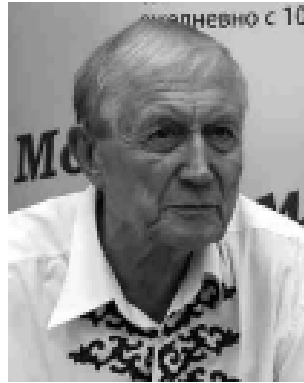
Как колокол упрямы –
 стремительно и голо –
 Чей голос дозвучать стремится до креста,
 Где первая звезда,
 где Лермонтов и Гойя,

А утром
 до дождя
 покой и высота.



Евгений ЕВТУШЕНКО

Москва



* * *

Вспоминая счастья и расплаты все
 после стольких пережитых лет,
 что же предстоит ещё –
 расплакаться
 или улыбнуться напослед?

Разве было кем-нибудь доказано:
 жизнь – она страшна или хороша?
 И была ли до конца досказана
 хоть одна ушедшая душа?

ВСЁ БЫЛО ПО ПРИКАЗУ

*Алексею Пивоварову –
 замечательному кинодокументалисту,
 с болью рассказавшему в своих фильмах
 о Великой Отечественной,
 о тех окружённых солдатах и офицерах,
 кого иногда называли «предателями»
 и, когда они были вынуждены отступать
 без боеприпасов, а иногда и без оружия,
 их беспощадно расстреливали заградотряды.*

Предатель, не предавший никого,
 он знал – солдатам было какво.
 Всё было по приказу. Пуля в лоб,
 когда он отступал и пал в сугроб,
 и сам свои кишки в сугробе сгрёб,
 и всё-таки пошёл вперёд, качаясь,

от собственного выхрипа отчаясь:
 «Я не преда...», — и с кровью —
 «Я не пре...», —
 чуть хрунуло под Ржевом в декабре
 и очередью горло перере...
 Не надо слов о зле или добре...
 И вообще не надо больше слов.
 И упаси Господь от этих снов.

ЦИРК НА КЛАДБИЩЕ

Там, где Чёрная Речка
 впадает в лагерь «Вторая речка»,
 тело Осипа Мандельштама
 не скажет уже ни словечка.
 Он теперь не попробует снова
 душистого «Асти
 Спуманте»,
 говоривший про жизнь и про смерть
 с Хо Ши Мином,
 Сталиным,
 Данте.

А воронежский цирк,
 словно кремовый торт,
 будто он из кондитерской Сталина спёрт,
 был решеньем обкомовским нелюдским
 здесь воздвигнут над кладбищем городским,
 И, смахнув и кресты, и надгробья
 при помощи разных махин,
 парк разбили
 поверх оскорблённых могил.
 Говорят, что под клумбой могила одна,
 до сих пор безымянных убитых полна—
 им в затылках оставили пули
 только дырочки-крохотули.
 Под цветами здесь яма.
 В ней — душа Мандельштама,
 и цветами восходит она.
 А ночами бессонница мучает цирк,
 и взвывается визг обезьян,
 лошадиный разносится фырк,
 и затравленно мечется какаду,

как в аду,
 и рычат,
 трюковать не желая на кладбище,
 львы,
 слыша стоны покойников из-под травы.
 Неужели,
 забыв свою гордость и честь,
 цирк на кладбище — это Россия и есть?

ВОЗДУХ СВАДЬБЫ

Ах, Англия, приёмная мать герценовская,
 гляди, как осенённая крестом,
 сияет пара кембриджская герцогская,
 возможно, королевская потом.

В аббатстве так надушенном
 Вестминстерском
 и лорды даже чуть навеселе,
 и головы всем кружит весть всемирная
 о самой главной свадьбе на земле.

Завидуем — как англосаксы сдержаны!
 Где грубости? Где крик «лей—не жалей!»?
 Во сне выходят на Руси все девушки
 за будущих английских королей.

И где-то — в Оклахоме ли, Дижоне ли —
 утешат разве девичьи сердца
 десятки тысяч копий, так дешёвеньких,
 для них недостижимого кольца?

И вовсе не считается провинностью,
 что, словно символ редкостных минут,
 торговцы где-то в аглицкой провинции
 в бутылках воздух свадьбы продают.

Я вспоминаю свадьбы сорок первого,
 как я плясал для плачущих невест,
 а смерть уже глядела, как соперница,
 на их забритых женихов отъезд.

Хочу вкатиться в моё детство кубарем,
чтоб в нём воскресла вся моя родня,
и мы бутылку горькую откупорим
с тем воздухом, что вырастил меня.

ГОЛОС ОТЦОВСКИЙ

Голос отцовский,
читающий на ночь Гомера по-гречески,
и колокольцы в Рязани, —
как это всё так по-русски

и по-человечески,
будто из сказки
грибы с глазами.

Это не страшно,
когда мы лишь нежные грешники,
а вот когда подлецы,
то подыщут для нас наказание

Кто?

Да и голос отцовский,
читающий на ночь Гомера по-гречески
и колокольцы Рязани.

Детушек ваших кормите
и кашею гречневой,
и воспитуйте стихами,
спасительными, как образами,

голос отцовский,
читающий на ночь Гомера по-
гречески,
и колокольцы Рязани.

Наша Россия опомнится
и потихоньку подлечится,
будет достойна свободы

и новых сказаний,
лишь продержись, русский голос,
читающий детям Гомера по-гречески,
и продержитесь и вы,
колокольцы Рязани!

НЕДОПРОЧТЁННОСТЬ

От страха мыслить, просто лени,
Недопрочтя веков дневник,
мы совершаем преступленье
недопрочтённостию книг.

Недопрочтённость чьих-то судеб
в не трогающем нас былом
нас беспощадно после судит,
и наказание — поделом.

Полупропущенные главы,
где чьи-то слёзы, чья-то кровь,
отмстят бесславьем вместо славы
и кровь и слёзы будут вновь.

Что, впрочем, блеск сокровищ книжных,
когда сотрут лицо с лица
недопрочтённость самых ближних,
с недопрочтённостью Творца.

К себе самим жестокосерды,
в душе всё лучшее губя,
мы — легкомысленные жертвы,
недопрочтённости себя.

ТОСКАНСКИЕ ХОЛМЫ

Меня, конечно, радостью покачивало,
когда в какой-то очень давний год,
я получал в Тоскане
премию Бокаччио,
но ощутил —
вина меня гнетёт.

Не проступили на руках ожоги,
но понимал я, что беру чужое,
Я сбился вдруг.

Меня все подождали,
и я заговорил о Мандельштаме.

Ведь нечто видел он поверх голов,
нас, ещё агнцев,
на плечах таская,
«от молодых воронежских холмов
к всечеловеческим,
яснеющим в Тоскане».

И на такой ли все мы высоте,
проигрывая с бескультурьем войны,
и получаем премии все те,
которых лишь погибшие достойны?

* * *

Простить ли неразумную толпу,
когда она, в раздумье не помедлив,
к позорному лишь для себя столбу
учёных волокла или поэтов?

Что толку после в покаяньях лбом
в пол биться?

Запоздалая сумятица.
Позорный столб становится столбом
истории...

Когда она спохватится.



Анастасия ЕРМАКОВА

Москва



* * *

Девочка с дерзкой чёлкой.
Кормят в детдоме негусто...
Спросишь – припёрлась-то чё?
Сжать бы тебя до хруста,
Наобещать с три короба,
Дескать, возьму домой,
Будешь там жить со мной.
Скоро. Конечно, скоро.
Но – промолчу. Что толку?
Врать о несбыточном ей,
Девочке с дерзкой чёлкой,
Дочери – не моей.

* * *

А новый век не требует геройства, –
встань в мирный хоровод текущих дней.
Легко найти причину для расстройства,
для радости – куда трудней.

Она всегда приходит ненароком,
прибившись незаметно к пустяку.
И – радуешься воробьиным крохам,
а не большому, сытному куску.

И средь житейских мытарств и забот
её всё ищешь тяжко и несмело,

и невдомёк, что ты, который год
на самом деле неразлучен с нею.

* * *

Танцуют руки неустанно —
беседа двух глухонемых.
Им речь понятна и проста,
но встали пред загадкой мы.
И сколько свой словесный сор
не выметай из будней душных,
нет, не понять их разговор,
не стать немым и простодушным.
Так беззащитно и по-рыбьи
в любви вовек не объясниться,
слова вскрывая, как нарыв,
и задержав слезу в ресницах.
Молчанием врачую рот.
От гнета слов освободиться
мне трудно. Трудно — слово жжёт,
готовое вот-вот родиться.

* * *

Я день будто бочку пустую качу.
В ней время о стенки колотится
гудко...
Я в ржавую темень кричу и кричу
О том, как живу: и прекрасно, и глупо.

Крик, может, ответный
плеснётся на дне?
А нет — и не надо, не нужен он мне.
Упрямо качу я бесценную бочку
Бесцельным путём по цветущей
обочине.

* * *

Не удержать июль за тонкую травину,
обрежешь руки — только и всего.
Так отпусти же странствовать его
по этим нежным тропам муравьиным,

по бабочкиным бархатным путям
вслед дождевым

душистым свежим стрелам, —
чем он растает в воздухе быстрее,
тем будет незабвенней для тебя.

* * *

Хорошо, что нельзя вернуть,
хорошо, что не удержать.
Отправляясь в далёкий путь,
легче просто руки разжать,
чем вцепиться отчаянно в то,
что твоим никогда не бывало,
а лишь только тебя оведало
и несло, как отцветший листок.
Что ж ты медлишь? Попробуй, давай —
отпусти, пока не приросло.
А потом уплывай, уплывай,
Как от брошенной лодки весло.

* * *

Апрель. Я сижу у окна сонной клушей
и тексты чужие листаю, листаю...
Вот с деревом взять и махнуть
местами,
и ветер ветвями ожившими слушать.

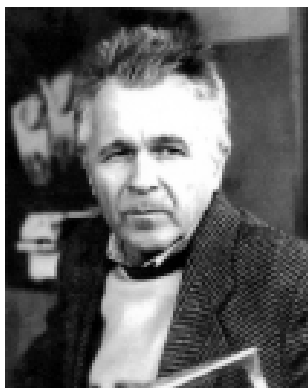
Сердитой вороной сидеть на суку,
и зырять окрест своим круглым глазком,
и сцапать одним дальновидным броском
всё то, что случится на нашем веку.

Весь день я сижу, размышляя о главном,
остывший чаёк попиваю, ленясь,
и с деревом этим, вороной забавной
всё крепнет во мне мимолётная связь.



Александр ЗАЙЦЕВ

Санкт-Петербург

**САД**

Сад замер, погрузившись в тьму.
 Взгляд обратил свой к поднебесью.
 Сегодня хочется ему
 Тихонько спеть свою же песню.
 В покой листва погружена,
 По ней бежит багрянец ранний...
 И обновлённая луна
 Пустилась в путь безмерно дальний.
 И луг на славу отзвенел...
 И Млечный Путь стекает с крыши...
 И сад как будто постарел,
 И песни собственной не слышит.
 Но слух упрямо достаёт:
 Медведь прилёт у старой пасеки...
 И август ласковый идёт,
 Слегка надкусывая яблоки.

ЛИСТ

Школа среди лип музыкальная.
 Льётся из форточки Лист.
 Словно улыбка прощальная
 Падает с дерева лист.

Смотрит он взглядом расколотым
 В солнечный день, как во мгле.
 Щедрым наполнится золотом,
 И ... растворится в земле?

Призрачно музыка стелется,
 Тщетно желая помочь.
 В солнце поверив, – не верится
 В долгую, долгую ночь.

И переходит в парение
 Жизни земной благодать.
 Тайны в осеннем падении
 Вряд ли кому-то понять.

Мечется, как обещание,
 Форточки жгучий проём.
 В музыке смех и рыдание:
 Всё про меня, и – о нём.

СНЕГИРЬ

Ища в предгрозе тишины и крова,
 Спешили птицы спрятаться в лесок.
 В тот хмурый час – голодный,
бестолковый,
 Попал снегирь в расставленный силок.

Ходили верхом всплески ветровые,
 Всё пропиталось запахом грибным,
 И мякиш хлеба ситного впервые
 Лежал изменой чёрной перед ним...

Потом он слышал птиц весёлых пенье
 И видел, как тихонько отцвела
 И в старый пруд зелёный за деревней
 Капелью звонкой радуга стекла.

По-над рекой торжествовали ели,
 За луг весёлый пятилась гроза...
 И видела ольха, как тяжелели
 У снегиря раскосые глаза.



Максим ЗАМШЕВ

Москва



* * *

Обычный вечер в Северной Европе,
Ничем не лучше и не хуже прочих
Таких же вечеров в других местах.

А где друзья? Один застрял в Марокко,
Глокает виски, голову мороча
Одной гламурной дамочке в летах.

Другой грустит в Баварии и ропщет
На то, что пиво кислое, торопит
Официанта, и в его глазах

Нет, не тоска, а напряжение крови,
И взгляд его от этого суровей,
И седина заметней на висках.

Обычный вечер. В баре две девицы
Несимпатичных доедают пиццу,
И запивают розовым вином.

Жаль, некому за ними волочиться,
Здесь не расслышать, как поёт волчица
И горло прочищает перед сном.

Ну как бы мне увидеть колесницу,
Которая сейчас кому-то снится,
Как убежать от скуки за окном!

Пойму того, кто сможет застрелиться,
Под вечер, у аптеки, в девять тридцать,
Покончив этим навсегда со злом.

Обычный вечер, все закрыты двери,
И дремлют обыватели, как звери
В своих благоустроенных углах.

Приобретенья хуже, чем потери,
Особенно, когда тебе не верят,
И мстят тебе за каждый новый взмах

Руки, ресниц, и в бешенстве истерик
Не открывают никаких Америк, —
Одна, и та во всех рождает страх.

Обычный вечер в северной Европе
Набрал такую сумму мизантропий,
Что впору перейти на устный счёт.

Девицы пережёвывают пиццу
Усердно, как сотрудницы полиций,
И, видимо вот-вот попросят счёт.

И я допью тягучий Ванно Таллинн,
Предположу, что мой удел фатален,
И выйду в ночь, где фонарей разлив.

И небо будет цвета спелых слив.

* * *

В каких я только не был городах,
Везде один и тот же супермаркет,
В котором продают мой прежний страх, —
Он стал другим, полезным и не марким,
Незаменимым, я не узнаю
Его, он переполнен новым шармом,
Особенно теперь, когда в строю
Одном идут солдаты разных армий.
Я думаю, что ворон прилетал
Не для того, чтоб чью-то смерть
проверить.

Ему ль не понимать в его лета:
 Ещё глупей отрезать, чем отмерить.
 Скорей всего, он что-то потерял,
 Забыл, оставил, чтоб вернуться первым,
 И в этом он бесценный матерьял
 Для тех, кто жить не может без
 гипербол.

А если каждый человек Сизиф,
 И дни его сгорают словно свечи,
 То ворон – это миф, а всякий миф,
 На то и миф, что должен быть
 развенчан.

Я задаю себе один вопрос,
 И задаю его без сожаленья:
 На страх мой в мире вырастает спрос
 Не потому ль, что я боюсь забвенья?
 С недавних пор грядущее моё,
 Как сахар в кипятке, бесстрашно тает,
 И высыхает облаков бельё, –
 Нам вместе не летать, но все мы стая.
 Никто не ставит подпись под чертой,
 Охотничьих никто не чистит ружей.
 И жизнь со всей своей неправотой
 Из всех моих щелей ползёт наружу.

* * *

Сколько можно не спать?
 Сколько можно придумывать страсти
 О больших кораблях,
 что плывут без руля и ветрил?
 Что-то давит в груди.
 Видно, там раскололось на части
 То волшебное блюдо,
 откуда я молодость пил.

От болезни такой
 ни один эскулап не излечит,
 Не придуман рецепт,
 чтоб рассеять сердечную тьму.
 Сколько можно не спать?
 Сколько можно настраивать речи

На неведомый лад,
 что понятен тебе одному?

Расскажи лучше всем про парад,
 где горластые трубы
 Надрывались о том,
 что в империи зреет беда,
 И как ветер упрямо ворочал
 афишные тумбы,
 Собираясь прошедшую жизнь
 отменить навсегда.

Сколько можно не спать,
 фонарей принимая желтуху
 За последнюю милость
 последних написанных глав,
 Сколько можно часы прижимать
 настороженно к уху,
 Ожидая, что время рассудит
 кто прав и не прав.

Пусть одно и осталось в тебе –
 это кровь удалая...
 Ты смотрел в темноту –
 и до первого солнца ослеп.
 Сколько можно бояться зеркал,
 отражений и лая
 Одичавших собак,
 что луну принимают за хлеб.

Если в слове любовь пропустили
 вторую кавычку,
 Значит, жизнь, драгоценная жизнь
 сократилась на треть.
 А рассвет, опоздав, подтверждает
 дурную привычку –
 Разгораться, когда невозможно
 его рассмотреть.



Николай ЗИНОВЬЕВ

Кореновск, Краснодарский край



* * *

Спустился тихий вечер летний,
И только там лишь плеск волны,
Где загорелые, как негры,
Таскают бредень пацаны.
А вон тот луг, где сено косим.
Вон балка, где коров пасём.
... Прозрачным крылышком стрекозым
Печать бессмертия на всём.

ЛЮБОВЬ ЗЕМЛИ

Она всех любит без разбора,
То право свыше ей дано.
Святого старца или вора
Ей принесут – ей всё равно.

Из трав и снега её платья,
И нрав её, отнюдь, не злой,
Но кто попал в её объятья,
Тот сам становится землёй.

И вновь свободна, вновь невеста
Она, покорна и тиха,
И новое готово место
Для жениха.

* * *

Что я тебя всё грустью раню?
И помыкаю, как рабой?
Давай, душа, растопим баню
И всласть попаримся с тобой.

А после сходим к деду Ване,
Пусть он развеет нашу грусть.
Игрой на стареньком баяне,
Пускай порадуетя Русь.

Услышав чистое, родное,
Узнав знакомые черты,
Как будто платье выходное,
Моя душа, наденешь ты.

В ПРЕДЕЛАХ МИЛОСЕРДИЯ

Ты помоги нам, Матерь Божия,
Найти свой путь среди бездорожия.
А те, кто застыт нам наш путь,
О них Ты тоже не забудь;

За их недоброе усердие
Сбить нас с пути, свести с ума
Придумай что-нибудь Сама
В пределах милосердия.

* * *

Прохожу. На калитке одной
Надпись краскою «Злая собака».
И действительно: взгляд ледяной,
Холка волчья и зубы. Однако

Отворяет калитку малыш, –
Года три ему, может, чуть больше,
И верхом на собаку! О, Боже!

Мальчик, будто на кротком осле,
На цепном кобеле восседает.

Ничего он не знает о Зле,
И собака его не кусает.

* * *

Стихи должны быть с тайным смыслом,
Чтоб строчка каждая в них жгла,
И чтобы баба с коромыслом
К колодцу с песней тихо шла.

И чтоб в них не было печали,
И чтоб печалили до слёз,
И чтоб стояли за плечами
И смерть сама, и сам Христос.

Чтоб в них и плакалось и пелось,
И чтоб шумела в них листва,
И чтоб была в них неумелость
Та, что превыше мастерства.



Людмила ЗЛАЧЕВСКАЯ

Беэр-Шева, Израиль



* * *

Белое солнце растаяло просто.
Может быть, август почудился остро?
«Аргус»* среди сада – тонущий август.
Может, над августом выставлю парус?
Может, из яблока сделаю лодку?
Скатится в море взмахом коротким.
В осень уходим на яблоке лета,
Падают яблоки красного цвета.

* «Аргус» – название корабля.

ОТ ВАЛААМА ДО ГАЛИЛЕИ

Поток лучей, бросая тень,
янтарно светится,
уходит лес в недолгий день
неровной лестницей.
В озёрной глади Валаам
всплывает глыбами,
и гулко катится: «Воздам!»,
и плещет рыбами.
И всё заметней переход,
где лодка с вёслами,
где рыбарей солёный пот
над бортом стёсанным.

И полнит буря тяжесть вод
и ветры встречные,
и Он один в волнах идёт
дорогой – вечною.

Геннадий КРАСНИКОВ

Москва



ПИСЬМО К ЧЕЛОВЕКУ

К 120-летию М.И. Цветаевой

*Россия моя, Россия,
Зачем так ярко горишь?..
М. Цветаева*

Уравновешенное пушкинское «Пока не требует поэта // К священной жертве Аполлон» категорически не вписывается в темперамент Марины Цветаевой. Это она беспрестанно теребила Аполлона, чтобы тот недреманно призывал к звучанию её «святую лиру». Попробовал бы он отлынивать от своих законных обязанностей! Его бы тут же отучили от языческой богемности и праздности. Может быть, именно потому Цветаеву от пушкинского Поэта отличает то, что она никогда «в заботах суетного света» ни «малодушно», ни «простодушно» не была «погружена». О чём поэтесса в разное время и в разных вариантах высказывалась с предельной ясностью: «Я не люблю жизни как таковой, для меня она начинает значить, т.е. обретать смысл и вес — только преображённая, т.е. — в искусстве». И только сквозь жёсткую оптику этих признаний следует рассматривать жизнь, творчество, судьбу Марины Цветаевой.

При этом особо необходимо иметь в виду, что через её судьбу, пожалуй, впервые в нашей культуре так нараспашку открыто и мощно явлена сокровенная суть русской души.

Явление самой Цветаевой есть прямое утверждение и доказательство, что мы по природе своей нация литературная, нация слова. У нас высказывание, слово — вовсе не следствие или ответная реакция на событие, а причина. Причина причин. «В начале было Слово» — как-то это уж очень по-русски, понятно для нашего разума, сладостно для нашего сердца! Мы постоянно творим миф (лингвисты бы сказали: вербальный), который не обязательно станет реальным миром, воплотится в реальное дело. У Цветаевой это гипертрофировано до такой степени, что слово, а вернее словопроизношение, фактически стало для неё своеобразной функцией (как сама она, кстати, определяла

столь специфическим термином музыкальное сочинительство Сергея Прокофьева).

Цветаева писала бы и на необитаемом острове, и на Марсе, и в тюрьме, и в монастырской келье. Когда она говорит: «Если бы меня взяли за океан – в рай – и запретили писать, я бы отказалась и от океана и от рая», то в её признании нет ни малейшей игры. Знаменитое утверждение «Слово есть дело» в цветаевской и русской судьбе развёрнуто в непостижимую для западных и прочих рациональных цивилизаций сторону, где «дело есть слово». Отсюда вся наша (общая с Цветаевой!) самобытность и загадочность, отсюда и все наши проблемы и печали.

Писать стихи Цветаева, разумеется, начала очень рано. В шесть лет. Иначе и быть не могло. В своё время Андрей Белый глубже других почувствовал близкую ему самому певчую природу поэтессы: «А вы, вы – птица! Вы поёте!» И совершенно удивительным образом объясняется этот ранний дар, когда уже семнадцатилетняя Марина выпустит свою первую книгу стихов «Вечерний альбом»: «Издала я её, – напишет она позднее, – по причинам литературе посторонним, поэзии же родственным, – взамен письма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе». В этих словах на всю жизнь выразилась сверхзадача её творчества, которое до последних дней было ничем иным как «письмом к человеку». Но, к сожалению, для женской судьбы Цветаевой – письмом со сбывшимся продолжением фразы о человеке, «с которым была лишена возможности сноситься иначе». Так что, уже начиная с «Вечернего альбома», куда вошли стихи «15-ти, 16-ти и 17-ти лет», она интуитивно прорывается пока ещё из романтического, воображаемого одиночества, которое с годами станет, вне сомнений, самой горькой темой её жизни и творчества. Так возникает лирическое предчувствие письма к «идушим мимо»:

*Вы, идущие мимо меня
К не моим и сомнительным чарам, –
Если б знали вы, сколько огня,
Сколько жизни растрачено даром,*

*И какой героический пыл
На случайную тень и на шорох...
И как сердце мне испепелил
Этот даром истраченный порох...*

Интересно, что уже в рецензии на первую книгу М. Цветаевой обожаемый ею Валерий Брюсов, признанный мастер и мэтр, писал «о полном овладении формой», а после выхода второй книги (1912 г.) и о «чрезмерной, губительной лёгкости» её поэзии. М. Волошин, обращаясь к «Вечернему альбому», замечал, что «автор владеет не только стихом, но и чёткой внешностью внутреннего наблюдения, импрессионистической способностью закреплять текущий миг». В этом как раз и проявилась одна из характернейших и оригинальных черт поэзии Цветаевой. В её стихах абсолютно отсутствует эволюция. Она сразу начала писать как мастер, без разбега. У неё практически не было грубых

провалов в ранних стихах, и уж тем более в поздних. К ней в полной мере подходит её собственная характеристика, данная по другому случаю: «Борис Пастернак – поэт без развития. Он сразу начал с самого себя и никогда этому не изменял». Тут она по-своему намечает два типа поэтов вообще. Так, Пушкин, по её мнению, всю жизнь был в «становлении», а «Лермонтов сразу – был». Следуя такой логике, мы могли бы отнести и Цветаеву к лермонтовскому типу. Правда, с некоторыми оговорками.



Во-первых, Лермонтов «сразу – был» потому что «становление» за него во многом взял на себя Пушкин, проложив пути в языке, в эстетических поисках, в разработке литературных тем. Но и Лермонтов развивался гигантскими темпами. Достаточно вспомнить написанные им незадолго до гибели шедевры, о которых В. Розанов сказал, что «отняв только написанное за шесть месяцев рокового 1841 года, мы уже не имели бы Лермонтова в том объёме и значительности, как имеем его теперь».

Во-вторых (и это главное!), в отличие от Лермонтова, как, впрочем, и от других русских поэтов, Цветаева поэт скорее фантомного типа. Она весьма и весьма относительно связана со своим временем. Связи с эпохой и современностью у неё присутствуют лишь в той мере, в какой необходимо, скажем, каждому иметь отметку в паспорте о годе и месте рождения. Не более. С тем же успехом её могло занести и в 19-й и в 21-й век, и в просвещённые времена Екатерины. И везде она была бы на месте, везде оставалась бы тою же Цветаевой – рядом ли с президентом Российской академии княгиней Екатериной Дашковой, или в одном кругу с кавалерист-девицей Надеждой Дуровой, или в Боровском заточении вместе с боярыней Морозовой. Из любого времени, из любого российского уголка прозвучало бы всё то же, сугубо цветаевское, над-временное:

*Идѣшь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опустила – тоже!
Прохожий, остановись!*

*Прочти – слепоты куриной
И маков набрав букет,
Что звали меня Мариной,
И сколько мне было лет...*

Вот пример «письма к человеку» – всех, любых времён. Это вам не «восемнадцать жасминовых лет» Ирины Одоевцевой – прелестной, живущей сейчас, исключительно в

данное мгновение, как яркая весенняя бабочка. Цветаева берёт не какой-то конкретный век, год, день, а сразу в с её время, ей принадлежат чувства и переживания всех эпох:

*Уж сколько их упало в эту бездну,
Развёрстую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.*

*Застынет всё, что пело и боролось,
Сияло и рвалось:
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.*

*И будет жизнь с её насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет всё – как будто бы под небом
И не было меня!*

Это не значит, что XX век её не коснулся, не задел, не оставил на ней своих шрамов. Так же, как не значит, что и она не оставила отпечатков собственных следов на поверхности доставшейся ей эпохи (хоть и верила: «Время! Я тебя миную...»). Ну, тут уж, как говорится, взаимность была вынужденная. Рада бы курица на свадьбу не идти, да повар за крыло тащит!

Скажут, а разве не Цветаева написала белогвардейский цикл «Лебединый стан» с крамольным подзаголовком «белые стихи»? Да, ответим мы, написала, ибо верила, не сомневалась, что возлюбленный её муж – белогвардеец. Любила бы красногвардейца – появились бы очень даже «красные» стихи (написала же о Маяковском!). Вообще, любовь – ключ почти к каждой её строке («Мне, чтобы о человеке сказать, нужно его любить пуще всего»). А потому весь вопрос в том, как и что написано. Ведь те же стихи сложила бы она о любой гражданской войне:

*...Все рядком лежат –
Не развесть межой.
Поглядеть: солдат.
Где свой, где чужой?*

*Белый был – красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был – белым стал:
Смерть побелила.*

Да, она написала беспощадно-иронические злые стихи «Хвала богатым» (вынеся ещё из детства бесспорную истину о том, что «сознание неправды денег в русской душе невытравимо»). Но так же точно она и на костре инквизиции «упорствовала» бы в своей «любви» – ненависти к сытой черни:

*...За их корень, гнилой и шаткий,
С колыбели растящий рану,
За растерянную повадку
Из кармана и вновь к карману.
За тишайшую просьбу уст их,
Исполняемую как окрик.
И за то, что их в рай не впускают,
И за то, что в глаза не смотрят...*

Да, она нарисовала замечательный современный сатирический портрет в стихотворении «Читатели газет». Но разве и более чем через полвека не узнаем мы мерзость сегодняшнего дня и себя самих в этой картинке с «парижской» натуры 1935 года? –

*...Кто – чтец? Старик? Атлет?
Солдат? – Ни черт, ни лиц,
Ни лет. Скелет – раз нет
Лица: газетный лист!
Которым – весь Париж
С лба до пула одет.
Брось, девушка!
Родишь –
Читателя газет...*

*...Кто наших сыновей
Гноит во цвете лет?
Смесители кровей,
Писатели газет!*

Как писал о современной либеральной прессе, называя её «печатный водкой», задолго до Цветаевой Василий Розанов (глубоко почитаемый ею): «пришли двенадцать гадов и нагадили у меня в мозгу». Вот этих «двенадцать гадов» она бы ненавидела всегда, укоренились ли они в «Московском комсомольце» или на «НТВ», или каменным молотком вдалбливают в первобытные мозги пещерную чернуху и порнуху.

Цветаева русским пронзительным плачем выголосила «Стихи о Чехии», отозвавшись на боль и унижение этой славянской земли, попоранной фашистской Германией:

*...О слёзы на глазах!
Плач гнева и любви!
О Чехия в слезах!
Испания в крови!..*

*...Отказываюсь – быть.
В Бедламе нелюдей.
Отказываюсь – жить.
С волками площадей
Отказываюсь – выть...*

Не сомневаюсь, что сегодня Цветаева бросила бы в сытое, тупо-самодовольное лицо Америки и всё той же Германии со всей их НАТОвской сворой, говоря словами Лермонтова, «облитый горечью и злостью стих» – за трагедию в уничтожении ими Сербии, также как уже пророчески предрекла в чешском цикле: «Выкуси, герр!»

Вечное для Цветаевой, как видим, – любовь («Это-то и есть Россия: безмерность и бесстрашие любви»). Современное – это боль, несправедливость, мерзость вершителей наших судеб («Современность поэта есть его обречённость на время... ..Из истории не выскочишь».) И Цветаева даёт замечательное с точки зрения эстетики и психологически глубокое с точки зрения русской истории определение, что значит «быть современником»: это значит «творить своё время, а не отражать его. Да, отражать, но не как зеркало, а как щит». Ибо «поэт сам событие своего времени». И это не гордыня, а принципиальное понимание предназначения художника.

В таком цветаевском контексте, конечно же, вдребезги разлетаются все школьные банальности типа – «Лев Толстой как зеркало русской революции». Понятно, что Толстой ничего не «отражал», а сам, увы, в последние годы жизни работал как гигантский завод по производству революционного Левиафана, пожравшего Россию. То, что один творил как «своё время», Цветаевой пришлось затем отражать «как щит».

Чувствуя себя, своё «я», свою личную духовную историю неким суеверным пространством, государством, Цветаева защищалась «как щитом» от чужеродного, а значит – временного. Часто её стихи – по законам государства – звучат как Ноты протеста, Ноты Ожидания, Ноты предупреждения.

*Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеёю в сердце и с клеймом на лбу,
Я утверждаю, что – невинна.*

*Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем,
Что не моя вина, что я с рукой
По площадям стою – за счастьем.*

Или:

*...Я тебя отвоюю у всех времён, у всех ночей,
У всех золотых знамён, у всех мечей,
Я ключи закину и псов прогоню с крыльца —
Оттого что в земной ночи я вернее пса...*

Но в чём всё-таки была её «личная история», что составляло её личное, так горячо обороняемое пространство? Здесь, в первую очередь, её московское детство (родилась 26 сентября 1892 года) с тою полнотою духовной свободы, в которой абсолютное признание Личности человека, независимо от его возраста. Личностями в доме были все: две дочери — Марина и Анастасия. Отец — Иван Владимирович Цветаев. Обычно подчёркивается (что справедливо!) его высокий общественный и культурный статус — профессор Московского университета, филолог, искусствовед, историк, основатель Музея изящных искусств имени императора Александра III (ныне музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Но для Цветаевой с её «безмерностью в мире мер» это слишком ограниченный и маломерный объём. Её корни и крона в ином космосе: «Город Александров Владимирской губернии, Ильи Муромца губернии. Оттуда — из села Талицы, близ города Шуи, наш цветаевский род. Священнический... Оттуда мои поэмы по две тысячи строк и черновики к ним — в двадцать тысяч...» Её глубина и высота — «от деда о. Владимира до пращура Ильи...»

«От матери я унаследовала, — будет вспоминать Цветаева, — Музыку, Романтизм и Германию. Просто — Музыку. Всю себя» (в творчестве её это означает: «Есть нечто в стихах, что важнее их смысла: — их звучание»). Мария Александровна Мейн — мать поэтессы — происходила из обрусевшей польско-немецкой семьи. Она была талантливой пианисткой, ученицей Рубинштейна. Но в Цветаевой корни не переплетаются, а обнимаются, и она соединяет в себе не кровь, а культуры, характеры, Небо.

Но и это ещё не всё пространство. Небо Цветаевой, под которым она из XX века писала «Письмо к человеку» во все времена и в каждый дом, связано не с географическим местом на земле, а с единственным духовным материком, без которого не было бы ни русских святых, ни русских грешников, ни русской поэзии. Об этом читаем у Цветаевой: «"Есть такая страна — Бог, Россия граничит с ней", так сказал Рильке, сам тосковавший везде вне России, по России, всю жизнь. С этой страной Бог — Россия по сей день граничит... ..Россия никогда не была страной земной карты... На эту Россию ставка поэтов. На Россию — всю, на Россию — всегда».

Марина Цветаева определённо была русским фантомом. В любом времени, в любом веке, но только не вне России её родина. Вне этого Неба — что́ ей Германия, что́ ей её вечные спутники Гёте, Гейне, Гейдерлин, тот же Рильке... В шестнадцать лет самостоятельно (вот она благословенная и плодотворная свобода!) отправилась в Сорбонну, где прослушала курс истории старофранцузской литературы. В 1922 году она станет эмигранткой, уехав с дочерью Ариадной к мужу, Сергею Эфрону, белому офицеру (оказавшемуся на самом деле агентом ГПУ). В её изгнаннической судьбе будут — Прага, Берлин (но где он, где — зов крови?), Париж... Но везде она чужая,

всюду сиротство, всюду протест против обламывания, подстраивания под чужое и чуждое, «не своё». «Пищу не для здесь (здесь не поймут – из-за голоса), а именно для там – языком равных». Оттуда – сюда её взгляд, её крик, её плач:

*...Даль, прирождённая, как боль,
Настолько родина и столяр
Рок, что повсюду, через всю
Даль – всю её с собой несёт!*

В 1939 году Цветаева возвращается после 17 лет унижений, нищеты, отсутствия воздуха, неба, родного языка. Но вышло так, что она приехала на Родину умирать. К этому времени в её творчестве произошёл надлом. Она, которая утверждала: «С каждой новой тетрадью – я заново. Будет тетрадь – будут стихи», – замолчала. Она, не терпящая пустоты (в тетрадях ли, в жизни, в сердце!) – становилась одиноким островом в пустом пространстве. «Ты не знаешь моего одиночества», – написала Цветаева однажды в одном из писем «к человеку». И это она, пронесшая в себе пожизненную готовность:

*...Согреть чужому ужин –
Жильё своё спалю!*

Она, которая требовала:

*...Что другим не нужно – несите мне!
Всё должно сгореть на моём огне!*

Она, которая знала: «если не для любви – для чего же встречаться?», при этом сознающая несоразмерность свою с размеренностью мира:

*...Ненасытностью своею
Перекармливаю всех.*

Ей необходимо было всегда, каждую минуту с кем-то и чем-то родниться. Она всю жизнь строила своё Генеалогическое древо, включая в него всё: и дом, и звёзды, и дружбу, и Кремль, и Рильке, и книги, и письменный стол. Она не умела упрощать, уяснять ситуацию. Простое, порою элементарное, она усугубляла, доводя до катастрофических масштабов. В простом, элементарном мире ей было бы просто тошно жить, в её системе координат – «единственный выигрыш всякого нашего чувства – собственный максимум его».

По «максимуму» она и из поэзии вырывала самые раскалённые, самые опаляющие угли («Птица-Феникс я, только в огне пою!»). По энергии в русском стихосложении ей близки лишь Державин да Языков. У них одно с нею дыхание – одическая торжественность, ораторский восторг первого и ритмический пламень, полёт второго.

Здесь же безмерная широта некрасовской сострадательной русской печали и рыдание народных плачей, голошений. Но всё её дыхание – внутри строки, в синтаксисе, а у них в темпераменте. У неё – лингвистический темперамент. Ведь о чём её знаменитые строки «Поэт издалека заводит речь, Поэта далеко заводит речь»? О жизни – в слове. Потому так принципиально несовпадение цветаевского «Стихи растут, как звёзды и как розы» с хрестоматийным ахматовским «Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи...» Первородство слова перед жизнью у Цветаевой очевидно. Что не сделало её жизнь счастливой. Что неизбежно должно было завести «далеко», дальше жизни, дальше возможности объясниться с жизнью простым языком жизни.

У Баратынского есть стихи, как будто о Цветаевой написанные: «Я друга в поколенья не нашёл». Даже те, немногие, к кому она так искренно тянулась, – рано или поздно (чаще – рано!) оставляли безответными её обожание, обожение, словно опасаясь её инстинкта присвоения, захвата новых территорий («Мой Пушкин» – вот пример её захватнического обожествления!). Так было с Эфроном, с Мандельштамом, так было с Ахматовой, Маяковским, а уже в самом конце с Арсением Тарковским. Увы, равных в любви, в ответном восторге не оказалось. До безумия осложнила она отношения и с детьми, особенно с сыном. Когда 31 августа 1941 года она покончила жизнь самоубийством, у неё уже ничего (и никого) не оставалось. Не за что было ухватиться. Не с кем породниться (последняя попытка – порыв навстречу Тарковскому). Тогда она породнилась со смертью. Она обнялась (впервые обоюдно ответно!) со смертью, как равная с равной.

Глубоко символично, что могила М. Цветаевой так и осталась не найденной, затерявшись где-то среди безвестных холмиков на елабужском погосте. Разве кто-нибудь из нас видел соловьиный некрополь? Птицы не умирают. Они исчезают в августовском небе, чтобы вернуться весной («я себя схоронила в небе!»). Поэтому в ней не чувствуется есенинской, блоковской договорённости, завершённости. Она могла бы писать ещё многие десятилетия, тысячу лет. Она могла бы вместить в себя столько счастья, любви, творчества («я – много поэтов, а как это во мне спелось – это уже моя тайна»). В ней нет тютчевского или (ближе!) ахматовского страдания, умудрения (умудрённости) возрастом. В ней всегда только четыре времени года, сменяющиеся как в природе.

Она не объяснила наш трагический XX век («Искусство не цель, – говорила Цветаева, – а мост»). Наш век необъясним без Блока, Есенина, Ахматовой. Но XX век объяснил её, а значит, объяснил и Россию. Россия послала её к нам своим собственным письмом. Она пришла во имя слова. Она жила в языке, то есть во всех временах России. Так пусть ей пухом будет русская речь. Цветаева это заслужила, ибо, как никто, была права, говоря: «если есть Страшный суд слóва – на нём я чиста».



Геннадий ИВАНОВ

Москва

**СТРИЖИ В МОСКВЕ**

Прилетели стрижи
покорять этажи.
Выше всех небоскрёбов летают.
Над Москвою – стрижи,
над Москвой – виражи!
И стрижиные звоны
витают...

«Надо жить! Надо жить!» –
слышу я у стрижей.
Это нам –
постояльцам
своих этажей.

* * *

Камни стучали о камни.
Волны хлестали утёс...
Вспомнил я берег давний,
Где я у моря рос.

Вспомнил я лодки качку,
Быстрый пролёт гагар...
Вспомнил не как подачку,
Вспомнил как Божий дар.

Вспомнил морские дали.
Я уплывал туда...

Дали меня качали,
И волновала звезда

На горизонте где-то.
А это был маяк.
Север, морское лето...
Я уже вырос. Моряк.

Арктика наплывала
Зеленоватым льдом...
Всё, что душа искала,
Было в морях кругом.

Главное были – дали,
Волны и острова...
Годы прошли, миновали.
Только остались слова.

Но и слова прекрасны:
Берег, маяк, волна...
Как хорошо и ясно
Давняя даль видна.

И СНОВА – ЖИЗНЬ!

Белые хлопья каштанов цветущих
С розовым цветом внутри...
Мыслей не надо угрюмых, гнетущих.
Всё расцветает – смотри!

И одуванчиков жёлтые краски,
Зелень и листьев, и трав...
Все они сбросили снежные маски.
Всеякий ликующий – прав!

Было безумно, но мы дотерпели.
Вот и наградою нам
Тонко, свирелисто птицы запели!
Сердце прильнуло к цветам!

Наша весна – это Божия милость.
Дивно в родной стороне.

Бог не оставил – и жизнь заструилась
В реках, в полях и во мне...

* * *

После зимних ледяных щедрот
На природу я смотрю, как школьник...
Бабочек любовный треугольник
Полетел в соседний огород.
Птахи заливаются, лучится
Солнышком прогретый небосвод...
Надо жизни заново учиться,
Жизнь она ведь только настаёт!
Как отраднa рукоять лопаты!
Как свежо копаeтся грядa!
И лесные звонкие палаты
Хороши для песен и труда!

* * *

Окопы. Дубосеково. Фигуры
солдат-богатырей на рубеже...

На скоростях летят куда-то фуры,
и многое не помнится уже.

И многое уже как бы некстати.
Не до того, и век уже другой...

Но все мы учтены в военкомате –
кому куда, когда взорвут покой.

* * *

Мне вспомнилась вдруг почему-то
пилотка.

Красивая, в линиях плавных, пилотка.
Такая удобная эта пилотка...
Я рад, что пилотку застал.

Она как привет из далёкой Победы.
Отцы в ней служили и славные деды.

В ней есть окрылённость, в чудесной
пилотке, –
И в ней хорошо на плацу и в подлodge.

На смену фуражки пришли и береты.
А я про пилотку. Пилоточка, где ты?
И звёздочка так хорошо красовалась,
Что в памяти многих и многих
осталась.

ПРО БЕЛОГО БЫЧКА

Что делают воры? Воруют.
Что делают власти? Хитрят.
И все олигархи жируют.
И умные все говорят.

Я умному слову внимаю
И жду я победную весть...
Что будет с Россией, не знаю,
Но знаю, но знаю, что есть...

Я знаю, что воры воруют.
Я знаю, что власти хитрят.
И все олигархи жируют,
И умные все говорят...



Александр ИВУШКИН

Волоколамск, Московская область

**КАРА НЕБЕСНАЯ**

Снова горе с бедой ходят парюю.
Словно времени разрушится счёт.
И с высоких небес божьей караю
то – течёт, то – нещадно печёт.

То – морозы и ветры свистящие
мне шагнуть не дают за порог.
То – дожди ледяные звенящие
гнут деревья и валят их с ног!

То – водой подмывает поместия,
то – огнём выжигает леса.
И от страха святого возмездия,
в чёрном небе кричат голоса.

В ЯРОПОЛЬЦЕ

Что забыл я в этом барском парке,
и брожу – ни свет и ни заря! –
там, где на парадной старой арке
проступает древний герб дворян?..

Мнится мне – за каменной оградой,
продолжая прежней жизни счёт,
звёздный свет мерцающей лампадой
по аллее липовой течёт.

Трав белёсых ровное шуршанье
слышится в остывшей тишине.
Видится – покой и послушанье
старый пруд качает на волне.

Кажется – кувшинки раздвигая,
у косматой ивы на виду,
не луна, а женщина нагая
плавает в русалочьем пруду.

Белых рук неспешные движенья,
белых плеч округлые черты!..
И уже на грани искушенья
дух соблазна был со мной на «ты».

Даже леший зло и обалдело
вдруг затряс в корягах бородой.
Пруд парил, владея женским телом:
мне хотелось стать его водой!..

Чтобы на руках волны неслышной
вынести её из темноты.
Но она сама на берег вышла –
дивным изваяньем красоты.

Наготы от глаз моих не пряча,
встала вся, как есть, на берегу.
Что же не ловлю я миг удачи?!..
Что же ей навстречу не бегу?!..

Что же я застыл у этой грани,
где сочтут, быть может, дураком?!..
Ну а как бы умные дворяне
поступили в случае таком?..

ОСЕННИЕ КАЧЕЛИ

Осенние качели
в уключинах скрипели.
повизгивали жалобно,
быть может, оттого,
что мы на них качались –

как будто в небо мчались,
как будто в небо мчались
и – падали в него.

Промокшие качели –
как будто песню пели,
как мать мне в детстве пела,
качая колыбель.
Но почему так грустно,
сжав поручни до хруста,
качаться в этой зыбке
в осеннюю капель?

Рискуя с них сорваться,
мы брались целоваться,
но под ногами шатко
качался шар земной.
Предел непостоянства –
качанье, словно пьянство,
где страх паденья чувствуешь
то – грудью, то – спиной...

Остановлю качели!
Да что я, в самом деле!
Неужто в самом деле –
себя не одолеть?
Свиданья час не вечен.
Шагну к тебе навстречу.
чтоб тоненькие плечи
в объятиях согреть!

АПРЕЛЬ

Апрель катился торопясь,
чтобы насытить звон капели,
чтобы проталины успели
ручейную наладить связь.

Чтобы подснежников семья
нашла укромную лужайку
и расселилась яркой стайкой
у кромки талого ручья.

И чтоб побегами трава
из-под сухой листвы сочилась
и чтобы радостью лучилась.
И чтоб – кружилась голова.

И чтобы наполнилась земля
всем тем, чего так не хватало...
И было дней апрельских мало
и счастья для, и песни для.



Дарья ИЛЬГОВА

Ольховатка, Воронежская обл.



* * *

Троекратно ура, в воздух летят монеты.
Лето. И площадь переполняют люди.
Где это было? Когда это было? Где ты?
Как это можно было забыть. Забудем.

Если я утром отправлюсь
 прямым маршрутом –
За пределами счастья.

 Пропахла октябрьской пылью –
Ровно к обеду я буду у института.
Как это можно было забыть. Забыли.

Всё суета. В пять тридцать
 звонит будильник.

Новая жизнь. Другие миры и войны.
Только провал –
 от памяти подзатыльник:
Не забывай никогда. Никогда. Помни.

Мы атланты – на наших плечах
 и лежит небо.
Делаешь в сторону шаг –
 и трещит шарик.
Сдаться сейчас было бы так нелепо.
Я никогда не сдамся. Я обещаю.

* * *

Город падал и плыл в наклоне.
Горы прятались к нам в ладони.
Говорили, что нас бездомней
И счастливей не видел свет.
Спали чутко, вставали рано.
Осыпались в саду каштаны.
Самый тёплый октябрь. Так странно.
Было всё.
Ничего нет.

* * *

Каждое слово продумай, взвесь
Прежде, чем скажешь вслух.
Что изменилось? Исчезла спесь.
Раб не имеет слуг.

Перебесилась. Слова вонзать
В воздух – пустая блажь.
Я бы сказала тебе в глаза.
Ты же сказать не дашь.

Тонем и ждём, кто бы добрый спас.
Мирно идём на дно.
Как ни пыталась понять я нас –
Видимо, не дано.

Надо ли было не спать ночей,
Ценней не иметь валют,
Чем «я приеду на пару дней»
Или «тебя люблю».

Чтобы теперь ничего не ждать.
Только круги на воде.
Лучшее время для нас. Когда?
Лучшая жизнь. Где?

ПАМЯТНИК

Ни вдоха нет, ни выдоха, ни пульса,
Шинель внакидку — человек-скала.
Я подошёл к нему, рукой руки коснулся
И вдруг услышал: бьют колокола —
Удар в удар! Стократ большее пульса...
И памятник мне грустно улыбнулся.

* * *

Геннадию Макину

Догорает костёр, догорает... Не жди
Чьей-то воли чужой и совета.
Сам пойми, человек, ночь стоит впереди,
Осень с неба глядит, а не лето.
Потому подойди и спасибо скажи,
Поклонись, как ведётся от века.
Догорает костёр. Не оставь, поддержи,
С человеком беда — поддержи человека.

* * *

А в лапотной Руси, когда и суд не в суд,
Был общий уговор: лежачего не бьют.
И вот вам — новоявленный итог:
Седого старика шпана сшибает с ног
И, зубоскаля, бьёт расчётливо под дых...
И никаких лаптей у этих молодых.

**У МОГИЛЫ ПОЭТА
ВИКТОРА БОКОВА**

Ведь был же, был! И где же он теперь?
В стене холма уже закрыта дверь,
И крест стоит, как будто из овражка
Он вышел вдруг — и руки нараспашку,
И свет с небес!
Не просто свет, а светлы!
А не его ль гармонь поёт за речкой
Сетунь?

**Елена ИСАЕВА**

Москва



* * *

Я не знаю, как устроен рай.
Может, это — море, пляж и тенты,
Сетка волейбольная, студенты...
Господи, прости мне... не карай.
И кафе открыто до восьми,
И бизе выносят на веранду...
В эту волейбольную команду,
Господи, когда-нибудь возьми...

ПЕРЕДЕЛКИНО

Чтобы выдержать жизнь,
 надо как-то расслабиться к ночи.
Мне хватает стихов,
 а кому-то — вино или слезы.
Бар почти опустел.
 В одиночестве выпивший летчик
Тупо смотрит в окно.
 Там витраж — мозаичные розы.

Он глядит на цветы
 с удивленьем и пренебреженьем,
Он, как будто впервые лишившийся
 точки обзора
Из кабины своей,
 где Земля пребывает в движенье,
Где кругом облака,
 а не роза на лапе Азора.

А бутон, словно точка отсчёта,
 пульсирует красным —
 И ракетная кнопка,
 и дальняя жизнь во Вселенной,
 И маяк в темноте — равнодушным,
 счастливым, несчастным —
 Всем, кто в конфигурации этой
 застыли мгновенной.

На орбите одной — и бокалы,
 и барная стойка.
 Турбулентностью — выюга за окнами.
 Жёлтые лыжи
 Двух студентов, зашедших погреться...
 И лётчик. Но только
 Он к разгадке значительно ближе.
 Я — дальше. Он — ближе.

* * *

Он продолжает быть.
 В нём — красота и сила.
 Страшно его любить.
 Но всё равно — любила.

А прекратит знобить —
 Радуюсь, словно чуду.
 Трудно его забыть.
 Но всё равно — забуду!

* * *

Направо пойдёшь:
 Любовь найдёшь —
 Покой потеряешь.
 Налево пойдёшь:
 Покой найдёшь —
 Любовь потеряешь.
 Сказка ведь ложь,
 Что ж ты стоишь —
 Смотришь с такой тоскою?
 Прямо пойдёшь —

Волю найдёшь,
 Где ни любви, ни покоя.

* * *

Стану бледною льдинкою
 Между встречами редкими...
 Не дружи там с блондинками!
 Не ходи там с брюнетками!

Я работою выжата,
 Жизнь не дарит оттенками...
 Не тусуйся там с рыжими!
 Не якшайся с шатенками!

Стоп! Выдумывать нечего!
 Понимаешь — и таешь вся:
 Улыбаясь там женщинам,
 Ты ведь мне улыбаешься.

* * *

Не лелею в сердце рану,
 Не рыдаю по ночам.
 Я чужой судьбы не стану
 Примерять к своим плечам.
 Этот лист, такой опавший,
 Не убьёт меня тоской,
 Где в реальность не вписавшись,
 Мы пройдем по Поварской,
 Где машины мимо мчатся
 К освещённому Кремлю...
 Не надейся... Не печалься...
 Я тебя не разлюблю.
 Тая в нежности крошечной,
 Оттого нахмурю бровь,
 Что бывает безнадёжной
 И счастливая любовь.

* * *

Над судьбой страны б заплакала,
 Тосковала бы навзрыд,

Геннадий КАЛАШНИКОВ

Москва



ЗВЕЗДА

Глядящая с высот,
 с немислимым наклоном
 к поверхности земли, так чуждая земле,
 холодная звезда
 взошла над нашим домом,
 холодная звезда в холодном феврале.
 И что нам до неё,
 среди прочих тел небесных,
 Но, увидавши раз, мы глаз не оторвём:
 ей снится наша жизнь,
 дохнувшая сквозь бездны,
 достигшая её своим скупым теплом.
 Здесь в скрепах ледяных,
 снегами запылён,
 ветрами просквозён,
 лежит земной простор,
 а в том далёком сне отчетливей и строже
 сплетается судеб загадочный узор.
 Здесь речка подо льдом
 полна заноз железных,
 ушла в свою печаль, не помнит ни о чем,
 но тонкий свет звезды,
 легко презревший бездны,
 пронзил во всю длину
 мерцающий объём.
 На нас глядит звезда,
 нам укрупняя зренье;

куда нас повлечёт неведомым путем
 холодный этот луч и света дуновение?
 В светящейся реке без берегов плывём,
 на зыбкий этот луч,
 на этот свет тревожный,
 жизнь бесконечна
 и в одном мгновенье вся.
 Куда глядит звезда?
 Куда спешит прохожий,
 дыханья ломкий куст,
 сквозь стужу пронося?

ЖАРА

Асфальт размяк, листва в испарине,
 и город глух, как после выстрела.
 Он весь лежит на дне аквариума,
 вода давно откуда вытекла.

Архангел круг над ним вычерчивает
 над сетью улиц варикозной,
 уже крылом одним зачёрпывая
 придвинувшийся сумрак грозный.

Уже он различает вывески,
 влечёт его поток воздушный
 вдоль по реке, навеки высохшей,
 где скушен ныне сад Нескучный.

Летун тяжеловесный Барлаха,
 он раздувает ноздри жадно.
 Он над Ордынкой и над Балчугом –
 горячий, грузный, медножабрый.

Там что ни ива, то плакучая,
 там из воды подобьем краба
 торчит, глаза свои выпучивая,
 творенье юркою Зураба.

Что протрубит и что расслышим мы?
 Быть может, только этот шорох,

с каким уходит время вышнее
в семипалатинские норы.

Оно сыпучее, текучее,
оно чужое и родное.
Хожу по городу и мучаюсь,
как безъязыкий гуманоид.

* * *

Вдоль по обочине грязи брильянты,
мёрзлых полей домотканых холстина,
солнце сквозь облако, как у Рембрандта
крепкая пятка блудного сына.

Манят поля, эти пажити, просеки,
красный, немного всплакнувший
суглинок,
венецианские синие проблески
с охрой голландской,
фламандским кармином.

Было легко и с водою проточною,
с ветром от стужи сутулым и пьяным.
Время струилось часами песочными,
жизнь прошуршала
по колбам стеклянным.

Всё позади — и вокзалы и палубы,
угли костров и остывшие клятвы
на горизонте леса словно жалобы —
так же случайны и также невнятны.

В общем, ни прибьло жизни, ни убьло,
да и неважно, чуть больше,
чуть меньше,
чтобы в хламиду отцовскую грубую
крепко уткнуться лицом помокревшим.



Людмила КАЛИНИНА

Нижний Новгород



* * *

Промёрзли до костей речные мели,
Под саванами ели помертвели,
Но проруби недремлющее око
Насквозь всё видит глубоко-глубоко.

Там ходят соки по корням упругим,
Там рыбы проплывают друг за другом,
Там родника неведомая сила
В руках заледенелых не остыла...

Неотвратимо вечное движенье, —
Чем крепче сон,
тем слаще пробужденье!

Давно твои глаза похолодели,
Давно их застят хлёсткие метели...

Сквозь детский смех
Спросонья март заплачет,
Всё спутает,
Взорвёт,
Переиначит!

* * *

— Что связывает нас?
Какая сила? —

В тревоге к небу руки возносила.
 Всевидящее небо отвечает:
 – Вас связывает всё, что разлучает...

ВОЛЧИХА

Убита,
 Убита волчиха,
 Окрестных сараев гроза.
 Февральские сумерки тихо
 В её погрузились глаза.

Не слышит собачьего лая,
 С облавой летящего вслед.
 Нестрашная,
 Возле сарая,
 Лежит она, брошена в снег.

Созревшей малиной набухли,
 Упруги соски и влажны.
 Снежинки не тают на брюхе
 И ноздри не чуют весны.

Не ветер гудит буреломный
 Вдали от проезжих дорог, –
 Весь день завывает бездомный
 У дальнего логова волк.

Ломая колючие сучья,
 Нутром сознавая беду,
 Он мчится, как ветер летучий,
 На запах, на свет, на звезду...

* * *

Так уж на Руси водилось исстари –
 В тишине лесов, в глухих скитах
 Вызревали мировые истины
 Под покровом вековых дубрав.

Выговские, саровские скрытники,
 Столпники, молчальники мои

Будоражили сердца не криками, –
 Вдохновеньем истовых молитв.

На миру глаголили раздумчиво,
 Позабыв о брэнной суете.
 Возносилось слово Аввакумово,
 Пламенела речь на бересте!

Это ли, скажи, не диво дивное,
 Только я ступаю в хвойный лес –
 Пение молитвенно-былинное
 Вдруг нисходит на сердце с небес!



Людмила КАЛЯЗИНА

Самара



* * *

Двое их: муж и жена.
Выглядят скромно.
Им суета не нужна,
Город огромный.

Деньги для них – не кумир,
Много не значат.
Просто на суетный мир
Смотрят иначе!

Домик у Волги-реки,
И огородик.
Вроде, и не старики.
Счастливы, вроде.

Ты бы хотел так пожить?
Я бы хотела.
Может, корову доить
Милое дело.

Может, все карты у них
Правильной масти.
Может, у них на двоих
Целое счастье...

Жизнь хороша, хороша...
Речка, прохлада...
Нет за душой ни гроша –
Им и не надо!

За руки взявшись тепло,
Бродят, как дети...
Слушай, им так повезло!
Нам и не светит.

* * *

Никого не касается наше.
И ничьё не касается нас.
По бумаге скрипит карандашик –
Значит, к ужину будет рассказ.

Напиши про меня и про маму,
И про снег под моим фонарём.
И про дворик затерянный самый,
А ещё про котёнка потом.

У котёнка усы – и у папы.
Не сдаваясь, вы день ото дня
На четыре пружинящих лапы
Приземляться учили меня.

Только я научилась едва ли –
Нет кошачьих в роду у души.
А потом и котёнка забрали...
Ты пиши, карандашик, пиши.

Как стоишь в ожидании чуда,
Как не рвётся последняя нить.
Всё уложено: книги, посуда...
Только сердце нельзя уложить.

Напиши: расставаться не страшно.
Точку ставь, и окончен рассказ.
Никого не касается наше.
И ничьё не касается нас.

Перечёркнуто всё и забыто,
Словно с плеч опрокинулся груз.
Но скрипит карандашик сердито:
Хоть себе-то не лги ты, не лги ты –
Ведь вернёшься!..

...Конечно, вернусь.

Евгений КАМИНСКИЙ

Санкт-Петербург



* * *

«Ничего не забыто!» —
восклицают верхи
и людишкам в корыто
льют протухшей ухи.

Рапортуют Пилаты
о великих делах
и лошадке крылатой
лезут с ножиком в пах...

О, воздушность ковыля
и беспечность стрижа!
если схватят за крылья —
не уйдёшь от ножа.

На обманной дороге
к дармовым пирогам,
коль не выдернут ноги,
то дадут по рогам...

Эта жизнь не наскучит,
не успеет, верней.
Самых юных научит
рвать кусок пожирней.

И румяное племя —
белозубая рать

осознает, что время
на дворе — убивать.

* * *

Так выглядят закончившие путь,
когда скрипеть устало коромысло:
бредут — нет сил пальтишко запахнуть,
и в шапке нахлобученной нет смысла.

А помнишь, как совсем наоборот —
еще в начале, юношей спесивым,
ты гордо брался в тяжкое «народ»
вписать *единство братское* курсивом?

Ты помнишь эту дантовскую грусть:
«безвременье», «безденежье», «разруха»
сводить в одно мучительное «Русь»,
прошитое суровой нитью Духа?

Жизнь ради слов, по сути, — Колыма.
Но что тому этапов потрясенье,
кто вдруг счастливо выжил из ума,
и в пятницу поверил в воскресенье?!

Кого судьбой растоптанного тут,
в пыль стёртого эпохи жерновами,
давно, раскинув крылья, в небе ждут
те, что в карман не лезут за словами...

* * *

Гегелю с Кантом,
весной загремевшим в стройбат,
не занимать к постижению жизни
таланта.

Благо сержант,
бытие превращающий в ад,
пендалем жизни то Гегеля учит,
то Канта.

Только сортир остается им драить,
видать,
 китель «дедám» обшивать
позолоченным кантом...

Плох тот солдат,
что упорно не хочет поддать
 в душной каптёрке
с идущим на дембель сержантом.

Сгинувшим в нетях
никак не положено сметь.
 Спутавших «вольно» с «равняйсь» —
их убить даже мало!
 Гегелю с Кантом за родину-мать умереть
 лишь и вольно здесь
да за пахана — генерала...

После отбоя особенно яростно бьют
 те, что уже раздавили бутылку «абсолюта».
 Но не скули!
Только там постижим абсолюто,
 где на тебя бытие ополчается люто.

Где через месяц уже ты простой трилобит.
 Где от бывшего тебя не осталось ни грамма.
 Где над тобой, бритым наголо, нагло стоит
 и усмехается жизнь, не имущая срама.

КУЗНЕЦ

*«Мы кузнецы, и дух наш молод,
 куем мы счастья ключи...»*

Прилив удушья силась побороть,
 он бьется рыбой брошенной на сушу:
 душа наружу просится, но плоть
 из сил последних держится за душу.

Ложатся на глаза, как пятаки,
 с осины листья. Синяя шалава,
 пред ним рыдая, сжала кулаки...
 Прощай, «Агдама» сладкая отравка!

Прощай, соленый пот Караганды,
 прощай, малина пьяная бараков...
 Отходит раб. Трудов его плоды
 мхом порастут во мраке буераков.

Ковавший для державы капитал,
 но труд едва ль за счастье почитавший,
 ты потом эту землю пропитал,
 как злобой поднебесье ангел падший.

Ты жилы рвал, чтоб выжить как-нибудь,
 а родине твоей всё было мало:
 и падала она к тебе на грудь —
 твоей напиться кровью до отвала.

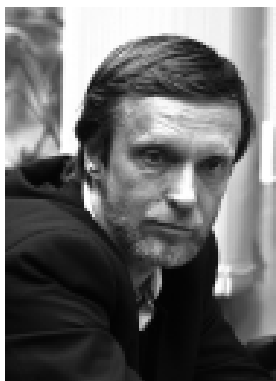
И всё желала, чтобы ты дожил
 до грозного решительного часа,
 когда ударных строек старожил
 есть просто штык и пушечное мясо...

Последнее причастие прими —
 вкуси от кислой глины каравая.
 Хрипят заводы в Туле и в Перми:
 «Прощай, кузнец, ковавший ключ от рая!»



Вячеслав ЛЮТЫЙ

Воронеж



ДЕТСКАЯ ДУША

К 125-летию со дня рождения С.Я. Маршака

Едва ли не каждый ребёнок в детстве повторял волшебные по звучанию строки: «Жил человек рассеянный на улице Бассейной...» Спустя годы, уже в юности, те же уста почти шептали: «И какая нам забота, если у межи целовался с кем-то кто-то вечером во ржи!..» Все знали, что это – Маршак, детский поэт и переводчик Роберта Бёрнса. Великое признание получает поэт, когда строчки его расходятся по жизни и звучат так, словно бы они существовали всегда. Имена Пушкина, Грибоедова, Блока – их можно множить, русская литература глубока и многоцветна. И своё место в этом перечислении, может быть, не рядом с гениями, но всегда внутри русской классической литературной традиции будет занимать имя Самуила Яковлевича Маршака.

Тонкий лирик, удивительный мастер детского стиха, чуткий переводчик, давший нам русского Бёрнса, русского Блейка, русского Шекспира в его глубоко интимных сонетах, Маршак соединяет три времени, три культуры. Русская литературная эпоха начала XX века, советская литература с её жизнеутверждающим пафосом, и наше время, заплутавшее в поисках добра и света. Всё чаще и пристальней мы вглядываемся в прошлое, взыскуя правды, искренности, любви и поэзии – и прошлое нам отвечает, давая опору и надежду на лучшее.

Самуил Маршак родился 22 октября 1887 года в Воронеже в семье мастера мыловаренного завода. Его раннее детство прошло на Чижовке – в то время это была воронежская слобода. Как известно, детские впечатления остаются с человеком на всю жизнь и выстраивают её на свой особый лад – для постороннего глаза это почти необъяснимо. В стихотворении из лирического цикла «Память детства» много позже Маршак расскажет о ребёнке, лежащем в старой тачке, его волос бережно касается отцовская рука – а в небе горит закат: «...вовек // Не будет знать прекраснее заката// Лежащий в старой тачке человек». Наверное, тогда в младенческую душу заронилось впечатление дивной, непостижимой красоты природы, её могучей и таинственной силы – и именно оно впоследствии стало источником художественного выбора Маршака-поэта: классичность и ясность, простота и естественность, живое следование

событий и реалистичность их изображения в слове. Потом его постоянно будет занимать соотношение жизни природы с жизнью человека. Это может быть лёгкое касание темы, как в стихотворении о ёлке нарядной, новогодней, домашней – и ёлке лесной, дикой, доверху занесённой снегом, но живой. Или как в стихах о полночной песне соловья, которая согласна с бесчисленными ночными природными звуками: «А всё же при нём тишина // Для нас остаётся немой тишиной...». Или как в стихотворном живописании рассвета, когда «в этот ранний час // Ты видишь меж кустов знакомых // Тех странных птиц и насекомых, // Что на земле живут без нас». Но в переводах сонетов Шекспира это гнетущее человеческое сердце, раздвоение жизни природы и жизни человека станет явным, отчётливым и чрезвычайно драматичным.

Впрочем, всё это будет потом, во взрослой жизни, а пока что семья в поисках работы переезжает с места на место: Витебск, Покров, Бахмут, с 1896 года – Острогжск. Здесь мальчик поступил в гимназию, прекрасно учился, писал шуточные стихи на гимназические темы и впервые пробовал переводить античных авторов, вместе с другими юными литераторами выпускал гимназический рукописный журнал «Первые попытки».

В 1902 году, на каникулах в Петербурге, Маршак знакомится с авторитетным критиком, человеком универсальной культуры В.В. Стасовым. Живой ум и литературный талант юноши чрезвычайно привлекли мэтра. Он восторженно говорит о нём влиятельным литераторам тех лет, среди которых – известный поэт великий князь Константин Константинович (К.Р.) и Лев Николаевич Толстой... В частной переписке восхищается тем, что юный поэт «такие рисует картины природы и такие сцены с речами и душевными движениями своих действующих лиц!..» А самого Маршака наставляет избегать риторики, осваивать русский классический стихотворный строй и одновременно – видеть красоту в ясной и простой поэзии фольклора. Стасов содействовал его переводу в петербургскую гимназию, и уже поздней осенью 1902 года прежний острогжский гимназист превратился в столичного жителя.

Он посещает концерты, спектакли, выставки, декламирует перед публикой свои стихи. Его знают живописец И.Е. Репин, композитор А.К. Глазунов, певец Ф.И. Шаляпин, писатель М. Горький – весь спектр искусства стремительно разворачивается перед юношей-поэтом. Но от природы слабое здоровье Маршака требует лечения и Стасов помогает ему поехать в Ялту, а Шаляпин и Горький дают необходимые для этого средства. В 1904–1906 годах Маршак живёт и учится в Ялте, появляясь в Петербурге только на летние каникулы.

Однако столь удачливое и счастливое вступление в литературу внезапно сменяется трудностями, которые следуют одна за другой. Умирает Стасов, отношения с Горьким охлаждаются, и Маршак оказывается предоставленным самому себе. Именно в этот период происходит его сближение с редакцией известного журнала «Сатирикон» и с Сашей Чёрным, непревзойдённым русским поэтом-сатириком. И начинается новый этап в литературной карьере Маршака – суетливый, связанный с постоянной нехваткой денег, с настоятельной необходимостью стихотворного отклика на всякое, мало-мальски значимое событие сегодняшнего дня. Из-под его пера выходит множество сатирических виршей, их публикуют самые разные газеты и журналы, но эти стихи он никогда не



подписывает собственным именем, всегда – разными псевдонимами, среди которых наиболее известный «Доктор Фрикен». И в то же время в Маршаке не угасает внутренняя потребность в серьёзной поэзии: иногда в печати появляются за его подписью лирические стихотворения, предельно ясные по форме, лаконичные по высказыванию. Но и занятия сатирой совсем не стали напрасными. В этой «школе» вырабатывалась способность Маршака составить живой сюжет и поддерживать разговорную интонацию безо всякой фальши и натянутости – всё то, что будет так отличать его в поздние годы, когда он вырастет в замечательного детского поэта и на редкость естественного по интонации переводчика.

Начало 1910-х годов для Маршака – время поездок в Сирию, Палестину, Англию, Ирландию... Он поступает на факультет искусств Лондонского университета и с головой погружается в переводы – В. Шекспира, В. Вордсворта, В. Блейка, народной английской и шотландской поэзии.

Летом 1914-го Маршак возвращается в Россию. Началась Первая мировая война, и весной 1915 года Маршак из-под Выборга приезжает в Острогожск – пройти очередное переосвидетельствование по поводу пригодности к военной службе. Из-за слабого зрения он освобождается от призыва в армию, однако почти на два года остаётся в Воронеже, помогая детям беженцев из западных губерний России. Он живёт на Большой Садовой – сначала у своего дяди по материнской линии Якова Гительсона, а затем у его брата Михаила, в квартире №1 на первом этаже особняка дворянина М.М. Сомова (теперь это дом №72 по улице Карла Маркса).

В январе 1917-го Маршак покидает Воронеж и отправляется в Петербург. Государственная смута, а затем большевистский Октябрьский переворот кардинально меняют жизнь в стране, и после многих мытарств Маршак попадает в Екатеринодар; там он заведует секцией детских домов и колоний областного отдела народного образования. Судя по всему, именно в эти годы в его сознании формируется образ детской поэзии – такой, какою она должна быть. Детская логика, наивное устройство ума, непосредственность реакций – всё это должен глубоко усвоить поэт, который пишет для детей.

В 1918–20 годах Маршак вновь берётся за ремесло фельетониста и печатает в деникинской газете «Утро Юга» свои сатирические вирши антибольшевистской направленности. Тогда же, по заданию редакции, он списывается с В.Г. Короленко и получает от него для публикации в газете знаменитые «Письма из Полтавы», адресованные А.В. Луначарскому. В 1919 году, словно подводя итог многолетнему «сатирическому» периоду в творческой биографии Маршака, выходит сборник его дореволюционных стихов «Сатиры и эпиграммы». Имя автора, как и прежде, скрыто под псевдонимом «Доктор Фрикен».

После прихода на Кубань красных Маршак вместе с поэтессой Е. Васильевой, ранее знаменитой как «загадочная» Черубина де Габриак, организует театр для детей. В соавторстве они сочиняют для него пьесы, а вскоре, по возвращении в Петроград, Маршак целиком посвящает себя поэзии для детей. В 1923–25 годах он – редактор журнала «Новый Робинзон», а с 1924-го руководит детским отделом главного государственного издательства ОГИЗ. Из-под его пера выходит множество стихотворных историй для детей, он пишет песни и загадки, создаёт пьесы-сказки «Двенадцать месяцев», «Кошкин дом», которые пользуются невероятным успехом у детворы. Его имя становится почти символом советской детской литературы.

В конце 1930-х он возвращается к прежнему сатирическому ремеслу и публикует памфлеты на антифашистскую тему, однако по-настоящему востребованной эта сторона его таланта оказалась в период Великой Отечественной войны и развернувшейся сразу же после Победы – войны «холодной». Теперь сатирический герой его стихотворных фельетонов – воинствующий американизм. Впрочем, эти опусы Маршака отдалены от нас стеной времени, они остались в прошлом, поскольку изменился мир, отошли события, литературный вкус читателя теперь совсем иной. Главным для нас сегодня оказывается «детский» Маршак вкупе с Маршаком-переводчиком. Только здесь с неподражаемой естественностью развернулся его талант поэта и мастерское владение русским языком, которым восхищался ещё Стасов. Это чувство языка по-разному воплощается в маршаковском «Багаже» – детской истории, которая стала уже почти присказкой, и в переведённых «Джоне Ячмённое Зерно», «Ты меня оставил, Джеми» Бёрнса, «Тигре» Блейка, в сонетах Шекспира, особенно в заключительных двустихиях: «Я не хочу хвалить любовь мою, – // Я никому её не продаю» или: «Меня оставить вправе ты, мой друг, // А у меня для счастья нет заслуг». Языковые отблески в стихах живут по-разному, однако в них всегда прочитывается нечто общее – музыкальный слух автора, душевная мудрость, ритмическая организация всего его существа и, конечно же – ощущение дивной сладости русской речи, способной передать в слове краски и оттенки иных стран, сделать их своими, любимыми и живыми.

Помимо всего остального – как драгоценного, так и сиюминутного – Маршак успел написать повесть-воспоминание «В начале жизни», собрал в сборник свои статьи-размышления о художественном творчестве «Воспитание словом», издал книгу собственной лирики – всё это в начале 1960-х, незадолго до кончины. Человек безусловного авторитета, лауреат четырёх Государственных и Ленинской премий, он умер 4 июля 1964 года. Завершилась его биография. А жизнь его поэзии – продолжается.



Диана КАН

Новокуйбышевск, Самарская область



* * *

Тот сказ до сих пор не прочитан.
Задвинут на пыльную полку.
Пунцовый от гнева очиток
Роняет соцветья-осколки.

Осеннее детище солнца,
Он солнцем не шибко заласкан.
И всё ж над уныньем смеётся
Обносками мантии царской.

Сиротство октябрьской картины
Озябшую душу не греет...
И только очитка куртины
На сером всюду пламенеют.

«Скрипун» – его бабки окликнут.
Капустою зайцы считают.
Прохожие старцы-калики
Очиток в суму собирают.

Далече ли путь они держат?
В кровь сбиты усталые ножки.
По древней бредут, мимоезжей –
По Муромской стёжке-дорожке.

Туда, где на печке, могутный,
Лежит богатырь небывалый...

России, растерзанной смутой,
Такого давно не хватало!

В кровь ноги усталые сбиты
Несущих свой груз сокровенный.
Насколько чудотворен очиток –
Настолько неприкосновенен!

Заваренный с крепкой молитвой,
Очистит от зла-окаянства –
Боярин ли будь родовитый,
Крестьянин ли будь безымянный.

Пока ещё незнаменитый,
Лежит, обезножен, на печке.
А выпьет отвар из очитка –
Встряхнёт богатырские плечи.

Сверкнёт боевой булавою,
Пойдёт с лютым недругом драться...
И будет всей Русью Святою
Илюшею Муромцем зваться.

* * *

Сбежавшая с картины Хокусай
(Да так, что ветер взвизгнул за спиною!),
Я в русских несурзных снах витаю,
И дым печной клубится надо мною.

О, Хокусай-сан, как вы неправы,
Мне душу посылая жгучим перцем!..
Большой волной несчастной Канагавы
Тоска нет-нет да и подкатит к сердцу.

И поддаюсь великому соблазну -
Цветенье сакур узнаю во выюгах...
Какой непредсказуемой и разной
Бывает Русь в своих сынах и внуках!

Они порою не светловолосы.
Дела их не всегда богоугодны.

Они таят коварные вопросы...
И только в снах своих они свободны!

Но не востока утренняя свежесть
Под восходящим ввысь
японским солнцем —
А снится им заснеженная нежность
Руси сквозь индивелое оконце.

* * *

Песню и плач переплавили
и перепутали
(Знамо, на Волге на то,
отродясь, мастаки!)
Девка, идущая замуж,
метель в неприкаянной удали,
Певчие в храме,
бредущие вдаль бурлаки.

Вкрут аналой обходя
даже об руку с милыми,
Плачем заране —
опять в русском небе ни зги...
Русская воля закатными писана вилами
По жигулёвской стремнине
в районе Самарской Луки.

У атамана Барбоши спроси,
сколь сладка она, волюшка?
Лишь усмехнётся печально в ответ
гулевой атаман.
Свистнет в три пальца,
буй-ветром закатится в полюшко
И — поминай, яко звали...
Ан явится снова незван!

Заревом вспыхнет опять
гость желанный-непрощеный...
Что бы податься за Камень
за волюшкой горькой? Так нет!
Кровью исходит закат
над Поляной Барбошиной,

Заревом-кровью
исходит над нею рассвет.

...Волга родная,
какого ни попадя аспида
Встарь прибывало волною
к высоким твоим берегам.
Вверх до Валдая
да вниз до могучего Каспия
Песни об этом поются —
аж слёзы текут по щекам.

ВЬЮЖНАЯ СОНАТА

Наивная молоденькая дурочка,
Озябшая от безутешных слёз,
Бредёт по оренбургским тихим улочкам,
Бредёт-бормочет странное под нос.

Никем ещё ни разу не целована
И ни в кого ещё не влюблена.
Ничем покуда не разочарована,
Ни разу не сходявшая с ума.

В шубейку-ветродуйку зябко кутаясь,
За вьюжною вуалью пряча взгляд,
Она бредёт, наивная и мудрая —
Совсем как я так много лет назад.

Она бредёт навстречу мне из прошлого,
Прокладывая стёжки на снегу.
Вновь, как в бреду, посмотрит:
«Что хорошего?..»
И снова я ответить не смогу.

Сейчас свернёт с Уральской
на Пикетную,
Оставив мне лишь стёжек снежных вязь...
В таинственное-странное-рассветное
Уйдёт, в сонате вьюжной растворясь.

Стишками, между стёжек заплутавшими,
И тем, что у поэта жизнь горька,

Сонатами, сонетами не ставшими,
Она не озабочена пока.

Она бредёт, куда безымянная...
Она не знает, как она слаба!
Она в бреду бормочет что-то странное
—

Ещё не рифма, но уже — судьба.

И некому сказать наивной дурочке,
Пока её мечтания тихи,
Пока пустынно утренние улочки,
Что это — гениальные стихи!



Бахытжан КАНАПЬЯНОВ

Алматы, Казахстан



* * *

Что за ветер живёт за стеной?..
То притихнет, то в дверь постучится,
То в листве затаится, как птица,
То в тревоге пройдёт стороной.
Я не знаю, что будет со мной,
Я бы ветром хотел возвратиться,
Чтобы птицей в листве затаиться
И листвою ожить в час ночной.

* * *

Притихла ночь.
В кошаре овцы спят.
Чабан молчит.
Пёс ластится к ногам.
И круп коня луной посеребрён.
Конь — без седла.

Чабан молчит.
И пальцем заскорузым
Всё водит по узорам на кошме.
Гул самолёта в вышине,
Как гул копыт
Степных коней туменов,
Смолкает, потревожив чабана.
И он присядет у огня,

И тени от костра отходят.
В степи кизячный запах бродит.

Притихла ночь.
Чабан молчит.
Луна.

ОЗОНовый ВОЗДУХ

В ароматных иглах сосен,
Что так радуют на вид,
Воз невидимый отбросив,
Дух божественный стоит.

Где-то схватится устало
Под слоями атмосфер
С тем, что нас
сверх
пропитало —
По шкале научных мер.

Словно обращаясь к богу,
Жаждем чистого глотка...
Может, в этом нам помогут
Грозовые облака.

ВДОль ГОРНОЙ РЕЧКИ НА КОНЕ

Вдоль горной речки на коне
От озера всё вверх по склону.
Устроившись в седле — вполне
Устроен быт мой по сезону.
Вдоль горной речки на коне,
Под равномерный шаг гнедого
Я возвращал в себя — извне —
Протюркскую основу слова.
Я понимал полёт стрекоз
И взмах китайского удода.
По грудь тибетский камень врос
За речкой где-то там у брода.
Выносят камни письма

Тюрки, Тибета, Чагатая,
С наскальным эпосом сплетая
На будущие племена.
Крылом вычерчивал орёл
Бессмертную поэму Тенгри.
А конь меня всё дальше вёл
От саков до ушедших венгров.
Не раз сменяется трава,
Вот снова за ущельем юрта.
Не обрывается тропа
Доисторического тюрка.

ГУСЬ НАД ГОРОДОМ

Гусь летит с перебитым крылом...
Два крыла твоих — радость да горе.
Не увязни в воздушном растворе,
Дикий гусь с перебитым крылом.
В новостройках не вспомнят о том,
Не помянут жильцы в разговоре.
Эх, крыла твои — радость да горе,
Дикий гусь с перебитым крылом.
Близко к озеру микрорайон,
Что раскинулся на косогоре.
Эх, крыла твои — радость да горе,
Дикий гусь с перебитым крылом.
Кто стрелял?
Он тебе незнаком.
Наследил он в небесном просторе.
Эх, крыла твои — радость да горе,
Дикий гусь с перебитым крылом.
На окраине строится дом.
Гусь летит с перебитым крылом.

* * *

И комната, и среди ночи ты,
Прижав к груди, баюкаешь ребёнка.
И в полумраке белая плёнка,
Как белый флаг притихшей суеты.
И жизни незасвеченная плёнка
Проявится, сметая тень беды.

Взгляну глазами своего ребёнка
На просветлённые твои черты.

И многое мне надо бы сказать,
Так многое, что лучше промолчать.
Вот – пантомима жизни, а не сцены.
Не важно говорить, важнее знать.
И, зная, никому не объяснять,
Невидимые чуя перемены.

Всё встанет на свои места,
Когда со стороны увидишь,
Что отражение моста
Ты, как вода в реке, не сдвинешь.



Валентин КАРАСЁВ

Москва



* * *

Пламя страсти временем остудится,
Странных мифов в ночь растает рать.
Только сердцу верящему чудится
Вечности живая благодать.

По своей Земля орбите вертится.
В свой черёд в судьбу вошёл апрель.
Маленькой душе с надеждой верится,
Что благую весть несёт капель.

В ожиданье чуда снам не дивится
Человечья страстная семья,
Но лучами в отраженьи видится
Завершившего судьбу копьа.

Вновь сынам Земли тепло рассветное
Утром посылается, окрест.
Пламя благодатное, заветное
На Его животворящий крест

Снизойдёт,

и Веры весть разбудит
Смерть поправ, Воскресе-человек.
Было, есть и вечно так пребудет –
Подвигом Христа из века в век.

* * *

По жизни, сколько ни крути,
Любой из нас солдат.
И сколько б ни было пути,
Но он обязан проползти
По ленте серых дат.

Пятнадцать, двадцать, сорок пять...
Печали лёгкий звон.
Всё можно бросить и начать
Вчера, сегодня и опять,
Пока продлится сон.

За пятьдесят, под шестьдесят
Отбой поёт труба.
По ленте не дожитых дат
Ползи, подстреленный солдат,
Туда, где ждёт судьба.

Дрожит багет календаря,
Теряя дни-листы.
Надеждой вечною горя,
Судьбу уже иных творя,
Меняет Бог посты.



Светлана КЕКОВА

Саратов



* * *

Племя слов меня больше не радует.
Племя рыб исчезает во мгле.
Мотыльки то взлетают, то падают,
Скарабей ползут по земле.

Но когда богомолы бесстыжие
вновь ведут меж собою бои,
и когда насекомые рыжие
покидают казармы свои,

и когда исполняют кузнечики
погребальные гимны для ос
и снуют водомерки-разведчики, —
у меня возникает вопрос:

как они появились и выросли
и на прошлом поставили крест —
эти грёзы, фантазии, вымыслы,
насекомые призрачных мест?

Как они мою муку бесплотную
превратили в горячую кровь,
и убили твою мимолётную,
как крыло махаона, любовь?

БОЖИЯ КОРОВКА

Р.И.

Лист кленовый в виде заголовка
прячется в осеннем дневнике.
Ищет молча Божия коровка
крошки хлеба на твоей руке.

Девочка, принцесса Навзикая,
медленно старается ползти
по твоей руке, пересекая
длинный след от Млечного Пути.

И потоком слёз благословенных
льются листья цвета янтаря:
мир охвачен пламенем мгновенным
в первой половине октября.

Я слежу, дрожа и замирая.
за коровкой Божьей, чтоб опять
на твоей руке в преддверье рая
лёгкий след её поцеловать.

* * *

День проходит без смысла и толка,
но летят пауки в облаках
с небольшими запасами шёлка
в небогатых заплечных мешках.

Среди прочих вещей непонятных
возникает такой артефакт:
платье осени в шёлковых пятнах
небольших серебристых заплат.

И, запутавшись в гуще событий,
царь природы в железном венце
вдруг почувствует шёлковых нитей
тонкий холод на трезвом лице.

Вечность невод раскинула тайный...
В паутине её мы могли б
притвориться толпою трамвайной
или стаей бессмысленных рыб,

иль, насытившись смертью мгновенной,
сняв сосновый пиджак мертвеца,
вдруг проснуться с улыбкой блаженной,
паутину стирая с лица.

* * *

Близка мне исландская сага,
где скальд воспеваает осот,
где пастырь на склоне оврага
словесное стадо пасёт,

где в зарослях диких растений,
под сенью искусств и наук,
таится непризнанный гений,
творец паутины — паук.

Блажен, кто в страданиях весел,
кто знает таинственный путь,
но трижды блажен, кто повесил
кузнечнику арфу на грудь.

* * *

В старом доме медленно и долго
надо мной колеблется фантом:
муха в белом саване из шёлка
в колыбели, свитой пауком.

Жизнь течёт в своём привычном русле
среди больших и малых русских рек,
но уже кузнечик спрятал гусли
и в траве уснул, как человек.

И пугает насекомых праздных —
светляков, рассеянных в ночи, —
парой крыльев веерообразных
падший ангел в виде саранчи.

* * *

Бог Асклепий уплыл куда-то
врачевать беспокойный сон.
И грустят два крылатых брата —
Подалирий и Махаон.

Не дано им времён и сроков
знать

и делать во сне скачок,
но уже молодой Набоков
приготовил для них сачок.

Что, любитель античной прозы,
почитатель священных книг,
миг случайной метаморфозы
и тебя, как волна, настиг?

Ты уже не бессменный стражник,
стерегущий свои слова,
а великий бессмертный бражник,
бражник Мёртвая Голова.

СТРЕКОЗЫ

Даже в мире нездешнем чудесен
Мандельштам, воспевающий ос...
Но как строен, бесплотен и тесен
строй летящих на волно стрекоз!

Их, задержанных в клетке воздушной,
их, закрытых от нас на крючок,
выпускает какой-то послушный
Божьей воле седой старичок.

Сны, принявшие странные позы.
словно люди, вкусившие яд...
Но летят голубые стрекозы,
голубые стрекозы летят.

И одна стрекоза ненароком,
одолев непонятный испуг,
подлетает к печальному Блоку
и садится на серый сюртук.



Виктор КИРЮШИН

Москва



* * *

На Руси предзимье.
Порыжело
В ожиданьи первого снежка
Вымокшее поле возле Ржева,
Луговина около Торжка.

На венцах колодезного сруба
Смыта влагой летняя пыльца.
Ветрено в дубравах Стародуба,
Изморозь на куполах Ельца.

Киновари досыта и сини,
Тронутой летучим серебром,
В тихой роще около Медьни,
В родниковом озере у Кром.

Как царевна юная наивна,
В небе пышнотелая луна,
А под ней Коломна
И Крапивна,
Нерехта, Кириллов, Балахна...

Примеряют белые одежды
Улочки, бегущие к реке.
Ангелы тревоги и надежды
Неразлучны в каждом городке.

Свят покров над пажитью и пущей.
Шепчут губы: – Господи, спаси!
Что там обещает день грядущий?
Холодно.
Предзимье на Руси.

* * *

Летопись о нас расскажет скупо,
Как о не оставивших следа.
Спился мельник,
Развалилась ступа,
Высохла толченая вода.

Вроде как-то жили, пили-ели,
Разные, не сплошь богатыри,
Но пробились шустрые Емели
В кукловоды и богатыри.

Вот уже и стенка прёт на стенку,
Кровная родня, не чужаки,
И зовут безбашенного Стеньку
С двух сторон в задиры-вожаки.

Раззудись, плечо, гуляй, голота!
Смотрят, как неистовствует бес,
Кто-то с горки,
Кто-то из болота
И Господь – до времени – с небес.

* * *

Вздых поля за селом,
Цвет хвои на сосне...
Как зыбок перелом
От холода к весне!

Ещё пылать дровам
В прожорливой печи,
Но птичий караван
Уже плывёт в ночи.

И потому впотьмах
Лежу, глаза открыв,

Чтоб слышать каждый взмах
Нетерпеливых крыл.

ГЕРАНЬ

*Памяти мамы
Серафимы Никитичны*

И всё же рай не за горами,
Как нам порою говорят,
А там, где мамины герани
На подоконниках горят.

Сентиментальностью и грустью,
И беззащитностью пьяня,
Цветок российских захолустий,
Ты вновь приветствуешь меня.

Таится серое предместье,
В тумане улица и храм,
А ты пылаешь в перекрестье
Дождями выбеленных рам.

Картинка северного лета
На краски ярые бедна,
Но сколько нежности и света
Идёт от этого окна!

Так вот он, рай,
Не за горами,
И лучше сыщется навряд,
Покуда мамины герани
На подоконниках горят.

ЖИЗНЬ

Просто ужин на плите,
Просто взгляды, встречи, лица...
Жизнь – прогулки в темноте
С тайной жаждой
Заблудиться.

Вот провал, а вот проём.
Дал же Бог такую ночку!
Оступаемся вдвоём,
Только падать
В одиночку.

Ветер вечности-реки
Продувает,
Злой и хлёткий,
Отношений тупики,
Заблуждений перекрёстки.

Наступает в свой черёд
То, что было многократно:
Даже двигаясь вперёд,
Возвращаешься в обратно.

Прорастает, как лоза,
Наше прошлое в грядущем.
Но раскаянья слеза
Не видна
Вослед идущим.

Так бывает и притом
Понимать необходимо:
Человеческим судом
Только явное судимо.

Всё же тайного стыда
Малодушно не отриньте,
Чтоб не сгинуть без следа
В этом странном лабиринте.

* * *

Андрею Шацкову

Вот пришли и наши стужи,
Настоящие, без фальши...
Начинаем видеть хуже,
Но зато намного дальше.

Жили весело и бражно,
А теперь живём построже.
Всё грядущее – неважно,
Всё ушедшее – дороже.

Указателям не веря,
К поднебесной светлой роще
По тропе ловца и зверя
Пробираемся на ощупь.

Между суетным и главным,
В тупиках земного быта
Предпочли мы знакам явным
То, что призрачно и скрыто.

Нас несправедно судили,
Но в безумном этом ралли
Только те и победили,
Кто вчистую проиграли.

Всё грядущее – химера,
Всё ушедшее – полова...
Нам одна осталась вера
И одна надежда – Слово.



Александр КУВАКИН

Москва



ТРАГИЧЕСКАЯ ЛУЧЕЗАРНОСТЬ

К 100-летию со дня рождения Л.И. Ошанина

У Льва Ошанина было одно качество, оттенявшее, вернее, преображавшее безудержный советский оптимизм, свойственный его стихам и песням — изначально присущее ему трагическое восприятие жизни. Природа его творчества — в соединённости с судьбой своей молодой страны, в желании воспеть смыслы и чувства, рождающиеся в какой-то лучезарности будущего, и оттуда, словно на крыльях волшебной птицы, парящими над трагическими обстоятельствами обступающей действительности.

Он родился ровно за год до царских торжеств и за пять лет до революции.

«Счастлив, кто посетил сей мир...».

Его всегдашняя распахнутость — от предельной внутренней закрытости. Из-под линз его очков вырывался порой такой взгляд, что, казалось, это не он, а его тайна обжигает тебя.

А вне тайны:

*Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.*

Или:

*Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!*

Нет ничего более плоского и скучного, чем описание жизни Льва Ошанина в его служебных анкетах или Интернете. Как, вероятно, каждого из нас.

Впрочем, как описать тот ветер, который всегда пел за его плечом, или его парящую тельняшку, в которой он влетал то в литинститутскую аудиторию, то на собственный поэтический вечер в Колонном зале дома Союзов, то в ЦДЛовский ресторан.

Народ его песни не просто любил – он вдыхал их с детства, как воздух, чтобы потом дышать ими всю жизнь:

*Вьюга смешала землю с небом,
Серое небо с белым снегом.
Шёл я сквозь вьюгу, шёл сквозь небо,
Чтобы тебя отыскать на земле.
Как ты посмела не поверить,
Как ты посмела не ответить,
Не догадаться, не заметить,
Что твоё счастье в руках у меня.*



Он помогал своей стране обживать новые территории (в 30-е годы работал в строящемся тундровом Хибиногорске журналистом, директором клуба горняков), позже объездил немало городов и стран, населял советское городское пространство движениями души, созвучными каждому сердцу:

*А у нас во дворе есть девчонка одна,
Между шумных подруг неприметна она.
Никому из ребят неприметна она...*

*Я гляжу ей вслед:
Ничего в ней нет.
А я всё гляжу,
Глаз не отвожу...*

Мысленно возвращаясь в то время, ставшее уже историческим, ясно видишь, как трагически оно связало несовместимое – божественное предназначение человека к свободе и неотвратимую необходимость усиления государственного устройства. Ошанин, родившийся в России, искренне празднующей 300-летие царского дома, оказался в России, взявшей себе псевдоним – СССР.

И вот – лучезарная развязка трагедии. 1945-й год. Великая Победа. И ошанинское:

*Эх, дороги, пыль да туман,
Холода, тревоги, да степной бурьян.*

Вся история страны, участником и свидетелем которой был поэт, навечно отлилась в хрестоматийном:

*Выстрел грянет, ворон кружит,
Твой дружок в бурьяне неживой лежит.
А дорога дальше мчится, пылится, клубится,
А кругом земля дымится, чужая земля.*

Прежняя, любимая Россия, – неживая, с кружащим над ней вороном. И вокруг, действительно, – своя, но одновременно и чужая земля.

Но пророчески:

*У крыльца родного мать сыночка ждёт.
И бескрайними путями, степями, полями
Всё глядят вослед за нами родные глаза.*

И здесь – неодолимая ошанинская вера в свою Родину, Россию. И пока *вослед* всем нам *глядят* её *родные глаза*, надежда на *воскресение* не должна покидать наши сердца.

...Однажды, после семинара, он попросил меня остаться. И повёз на творческую встречу с работниками завода «Рубин» (производство телевизоров). Усадил рядом с собой в президиуме. И по пути на завод, и в президиуме пытался понять: «Зачем я здесь?» И вдруг осенило. На вопрос, как Вы оцениваете собственное творчество, Лев Иванович задумался и после паузы обратился в зал: «Знаете, после меня останутся только «Дороги». В ответ послышался протестующий ропот. «Нет, нет, только «Дороги», – твёрдо повторил он и посмотрел на меня. «Запомни», – говорил его взгляд.



Александр КЛИМОВ-ЮЖИН

Москва



* * *

У турок злобный норов,
Их, как на небе звёзд.
Взял Измаил Суворов?
Нет, всё-таки мороз.

Нет у гиреев шансов,
Хоть татарвищи тьма.
Их разметал Румянцев,
И всё-таки – чума.

Воруют маркитанты,
Саднят нетопыри,
Три дня без провианта,
На теле волдыри.

Оголодал, продрог ли –
Наш росс неустрашим:
– Пока не передохли,
За веру постоим!

От смерти в смерть отважно,
С надеждою вперед,
Когда уже не важно,
Ещё ты жив иль мёртв.

Повержен инородец,
Свирепствует капрал.

Чума – наш полководец,
Мороз – наш генерал.

* * *

Моё ли это сердце бьётся?
На полштыка, ещё на штык,
И заступ в твёрдое уткнётся,
Пройдя сквозь красный материк.

Всё это так давно случилось,
Что смерть нисколько не страшит,
Лишь кости – всё, что сохранилось,
Лишь череп – твёрдый, как самшит.

Приветствуем тебя, зарытый
Две с лишним тыщи лет назад,
Иль воин, иль один из свиты
Вождя убитого, сармат.

С почётом ли закопан вживе
Или с почётом умерщвлён,
Улыбкой безобразной дивен,
Ты дважды свету возвращён.

А я, откинувшийся в яме,
Плечами подпирая скат,
На ощупь пробую руками
Столетия или экспонат?

У антрополога на полке
Он обретёт достойный вид...
И мне отмерен срок недолгий,
А всё же вечность предстоит.

* * *

Давно, должно быть, это было,
Но девочка ко мне спиной
По бёдра в воду заходила
И обмирала над волной.

О, как недавно это было.
К восходу девушка идёт.
За полдень жизнь перевалила,
И солнце с запада печёт.

Вода лоснится, словно сало,
Толкает женщина волну
И выжимает, как мочало,
Волос солёную копну.

Мучительное узнаваньё —
Она знакома мне и нет.
Её черты на расстояньё
Преображает встречный свет.

Текут струи по смуглой коже.
Я не уверен до конца —
Та нежная, у этой строже
И резче линии лица.

Даже подобия загара
На теле не было у той...
Та никогда не станет старой —
Не будет эта молодой.

* * *

Как будто и не умирала
На праздник бабушка, а жить
Себе тихонько продолжала
И в думах смерть боготворить.

За что ей Бог послал смиренье
И в испытанье много лет,
Тот свет ей мыслился прощеньем,
А наказаньем — этот свет.

Я помню властный дух веленья,
Непререкаемость ни в чём.
О, чудное перерожденье:
В ней быт забылся бытиём.

В последних днях своих изверясь,
Она сидела на посту,

Впадая иногда, как в ересь,
В немыслимую простоту.

Ждала, когда придёт из леса
На лыжах кот с вязанкой дров.
Снег падал, тьма была белеса —
С тем и преставилась в Покров.

Стул у окна, на воле ветер,
На полке стопкою бельё,
Как будто не жила на свете,
Как будто не было её.

* * *

Мы вместе с деревом дышали,
Вдвоём любясь на восход,
То выдыхали, то вдыхали,
Кто углерод, кто кислород.

Мы вместе с деревом дышали,
Мы поглощали благолепъ
И в это утро представляли
Биологическую цепь.

Меня с земли приподымало —
Так крепко ствол я обнимал.
Я выдыхал, оно вдыхало,
А выдыхало — я вдыхал.

Друг другу в такт поочерёдно...
Листовою щекотало в нос.
Дыхание гонял свободно
Невидимый глазам насос.

Я слушал — дерево дышало,
Скрипели рёбра у него,
Зелёный парус наполняло
На роздых странствием «Арго».

Куда нам плыть, когда б мы плыли,
Но участь кроны высока,
И, словно страны, проходили
Над нами близко облака.

Александр М. КОБРИНСКИЙ

Иерусалим, Израиль

**ДВОЕЧНИК**

Вызванный не вызубрил «Пророка»...
 В сочинении про «Болдинскую осень»
 написал о жарком сенокосе,
 о безветрии «не шелестит осока»;
 о местах, где белочка-летяга;
 о пасеке «не в дружбе с лесопилкой»,
 и под чертой пунктирной «черепаха
 надеялась на панцирь под косилкой»!

НА КРАЕШКЕ ОБРАГА

С котомкой дух мой шастал по Руси
 в хитросплетении просёлочных дорог —
 в их паутине разбирался он без карты.
 Не волновали сердце пилигрима
 позы Мах
 и там, где слышалось «еси на небеси»,
 он истово перекреститься мог
 в те дни, когда он был не ламинарным —
 в отрешьях жалких (человеком дна)...
 Тропинки кровно прикипали к духу
 и тело (костлявое вместилище его)
 легко переносило холод-молот
 и всеожжение языческой пустыни,
 йог-скоморох — он мог чесать два уха
 не только правою и левою рукой,
 но и ногой —
 в те времена, когда воочию был молод,

и дольку медленно жевал медовой дыни
 неподалёку от заброшенной бахчи
 под дикой вишнею на краешке оврага
 меж сорняков и жгучею крапивой;
 и умудрялся угасать закатом — не думать,
 лёт созерцать удонов, воронья и саранчи
 и трепетание над сельсоветом флага,
 и с проводами вдаль скользить над ивой
 туда, где цадиками освещалась Умань.

ГОЛЕМ

На одной из улиц Иерусалима
 встретил я под вечер голема гонимого
 и его, недопустимо зримого,
 тускло освещали фонари...
 Сказал он мне с ухмылочкой: «Вестимо,
 тобой я сотворён, чтоб с подлым Титом
 сразиться мог затурканный еврей.
 В те времена ты был
 раввином именитым —
 прошли века по тем же древним плитам,
 по тем же трещинам

и тем же мегалитам...

Оставь другим считать тебя шитом —
 ты в колесе рождений и смертей».
 «В твоей тоске, — сказал я чудо-голему, —
 той, что по Курии она, по Капитолию —

холму семи холмов, я вижу ту же нить —
 на всех один у нас и Запад и Восток».
 «Да, — согласился голем с грустной болью, —
 хоть я и глиняный, но мы одной мозолью
 и здесь торчим и там, где Лукоморье;
 а дуба цепь вокруг особая — не мог
 те трещины, что этой цепью сшиты,
 увидеть кот — еврей и сунниты —
 один на всех и Запад и Восток, —
 потрогав глиняной рукой свои виски,
 сказал он мне, — пора на черепки
 меня разбить», —

и протянул мне молоток.

В РАССВЕТНЫХ СУМЕРКАХ

Заводская окраина, двор – фонари
придавали коморке звериный оскал,
где лежал человек головою к двери
на подстилке из штопаных одеял.

И приснилась ему неземная она.
Умираю, – шепнула на звездном аргю
и туманов, дышала за ней пелена,
и прозрачность оттуда – из ничего.

И, протерши глаза, он бездумно смотрел
в потолок, раздвигая простор потолка
до границы, которой не преодолел,
когда сыном его называли полка.

И немьто, небрито он в город нырнул,
затерялся в громадах витрин и зеркал,
где с утра фокусировал злой Вельзевул
в женских икрах борьбу за металл.

Мимо шел он изгибов, сводящих с ума;
шел, душевной себя подчинив чистоте,
не просил, бедолага, и в темных очках
подаяния – он пребывал в пустоте.

Не табак насыщал его голод, не жмых,
а мечта в ипостаси «во сне, не во сне»,
что горенью подобна свечей восковых
с переплясом теней на стене.



Александр КОВАЛЁВ

Санкт-Петербург



ПРОЗРАЧНОЕ

Вот и пришло опять
время пустых скворешен.
Листья сгребает мать,
пилит отец черешню.

Ходит в руке пила,
точит кору сухую –
жалко, а все ж пора,
время сажать другую.

Где-то сквозь листопад
плачет чуть слышно птица.
Ветер летит сквозь сад –
не за что зацепиться.

ИЗ ДЕТСТВА

Птицы черные ходят в зените –
в синем небе над рыжим жнивьем.
Птицы белые мокнув в корыте –
это мама полощет бельё.

Птицы чёрные кружат победно –
ясный воздух высок и упруг.
Птицы белые просятся следом,
рвутся к солнцу из маминых рук.

Я окно растворю пошире.
Я кричу ей:
– Пусти же их...
Но,
птицы чёрные кружат над миром,
птицам белым летать не дано.

Птицы белые – ах, как неловки –
лупят воздух обрубками крыл,
а взлетают не выше верёвки,
словно кто-то картечью накрыл.

ЗАКЛИНАНИЕ

Когда сорвавшийся болид
сгорит дотла в пыли обочин,
и боль ночная отболит
на переломе дня и ночи.

Когда в гранитный парапет
волна устанет биться слёта,
и бледный августовский свет
затеплится у переплёта.

Когда на стыке двух времён
есть полчаса до первой птицы,
я умоляю об одном:
пусть сон сомкнёт твои ресницы.

Пусть хоть на эти полчаса
твой сон не потревожат гулко
ни звук шагов, ни голоса,
ни шелест листьев в переулке.

Пусть хоть на стыке двух времён
тебе, как в юности, приснится
и светлый, и счастливый сон
за целый миг до первой птицы.

* * *

Вот и славно, что всё-таки дожили,
что теперь уже точно – к весне.
Что снега и долги подытожены
и оплачены нами вполне.

Что в саду за чугунной оградой
пахнет прелью и талой водой.
Что в кармане неожиданно-негаданно
завалился червонец шальной.

Что ушанки сменились на кепочки.
Что синица свистит под окном.
Что такие нехитрые мелочи
без стеснения водят пером.



Кирилл КОЗЛОВ

Санкт-Петербург



* * *

Где-то между небылью и былью,
Поедая взглядом синеву,
Надышавшись вдоволь книжной пылью,
Начинаю новую главу.

Намечаю новые подходы,
Встретив музыкантов на пути:
«Нам дворцов заманчивые своды
Не подходят, сколько ни крути!»

Я не спорю и не убеждаю.
Барабан на шею, в руки – флаг!
Сам, признаться, десять лет блуждаю,
Десять лет всё делаю не так.

Акробаты, барды, менестрели,
Дети Солнца и седой Луны –
Вы ушли из города Растрелли
На просторы огненной весны.

А когда я сам с цепи сорвался,
Прóклял этот город водяной,
Музыка классического вальса
Возвращалась –
в сотый раз – за мной.

Танцевала с молодым кадетом
Незнакомка, пленница, вдова...
Но никто ещё не знал об этом,
Начиналась новая глава.

* * *

Колдовских огоньков перепляс,
Новый час. И для них, и для нас.
Жизнь идёт. Счёт представлен к
оплате.
Здравствуй, друг! Рассказать, как дела?
Не желаю, не делаю зла,
А грешков набралось – будьте-нате!

Жизнь идёт. Постарели отцы.
Разложили товар продавцы,
Манекены свои приодели.
Вечер добрый? Куда уж добрей,
Если прёт пятистопный хорей
В середине рабочей недели?!

Это – смелые краски зари,
Это – русская совесть внутри
Тащит груз, без которого проще.
Это – храмовый иконостас,
Православных святителей мощи.

Сколько версий ещё? Ни одной.
Я не знаю, что будет со мной,
Я не знаю, не чувствую даже...
Можно, впрочем, выиграть пари,
Что повсюду стоят фонари
На посту, на дежурстве, на страже.

Вот такие, дружище, дела.
За кого-то сгораем дотла,
По кому-то скучаем смертельно,
Снова в чьи-то стучимся дома,
А потом замечаем: зима
Безраздельно царит, безраздельно.

* * *

М. Инге-Вечтомовой

Ветер волосы треплет.
Легенды звучат в именах.
Только водное царство.
Большая условность земли.

На границах морских, в сумасбродных
мальчишеских снах
Возникают они...
Корабли, корабли, корабли...

Отплывают куда-то.
Ребята за ними спешат,
А потом, просыпаясь,
страдают болезнью морской,
А потом копошатся в науках,
напомнив мышат,
Презирая в душе лицемерный комфорт
городской.

Их болезнь не пройдёт.
Корабли, корабли, корабли...
Только так. И другой бесполезно
прокладывать курс.
Только водное царство.
Большая условность земли,
Но товарищей нет ни на цвет,
ни, тем более, вкус.

Я не видел во сне никогда кораблей,
кораблей!
Я на воду смотрю, безразличьем пугая
народ.
В этой жизни предложено нам
ровно столько ролей,
Сколько будет концовок
и зрительских быстрых щедрот.

Если текст подзабыт, сочиняешь другой
на ходу,
Если вырuling, дальше спокойно пыли
по прямой...
Корабли, корабли приплывут только
в Новом году,
Корабли, корабли непременно вернуться
домой!

Что ещё нужно знать
и во что нужно верить, когда
Каждый сам за себя?
После нас – хоть потоп, хоть война...

Ветер волосы треплет...
Прогретая солнцем вода...
Корабли, корабли...
Тишина, тишина, тишина.

* * *

Скоро дождь. Небеса неповинны,
Просто где-то прольётся вода.
Пьеса сыграна до половины,
Доиграть не составит труда.

Что ж, вопрос на засыпочку задан,
И пора бы сказать, не тая:
Этой осенью дышит на ладан
Даже поздняя слава моя!

Даже город смешной, корабельный
Не способен уплыть от судьбы
В обозначенный мир параллельный,
Где рабы не встают на дыбы.

Схематичный набросок скамейки.
Просто пауза. Просто присесть.
За душой ни любви, ни копейки...
Или всё-таки что-нибудь есть?

Шут никчѐмен. Поэт неподсуден,
Он выходит живым из огня!
Михаил Александрович Дудин
В Книжной лавке встречает меня.

Кони Клодта артачатся справа...
И слова вспоминает душа:
«Нынче осень, как поздняя слава,
Ненадёжна и так хороша!»



Сергей КОЗЛОВ

Ханты-Мансийск



* * *

Осенний день. Природа negliже.
И бег секунд не растянуть до терций.
И ни во что не верится уже,
И лишь молитва согревает сердце.

Златых одежд покровы уронив,
Стоят стыдливо русские берёзы.
А ветер тянет пасмурный мотив,
И почему-то выступают слёзы.

Недалеко холодные дожди
Идут, идут, идут, как сериалы.
Их за окном попробуй – пережди,
Не переключишь за окном каналы.

Но хочется ещё чего-то ждать!
И душу вырвать прочь из коматоза.
Ведь осень не причина умирать,
А время жить до первого мороза.

ЗИМНЕЕ УТРО

Мороз и дымка. Солнца мало.
Дома в тумане, как штрихи.
А у пивной – в глухом подвале –
Лежат убитые стихи.

И лишь одно стихотворенье,
Ждёт неуместной рифмы – роз.
Обычно так – перед Крещеньем –
Строфа – метель, строфа – мороз.

Ещё ты дремлешь? Спи, родная.
Мы не поедem никуда.
Стихи сегодня убивают
Непрофильность и суета...

Грядёт Крещенье, к иорданиям
Уже готовится народ.
А тут стихи – как ком в гортани –
И молча падают на лёд...

Стихи не стоят ни полушки,
И вязнет в твиттере народ...
Уносится на тройке Пушкин,
И гроб Рубцова не всплывёт.

Мороз. Душа давно застыла.
А вдруг, как старый Новый год,
Уйдёт ямбическая сила,
И вместе с нею Русь уйдёт?..

И будут детям на ночь мамы
Читать лишь слоганы рекламы...



Леонид КОЛГАНОВ

Кирият-Гат, Израиль

**МАТЬ ГРОЗНОГО**

У Глинской татарские скулы
И нежная поступь Литвы...
Как серые очи сверкнули
Со звонниц враждебной Москвы!

Под солнцем вериги взлетают,
Юродивый что-то орёт...
Литвиночка, внучка Мамаю,
Свой страшный подарок несёт...

СЛЕПАЯ СЛАВА

Кому поведаю, измеря,
Свою Вселенскую тоску?
Глухая слава, как тетеря,
Со мной тоскует на суку!

Глухая пуля на излёте,
Глухая слава на токУ,
Страна – как книга – в переплёте,
Я – как глухарь, печаль-тоску

Глушу один средь серых будней,
И всё же что-то мне твердит:
– Слепая пуля нас добудет,
Слепая слава долетит!

Она отыщет нас на ощупь
Путём слепых координат,
Где простыни пространств полощет
Слепое Время наугад!

Свои всевидящие бельма,
На нас пространно устремив,
Оно уставится прицельно
Сквозь океанский объектив!

И вспять отступят все обиды,
Подобно соляным столбам...
Накатят волны-нереиды,
И – вал горчайший – Мандельштам!

И нет людской «слоённой» боли,
Где серой все слои полны,
Лишь вечный привкус плотской соли
И плотность женская волны!

И, напрягаясь до предела,
Я вижу сквозь пучину зла:
Слепая слава долетела,
А пуля-дура догнала!

В ТВОИХ СНЕГАХ

Владешь мною ты доньне,
И я из вековечной мглы,
Целую все твои години,
Как декабристки кандалы

Мужей, что вышли к ним из стужи
Прошедших лет... Пропавших лет...
Пускай тебе я не был нужен,
Другим был нужен как поэт!

Но снова я к тебе иду,
Господней волей твой невольник,
В снегах, и на свою беду,
Словно француз к Первопрестольной!

Иду один среди пурги
В твой Вечный лёд, как Кай закован,
И возвращаюсь на круги,
Тобой отброшен, как Москвою!

Плыву в синайских небесах,
Но, с них сверзаясь неуклонно,
Опять тону в твоих снегах,
Как гренадёр Наполеона!

НА СИНЕМ СНЕГУ

...без меня народ не полный...
Андрей Платонов

Душа моя в «спящем режиме»,
Лежит, как Илья на печи,
И, тычась в бестелое вымя,
Жуёт, как телок, куличи!

Сонливым боярином в Думе,
Убрав позевотину в мех,
Она с каждым годом угрюмей,
Глядит на себя и на всех!

Но, словно медведь залежалый,
Я выйду, шатаясь, в пургу,
Оставив свой след пятипалый,
Как Йети на синем снегу!

Я нужен, как сумерки, свету,
Как тихому омуту бес,
Как Йети последний – Тибету,
И чудище – озеру Несс!

Недаром поведал Платонов,
Ступая в пределы огня:
– Не полный, не полный, не полный,
Народ и пейзаж без меня!

Как Игорю-князю затменье,
Что стало прозреньем его,

Я нужен, как день – в Воскресенье,
И нужен, как ночь – в Рождество!

ОБРАТНО НА МОСКВУ

Гуляет ветер без прописки,
Словно Цветаева в Москве,
Нет у него родных и близких
И лишь одной Плакун-траве, –

Он может выплакать в печали
Свои бездомные глаза,
Печаль – что черти накачали,
Блестит, как Божия роса!

Стоит тоска в глазах сиротства,
И ночь бредёт без Рождества,
И пепел моего изгойства
Кружйт, не помнящий родства!

Кружйт, прорвавши все пространства,
Словно шальной метеорит,
Как будто пепел самозванца –
Обратно на Москву летит!



Валентина КОРОСТЕЛЁВА

Железнодорожный, Московская область

**ШИПОВНИК С РОДИНЫ**

Ой, щедро дорога бродами,
«Достаёт» порой уже...
Заварю шиповник с родины –
Полегчает на душе.

Собирали руки добрые –
Там, где тропки вдоль села...
Вообще не очень гордая,
Но горжусь (и все дела!)

Этой дружбой не расчётливой,
Этой встречей в тёплый час,
Там – моя по духу родина,
Бескорыстная как раз.

И напрасно черти маются –
Караван себе идёт.
И опять чаёк заварится,
И опять душа поёт...

Может, песней, может, сказкою
Зацветёт тетрадный лист
И согреет словом ласковым
Тех, кто лечит время адское,
Кто не прячется за маскою,
Потому, что сердцем чист!

СОСНОВАЯ АЛЛЕЯ

Ветер пролетел, взьерошив кроны,
Холодом всё сущее обдав...
Замирают сосны, как колонны,
От тягучей осени устав.

Воздух мысли добрые лелеет,
По тропе утоптанной ведёт...
Эта животворная аллея
Радует и силы придаёт.

Ничего, душа, себе не требуй,
Чуден поздней осени размах!..
И висит на кронах сосен небо
Оренбургской шалью в кружевах.

Где-то, может быть, не дремлют бесы,
Ну, а здесь, где нету места мгле,
Вдаль глядишь и знаешь своё место
На прекрасной в общем-то земле.

ОСЕННИМ ВЕЧЕРОМ

Мы шли с тобою столько лет навстречу,
Была дорога, как судьба, горька.
И вот он наступил, осенний вечер,
Когда опять в твоей – моя рука,

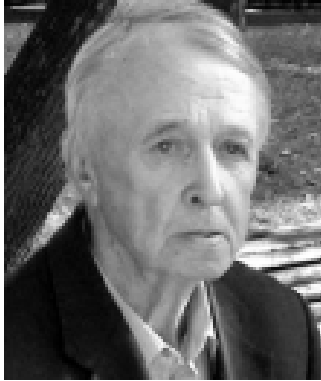
Когда и говорить совсем не надо,
Поскольку души сами говорят...
И сам собою дом пришёл в порядок,
И, кажется, он с нами тоже рад.

Не зря врывался в окна ветер вешний,
И таял постепенно мусор слов...
А это пробивалась к нам Надежда,
А это прозревала в нас Любовь!



Владимир КОСТРОВ

Москва



* * *

Темны дела, Господь мой, на земле:
 Меж клипами импазы и кефира
 Сижу на стуле, словно на скале,
 Как лермонтовский вольный сын эфира.
 Куда ни глянешь — всё кругом товар.
 Всё, от зачатья до последней драмы,
 Превращено в коммерческий навар.
 Хочу напиться до Прекрасной Дамы.
 Смотрю на электрический планшет,
 В зубах, как фикса, тлеет сигаретка.
 Но в рамке Незнакомки Блока нет,
 С другим гуляет эта профурсетка.

* * *

А напоследок вот что вам скажу
 Я, не вкусивший славы и богатства:
 Я в тихую Россию ухожу,
 В свободный мир действительного
 братства.

Под залпами партийных батарей,
 Не знающих пощады и взаимства,
 Не слышен хор бездетных матерей,
 У Господа просящих материнства.
 Иначе будет прах земной растёрт
 И распылится в замяти природной,
 Не сахарная клюковка растёт
 На знаменитой площади Болотной.

* * *

Геннадию Красникову

В смещенье судеб и идей
 (Теперь легко признаться в этом)
 Я в давней юности своей
 Смущался множеству вождей
 На площадях Страны Советов.
 Теперь по городу идёшь,
 Приехавши из-за границы,
 Уже совсем не разберёшь —
 Что гипсово, а что гранитно.
 Но всё же остановишь взгляд,
 Будь ты бандит иль вольтерьянка,
 Где в дымном воздухе стоят
 Оне — рабочий и крестьянка.
 Не заполняя пустоту,
 А ощущая первородство,
 Поднявшие на высоту
 Свои орудья производства.
 Над их бесплатным трудоднём
 Гламурный суд неизвиняем.
 Где нашу Мухину найдём?
 Какие смыслы изваяем?
 Для сострадающих сердец
 В забытом пафосе застыли
 Простые жница и кузнец —
 Труда Угодники Святые.

* * *

Мы проснулись. Мы стали на лыжи.
 Просветлели поля и дома.
 Все душевные грусти залижет
 Наша белая киса — зима.
 После красок осеннего китча,
 После слизи разбитых дорог
 Пусть позёмка, искрясь и мурлыча,
 И клубится, и трётся у ног.
 Мы скользим до недалежного леса,
 Гоним палками годы назад.

Для весны и горячего лета
Мы, конечно, уже неформат.
Помню я, как и ты, молодая,
Всё куда-то летела, звеня,
Вот как эта крутая, тугая,
Устремлённая в дали лыжня.

* * *

Нет. Я на тот свет не хочу торопиться.
Быть может, в прекрасную вечную высь.
Живёт в моём дворике синяя птица —
Какая-то главная тихая мысль.
Не знаю, зачем она здесь и откуда,
Каким её ветром сюда занесло?
Моё сокровенное русское чудо,
С ней разуму грустно, а сердцу тепло.
А в дворике нашем цветы и крапивы
Слегка шелестят от зари до зари.
Свои колокольные императивы
С кладбищенской церкви творят звонари.
Я слушал прибой островов океанных,
Была мне вершина Памира видна.
Но горькую исповедь слёз покаянных
Она на Земле понимает одна.
Покуда я сплю и когда мне не спится,
Покудова просит душа — помолись,
Ты не покидай меня, милая птица,
Земная и горькая вечная мысль.

ПОКА ЕЩЁ...

Покаемся, пока ещё
Нам лето машет вёслами,
Покуда зимы — белые,
И снегири, и зяблики.
Пока приходят осени,
Беременные вёснами,
Как кобылицы рыжие,
Раскрашенные в яблоки.
За долларовой зеленью
С Земли родной не съедем мы,

Своей беды достаточно,
Чужой судьбы не надо нам.
Давайте жить с деревьями,
Как с добрыми соседями,
И с бурыми медведями
Общаться только взглядами.
Между живыми душами
Уменьшим расстоянье.
Покаемся, пока ещё
Не впали в озверенье.
Пока ещё, пока ещё
Возможно покаянье.
Пока ещё, пока ещё
Доступно озаренье.

ПОДРАЖАНИЯ

Я ухожу. Нет, улечу, как птица.
Прощай, река, наполненная всклень.
Прощай, земля «берёзового ситца»
Есенинских певучих деревень.
Хочу сказать, пока мы не расстались,
Болеет плоть, белеет голова:
Не объясняют синтез и анализ
Моей души свободные права.
Рассудочная логика — обуза,
Я погружён в неё был лишь на треть.
«Пора!» — мне шепчет маленькая муза,
Готовая со мною улететь.
И никогда не выйдем мы из транса,
Хоть божий мир для жизни не устал.
Он смотрит вдаль свободного романса
Сквозь пушкинский магический
кристалл.

* * *

Ну, наконец, жара решила кончиться,
Давящая, сводящая с ума.
Как белый гусь на лапах
перепончатых,
Скользит по льду пушистая зима.

И в городе вдруг стало, как за городом,
 И торфяная кончилась шуга,
 Как будто бы я вызвал помощь скорую,
 И в дворик наш приехала пурга.
 И прописала грусть из сердца вывинтить,
 И обувь подходящую обувь.
 Свою тоску морозным ветром выветрить,
 И лёгкие забитые продуть.
 И выдыхать букетом бело-розовым,
 И верить в предстоящую судьбу,
 И подмести бы веником берёзовым
 Страну, как деревенскую избу.

* * *

Мне и прошлое дело второе,
 И о будущем я не грущу.
 На веранду я двери открою,
 В сумрак утренний солнце впускаю.
 Ни к чему мне экран виртуальный,
 Электронно-простроченный растр.
 Выхожу я во дворик астральный
 К стайке ветром разбуженных астр.
 Вновь себя ощущаю младенцем,
 Подкормившим синиц у стрехи,
 И умывшись, утрусь полотенцем,
 На котором поют петухи.



Лев КОТЮКОВ

Москва



Я И ВРЕМЯ

*Чем я отличаюсь
 от сонма нынешних пишущих?!
 Да немногим!
 Я ищу себя в Боге,
 а они, так называемые пишущие,
 ищут Бога в себе.*

Трачу время, которого нет,
 Но с оглядкой, расчётливо трачу...
 И спасаю удачу от бед,
 И спасаю беду от удачи.

И живу, никого не виня,
 Что навек моё время пропало.
 Но пропавшее время – меня –
 Тратит так, что и вечности мало!..

ЗАЛОГ

*Рукописи не горят?!
 Прекрасно горят!
 И сгорают, и, слава Богу,
 что иные сгорают!!!
 Пусть себе горят,
 ибо истинным Словам
 огонь не страшен.*

Наши годы ещё не прошли,
 И порой нам до боли легко...

Прокатилось сполна по судьбе.
 Прокатилось и – не провалилось,
 Закатало в асфальт бытия.
 И от времени жизнь отключилась,
 И во времени я, как не я.
 Но во тьме, за иными веками,
 У последней земли на краю,
 Я асфальт раздираю руками,
 И в дыму из асфальта встаю.
 И отходит горящая темень,
 И, как свет, в неземной тишине,
 Я навеки – во всём и со всеми,
 И навек моё время во мне...

Там, в неповторимом далеке,
 Где когда-то был самим собою,
 Нынче в умирающей реке
 Воды обращаются травой.

Нет туда давно дороги мне,
 И оттуда ни звонка, ни слова...
 Только эхо, как в незримом сне,
 Повторяет: эх ты, Лёва... Лёва...



В МАРТЕ

*Понять чужое –
 значит, усложнить своё.
 А вообще-то слишком многое
 мы знаем.
 Чем больше знания,
 тем меньше красоты.
 Чем меньше красоты,
 тем меньше веры.
 И никогда не повторится то,
 что очень хочет повториться.*

Раздвигались в марте берега,
 И дорогу размывало к дому,
 И качались на воде стога,
 И кружилась в омутах солома.

И стремнина, холодом звеня,
 Ивы ледяные подмывала,
 И у края берега меня
 Девушка с надеждой окликала.

И когда-то, словно никогда,
 Повторяло эхо чьё-то имя,
 И светилась талая вода
 В марте над лугами заливными.

Геннадий КРАСНИКОВ

Москва



* * *

Пурга пуржит,
 метель метёт,
 мороз морозит,
 ручей бежит,
 скворец поёт,
 хитрец морочит...
 Народ молчит,
 дитя кричит,
 скрипач скрипачит,
 трубач трубит,
 стукач стучит,
 палач палачит...
 Страна горит,
 душа скорбит,
 хлеба созрели,
 старик чудит,
 жена дурит...
 И все при деле.

* * *

Вот так всегда:
 интриги, подлость, ложь!..
 Вот так всегда: где тонко, там и рвётся.
 Захочешь выпить — рюмки не найдёшь,
 отыщешь рюмку — водки не найдётся!..

Вот так всегда: то в глаз, то в Магадан,
 то Моника в Овальном кабинете,
 захочешь выпить за прекрасных дам,
 а пьёшь за тех, о ком нельзя при детях!

Вот так всегда: захочешь умным стать,
 но целый день беседеешь с ослами,
 покуда соберёшься их послать,
 глядишь, они тебя послали сами!..

Шекспир не прав!.. Признаем наконец:
 весь мир — бардак и в нём свои порядки,
 а значит, режь последний огурец,
 последний аргумент
 в смертельной схватке!

* * *

Холодком тоски повеяло
 в ожидании зимы,
 кроме вечности, —
 всё временно
 на земле, и даже — мы...

Помнишь, снега прошлогоднего
 всё не мог найти Вийон? —
 что там снег!.. А где сегодня он,
 где же сам сегодня он?

Постучишь в родную ставенку
 лет, примерно, через сто,
 но невидимому страннику
 не откликнется никто...

* * *

А в конце октября холодеет заря,
 холодеют закаты, янтарно горя,
 и, как беженцы, низкие тучи —
 то на запад ползут, то на север свернут
 от судьбы, от беды неминучей.

Будто выбив засовы осенних темниц,
над больницей взметнулись тысячи птиц,
чёрным вихрем кружась и взлетая,
под пронзительный ор сумасшедший узор
то сплетая, то вновь расплетая.

На деревьях последняя стынет листва,
удержавшись едва, ни жива, ни мертва,
и дрожит в золотой лихорадке...
Мы и сами с тобой схожи с этой
листвой,
всё о'кэй, стало быть, всё в порядке...

* * *

Не картина, так себе – картинка,
но, увы, не радует сюжет:
если в парке не поёт пластинка,
если не блестит в глазах слезинка...
Может, нас уже на свете нет?..

Не кручина, так себе – кручинка,
но потянет беды за собой,
если ранит снежная крупинка,
если неба серая овчинка
потемнела над твоей судьбой.

Не рябина, так себе – рябинка,
ну, а всё же с нею мы родня,
если ягод зимняя горчинка,
если каждая её кровинка
бьётся льдинкой в сердце у меня.

Не причина, так себе – причинка,
но ложится гирей на весы,
если в песне догорит лучинка,
если вдруг случайная песчинка
остановит вечности часы.



Алексей КРЕСТИНИН

Чаплыгин, Липецкая область



КИТЕЖ

Собирайся. Скоро эти
Дни бездвижные покинешь.
Мы пойдём искать во свете
Город Китеж.
Собирайся. Путь неблизкий.
Выйдешь к жизни, коль не сгинешь...
Что нам слава,obeliski?
Нам бы в Китеж...
У костра, в ночи зажжённом,
Руки в стороны раскинешь —
В дивном месте, в веке оном
Виден Китеж!

ПЕРЕД ПАСХОЙ

Солнцем весенним сияет восток!
Будет нам радостно!
Будет нам Пасха!
Будет любим, кто теперь одинок,
Будет возвышен гонимый напрасно.
Будет прощён, кто нарушил закон,
Но возвратясь, поклонился Распятью.
Будет сиянье с небес и с икон,
Будем воистину сёстры и братья!
В белых одеждах проснётся душа,
Спросит: «О ком эти Славные песни?»

И успокоится, Богом дыша,
И переполнится жизнью небесной.

* * *

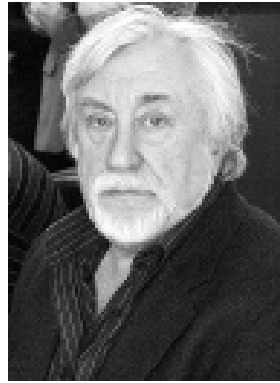
Слышишь песни Руси?
Все летят они, не пролетая.
Расписные челны,
Золотые огни,
Волга-мать
И без меры любовь...
И пшеница кругом золотая –
Набегают волной так, что полю конца
не видать.

В этих песнях – душа, и величье,
и тайна России.
Их и помнить, и слушать – всё мало...
Их надобно петь.
Чтоб они и тебя, подхватив,
на крылах возносили –
На небесном пиру, прославляя Россию,
звенеть!



Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

Москва



* * *

Много рябины, солоду,
ив — на обрывах Леты.
Делавший в книгах смолоду,
как дурачок, пометы,
запер я ближе к холоду
рамы на шпингалеты.

Это не то, что средние
годы мои прошли,
это, считай, последние
годы меня нашли.

Днём всё пытались в целое
тучи сложиться, но
чаще клубилось белое,
тёмным подпалено,
и колтуны несжатые
ветер трепал хлебов,
вызвавшись в провожатые...

Я же заместо снов
в ночь раскалённо-тусклую
вижу, как смотрит на
нашу пучину русскую
с трупным пятном луна.

ИВАН ДА МАРЬЯ

Иван-да-марья да львиный зев
мироточили окрест когда-то

давно в полуденный разогрев.
Ищи-свищи теперь виноватых

в засилье нынешнего репья.
И полисад с сиротой-рябиной

необитаемого жилья
нам отвечает тоской звериной.

Давно заволжское вороньё
утомилось уж в кронах сосен.

А годы, годы берут своё
с заплечным грузом, чей вес несносен —

из-за коробочки порошка
зубного явно не с рынков новых,

ветровки, занятой у дружка
на время северных дней суровых.

Была ведь молодость без угла,
узкоколейкой тряслись в вагонце,

и ты в испуге, что ночь прошла,
кивнула на киселёк в оконце,
где отразилось твоё лицо
поверх бегущего перелеска

.....
У других отторжение, вспомнят —
вздрагивают,

ничего её не любя.

А меня Россия затягивает,
втягивает в себя.

ВОЙНА И МИР

Снова старик Солярис
в дальнем углу вселенной
воспроизводит что-то:

усадебные ворота,
боярышник и физалис,
жизни клочок смиренной...

Муаровой промельк юбки
упрямицы, верной трону,
и никакой уступки
заезжему фанфарону,

вернее сказать, поэту.
Уснувший на сеновале,
он сделался схож к рассвету
с охотником на привале.

Некогда там, далече,
и бытовалось проще,
и помиралось легче,
как светотени в роще,

откуда в окошко пташка
влетела и растрепала
сальный темляк на пашке
покойного генерала.

ПАМЯТИ ФЕТА

Казалось, в ногу с практичным временем
иди, забыв про любовь и жалость.

Но над лысевшим с годами теменем
пространство звёздное разрасталось.

Как быть тут с музыкою взыскующей
в одной луной освещённом залеце,

где весь раскрыт, будто топь, бликующий
рояль — при беглости в каждом пальце...

Нет, мир не воля и представление,
что на него положили глаз мы,

а на амбарном клочке творение
про ночь и слёзные в горле спазмы.

Под спудом в крипте села Клеймёнова,
где сыровато и мало света,

каким-то чудом до лета оно
не потревожены мощи Фета.

* * *

С. Кистенёвой

Вдруг шепоток недолгий:
— Копи царя Бориса,
Красная слобода
где-то в верховьях Волги...

Антоновки и аниса
был урожай тогда.

И дотемна играли
в городки пацаны.
А у отцов — медали,
лица обожжены.

Там, как запретный пряник
иль дорогой трофей,
прятал киномеханик
в круглых коробках змей.

Много позднее сшила
мать, изумив родных,
из светлого крепдешина
платье для выходных.

Падкий на золотишко
маугли сникших рощ,
соберу-ка я рюкзакишко,
чтоб оставался тощ.

Осени подмалёвки...
Будет вопрос решён
даже без поллитровки.

Только держись, ветровки
сплющенный капюшон!

ГРЕШНЕВО

Золотисто-иконостасные
дни такие, что на колени
опускаешься, видя красные
капсулы шиповника в светотени.
Нет, моя Россия не для запойного
дурака на селе ли, в городе,
но для верного, беспокойного
сердца, что горячо и в холоде.

Но она и для сердца падшего.
Ездил в Грешнево — там в печи
темнота; шелестит опавшее...
Вот и снится с тех пор в ночи

разорённый склеп Некрасова старшего:
осыпная яма и кирпичи.

* * *

Как работяг на полюсе,
где замерзает ртуть,
ветер сгибает в поясе
и не пускает в путь.
Всё интенсивней тёмное
светлого визави.
Много осталось тёплого
в старой моей крови,
тёплого и мятежного.

Но в гулевой груди
ласкового и нежного
зверя не разбуди.
Стать бы тобою чаемым,
вновь заплутав в пути,
малоимущим фраером
лет двадцати пяти
с траченным «Примой» голосом.
Чтоб у замёрзших рек
сыпался нам на волосы
и парусинил снег.
Чтобы вдвоём с усильями
шли мы рука в руке,
шли...
И вожатых с крыльями
видели вдалеке.



Марина КУДИМОВА

Москва



БОЛЕРО

I

Низкий пролесок мглист,
Загород неказист...
Это ещё откуда –
В джинсах, а гимназист?

Полно пускать туман –
В детстве прочтён роман:
Ты не отсюда, мальчик, –
Ты из других времен.

Так, что ли, натошак,
Ныне столетний чах
В переэкзаменовках,
Комплексах и прыщах?

Если тебе под сто,
Ведаешь ли про то,
Что не испросит вида
Женщина на постой?

Надобен аноним,
Чтобы забыться с ним,
Но не исторгнуть душу,
А припасти иным.

Что ты через стерню
Вытянул пятерню?

Я ж про тебя всё знаю —
Я же не потяну.

Бомбами бредил, ну?
Жил на уроки, ну?
Намеревался в прачку
Перековать княжну.

Что ты, последний мой?
Небушко над тюрьмой?
Главный патрон в обойме?
Слушай, иди домой!

Этот нам не с руки —
Мороки-верняки!
Нам по душе притворы,
Буки и варнаки.

Чтобы свербело год,
Чтобы кривило рот,
Чтобы с весёлым сердцем
Камушек в огород!..

2

Был заменён сезон
Медленно, как сквозь сон,
И дожевала осень
Яблоко и газон.

Глянешь в окно — зима
Припоминаема:
Перистые гонимы,
В лысых ветвях — тесьма.

Так было год тому:
Он выплел тесьму,
Скатывались рябины
За обшлага ему.

Прошлое прожито,
Сношено, как пальто,
Вышло оно из моды, —
Память моя, ты что?!

Не о чем нам тужить!
Весело надо жить...
Прошное, дай мне руку —
Станем с тобой дружить!

3

Часу не пробыла —
Уж и доха бела.
Вязаная шапчонка
Голову облегла.

Завечерел район,
Снег упразднил проём,
Где бы фланер с фланером
Мог постоять вдвоём.

Так было год тому:
Выкралась в полутьму,
Чтобы снежок ядрёный
В спину послать ему.

Шарфик застрял в кустах...
Мальчик-то был — мастак:
Время остановилось —
Всё на своих местах.

В каверзах ли опять
Память подозревать,
Как в квартиранте зятя
Подозревает мать?

Вон безработный храм
Выбелен пополам,
Двор, где темны подъезды,
А на площадках — хлам.

Всюду, как ни верчу,
То, чего не хочу.
С выбракованным прошлым
Более не шучу.

4

Отзоревал апрель,
Грязный сутроб опрел,
Землю аж до фиалки
Нежный зюйд-вест прогрел.

Рано взошёл сморчок,
Рано зацвёл дичок,
Только лишь дуб волынит,
Дремлет, как старичок.

Чистая благодать!
Лето – рукой подать –
Высунуло из грядки
Тяпку по рукоять.

Скоро ему полоть,
Оздоровляя плоть
Глины и чернозёма
До урожая вплоть.

Здесь бы стоял шалаш –
Веточный ералаш.
В нём бы заночевали,
Буде такая блажь.

Он бы как будто спал.
С речки как будто – пар.
Клёкот в водовороте,
Чёрном, как будто вар...

Я хороша собой,
Он мне суждён судьбой...
Слёзы как будто градом
С клятвами вперебой.

Пусть вся душа в горсти –
Мне её не спасти,
Мне из неё не выйти...
Прошное, возмести!

В май голошу: «Ау!» –
Вряд ли и к Покрову

Отзвуки поколеблют
Давешнюю траву.

Как себе ни польсти,
Ты, гимназист, прости –
Я тебя не признала...
Прошное, возмести!

5

Не подымая глаз,
Как второгодник в класс,
Я возвратилась к людям,
Жить у них принялась.

Ты, суета, видать,
В курсе, как жизнь предать.
Боль вытесняют болью –
Это уж как пить дать.

Будет за годом год,
Будет ускорен ход,
Буду перемежаться,
Как телеграфный код.

Или же у дерев
Выучусь, закорев,
Кольца обратным счётом
Сбрасывать, постарев.

В возрасте минус ста
Наши сомкнём уста,
Минимум на столетье
Сдерживаться устав.

Слишком для нас проста
Бренности пустота.
Я тебя поджидаю –
Всё это неспроста.



Татьяна КУЗОВЛЕВА

Москва



* * *

Сергею Филатову

За что? – за зелёное и голубое,
 За каплю дождя, за листок зверобоя,
 За вечный и горький отечества дым,
 За всё, что когда-нибудь станет тобою,
 За всё, что вовеки не станет твоим –
 Неужто за всё, что не создано нами,
 Нам право рожденья даётся взаимы?

Какими словами, какими дарами,
 Какими трудами расплатимся мы,
 Когда за собой поведёт нас отсюда
 На свет и на суд Ариаднова нить?
 Мы смертны. Мы хрупки. Мы живы,
 Покуда
 Умеем прощать и умеем любить.

И счастливы тем, что не просим у неба
 Ни благ и ни манны лукавой судьбе,
 А только лишь силы
 и только лишь хлеба –
 По крохе голодным и кроху себе.

* * *

Тамаре Жирмунской

Скупей улыбки, встречи реже,
 Но всё же в сокровенный час
 В кругу ровесников мы те же
 И те же голоса у нас.

Мы пьём неспешными глотками
 За то, что снова мы не врозь,
 За лучшее, что было с нами,
 За тайное, что не сбылось.

И блещут тосты, строки, взгляды,
 И смех взрывается, звеня...
 Лишь зажигать огня не надо.
 Не надо зажигать огня.

* * *

Одной тревогой с каждым сведена,
 Одной любовью связанная туго,
 Я говорю: – Очнись, моя страна,
 И встрепенись от севера до юга!

По-царски ты возносишь судьбы ввысь.
 По-царски ты швыряешь оземь души.
 Очнись, страна, в любом из нас очнись
 И откровенья каждого послушай.

И разбуди всех, кто живёт во сне,
 Всех, кому совесть небеса даруют,
 Чтоб на вопрос:
 – А что в родной стране?
 Не донеслось:
 – По-прежнему воруют...

И между нами связь не оборви,
 Когда несу тебе по гребням буден
 Я горькое признание в любви
 Одной судьбы средь миллионов судеб.

СТАРИКИ

В одежде ветхой,
 с тёмными кошёлками,
 Со мглою катаракт и глауком,
 С отёчными, сухими, серо-жёлтыми,
 С одышкою, шажком, почти ползком.

Улыбчиво. Отзывчиво. Без вредности.
 Обидчиво. Сварливо. День за днём.
 На пенсию, что за чертою бедности.
 Перед чертой, где ни души крутом.

Изношены. Использованы. Выжаты.
 Унижены. Забыты. Не нужны.
 За прошлое своей страны —
 пристыжены.
 За собственные беды — прощены.

Мешается с землёй листва опавшая.
 Всё сызнова.
 Преемственность. Родство.
 Великая, и горькая, и страшная
 История народа моего.

* * *

*Выходит, что всю жизнь мы ждём убийства,
 что следствие — лишь форма ожидания,
 и что преступник вовсе не преступник,
 и что...*
 Иосиф Бродский

Посвящается Ялте

... и никто не знает, чья это была вина.
 Просто воздух убийства
 в парадном заночевал.
 Просто громко стучала
 о волнорез волна,
 Просто чаечьи горла
 пронзительный ор порвал.

Впрочем, может быть, это отчаянья
 женский крик
 По убитому или страсти последний стон.
 Всё сошлось в одно:
 Ялта. Сцена. Соблазн. Тупик.
 И кровавый дрожит у страсти в руках
 пион.

Ну а там, где соблазн и страсть,
 там судьба — мишень.
 Там случайно смерть
 из случайного бьёт ствола.
 И какая разница, ночь это или день,
 Если жизнь осталась,
 а страсть из неё ушла.

Там случайно всё: шахматист, капитан,
 Она.
 Капитанский сын с парабеллумом.
 Не хотел...
 На троих мужчин — выпадает одна
 вина,
 Каждый — сам по себе.
 Но один на троих прицел.

Кто из нас подспудно смерти своей
 не ждёт?
 Кто идёт домой, подворотен
 не сторонясь?
 И никто не знает, чья пуля его собьёт
 И что между ним и убийцей
 всегда есть связь.

И за всеми словами, так резко
 рвущими слух,
 Пантомима ломает и сводит
 за актом акт.
 И не важно — чайка кричит
 Или мечется Бродского дух.
 Просто смерть бывает случайной.
 И это факт.

* * *

Энергия любви и сила света –
 Миропорядок изначально прост.
 Не все вопросы требуют ответа.
 Порой важней, что задан был вопрос.

СТАРЫЙ ЗАМОК

Постой! Зачем входить туда,
 где, множа страх,
 Летучей мыши писк
 пронзительно-печален.
 Ведь прошлое давно здесь превратилось
 в прах,
 Лишь силуэт любви
 впечатан вглубь развалин.

Вглядись, здесь призрак жив
 того, кто был влеком
 Сто лет назад сюда неутолимой
 страстью,
 Полураскрытых губ кто целовал излом
 И кто на стол швырял
 тузы в четыре масти.

Ты видишь, он пришёл. Гляди, его рука
 Зелёного сукна касается любовно.
 И он спешит туда, где шелестят шелка,
 Где тесно для двоих и дышится
 неровно.

И, освещая свод, Луны сияет диск.
 И призрак меж руин,
 как будто на арене.
 Остановись! Оставь ему его каприз.
 И пощади его –
 не тронь чужое Время!

Василий КУЛИКОВ-ЯРМОНОВ

Острогожск, Воронежская область



СКАЗАНИЕ О ВИНТОВКЕ

1

Не учите. Я – с усами.
 И – винтовка на плече.
 Хорошо быть самым-самым –
 Лучше быть никем, ничем.

Жизнь – она и взрыв, и жалость,
 И завет на все года,
 Чтоб винтовка заряжалась
 И стреляла иногда.

2

То ли Бог, а то ли дьявол
 У штурвала, у руля;
 В мире держимся без правил;
 Бег замедлила Земля.

Вдруг спроворят остановку,
 Перекроют кислород, –
 Не поможет ни винтовка,
 Ни подпольная сноровка,
 Ни очнувшийся народ.



3

*862 год – первое упоминание
Руси в летописи.*

Гуси да лебеди спят –
Зорями отголосили;
Тысяча сто пятьдесят
Лет за плечами России.

Грудю-громаду эпох
Кровушкой перемололи, –
Что же застало врасплох
Ауру взлётов и болей?

Глас вострубил с высоты:
– Что за торговля Державою?!..
Как это ваши Щиты,
Ваши винтовки заржавели?!..

**ЖИВУ ЕЩЁ, ГРЕШНЫЙ,
ЖИВУ**

1

Зыграет утро... Полдень. Вечер.
Нагрянет ночь. Всю жизнь – одно.
С минуты свято-подвенечной
Живу, как свыше суждено.

И долго ль жить?..
А вдруг всего-то
Зарю-другую... И – каюк...
Померкнет доли позолота, –
И я оттопаю свой круг...

Но будет утро... Будет вечер...
И ночь – паренье ль, западня...
Подлунный мир – он вечен... вечен...
Но – без меня...
Но – без меня...

2

А что мне и Ваше участие,
И вольно сияющий взор,
И нежное Ваше запястье,
Коль ворон крыла распростёр
Над тем, что ликует меж нами,
Как некая завязь щедрот?..
...Неслышными – с дрожью – шагами
Нам дарит Судьба поворот.

3

В полнеба заря занималась,
Подъемля и сердце, и взгляд,
Но вскоре – о знойная жалость! –
В седой завернулась закат.

Я, вольный от ада ли, рая,
Беспечен, и резв, и удал,
Годами, ликуя, страдая,
Держал за ударом удар.

Я властные длани не славил,
Склонял лишь пред Богом главу
И, как исключенье из правил,
Живу ещё, грешный, живу...



Александр КУШНЕР

Санкт-Петербург



* * *

С.В. Волкову

Художник напишет прекрасных детей,
 Двух мальчиков-братьев
 на палубной кромке
 Или дебаркадере. Ветер, развей
 Весь мрак этой жизни,
 сотри все потёмки.

В рубашечках белых и синих штанах,
 О, как они розовы, черноволосы!
 А море лежит в бледно-серых тонах
 И мглисто-лиловых...

Прелестные позы:

Один оглянулся и смотрит на нас,
 Другой наглядеться не может на море.
 Всегда с ними ласкова будь, как сейчас,
 Судьба, обойди их, страданье и горе.

А год, что за год? Наклонись, посмотри,
 Какой, восемьсот девяносто девятый!
 В семнадцатом сколько им лет,
 двадцать три,
 Чуть больше, чуть меньше...
 Вздохну, соглядатай,

Замру, с ними вместе глядящий на мел,
 И синьку морскую, и облачность эту...
 О, если б и впрямь я возможность имел
 Отсюда их взять на другую планету!

* * *

Счастлив, кто посетил сей мир...

Ф. Тютчев

Страны, как люди, с ума
 Сходят. Безумие длится
 Долго. Спускается тьма,
 Что-то им страшное снится,
 Камни летят из толпы,
 Зданья горят и машины,
 Казни, расстрелы, гробы,
 Взрывы, аресты, руины.

Что это? Кто виноват?
 Вирус? Большие идеи?
 Пламенный лозунг? Плакат?
 Мойры, медузы и змеи?
 Религиозный надрыв?
 Вождь и послушная масса?
 Кто посетил – не счастлив.
 Кто не родился – тот спасся.

* * *

Отгородясь от мира ясенем,
 Кипящим за моим окном,
 Как будто с чем-то не согласен я
 И помышляю об ином,
 Но под живой его защитой,
 Как за зелёною стеной,
 Я не срываюсь, не завидую,
 Не рвусь, как воин, в вечный бой.

Я счастлив листовным кипением,
 Зелёным дымом без огня.
 И Блок, наверное, с презрением
 Посматривает на меня,

Или долгая жизнь ожидания
их превзошла?
Та загадочка простенькой,
будничной слишком была –
И чуть-чуть простодушной
глубокая кажется древность,
Или нет ничего удивительней,
чем повседневность?

Детство, взрослые годы и старость –
обычный удел.

Как они ни грустны,
потрясений бы я не хотел,
Революции я не хотел бы –
не лучше ли будни?
Сфинксы быть не велят безогляднее
и безрассудней.

* * *

Душа – элизиум теней
и хочет быть звездой.
Но звёзды знают ли о ней
в её тоске земной?
Они горят миллионы лет,
быть может, потому,
Что о душе
и речи нет у спрятанных во тьму.

Но, может быть, во тьме ночной,
в сиянье неземном
Звезда б хотела быть душой,
омытой летним днём,
И в хладной вечности своей,
среди надмирной тьмы,
Раскрыв объятия для теней,
быть смертною, как мы.

* * *

Питер де Хох
оставляет калитку открытой,
Чтобы Вермеер прошёл в неё
следом за ним.

Маленький дворик с кирпичной стеною,
увитой
Зеленью, улочка с блеском её золотым!

Это приём, для того и открыта калитка,
Чтобы почувствовал зритель
объём и сквозняк.

Это проникнуть в другое пространство
попытка, –
Искусствовед бы сказал
приблизительно так.

Виден насквозь этот мир –
и поэтому странен,
Светел, подробен,
в проёме дверном затенён.
Ты горожанка, конечно, и я горожанин,
Кажется, дом этот
с давних я знаю времён.

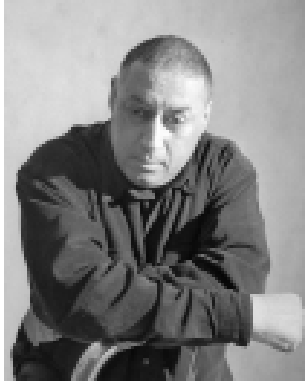
Как безыдейность
мне нравится и непредвзятость,
Яркий румянец и вышивка или шитьё!
Главная тайна лежит на поверхности,
прятать
Незачем: видят и словно не видят её.

Скоро и мы
этот мир драгоценный покинем,
Что же мы поняли,
что мы расскажем о нём?
Смысл в этом жёлтом, – мы скажем, –
кирпичном и синем,
И в белокожем, и в лиственном,
и в кружевном!



Сергей МНАЦАКАНЯН

Москва



ПОЭТ НА СТАДИОНЕ

К 80-летию со дня рождения Р.И. Рождественского

Это поколение выступало на стадионах. Конкретно, на самом большом стадионе страны – в Лужниках. Роберт Рождественский занимал своё место рядом с Евтушенко и Вознесенским. Ещё были Ахмадулина и Булат Окуджава. Помню, однажды в середине шестидесятых, ещё совсем молодой поэт, я был на таком выступлении. Трибуны, на которых расположилось несколько десятков тысяч поклонников современной поэзии, ревели от восторга. Так сегодня режут футбольные фанаты. Кроме «звезд», к которым тогда тесно примыкал Владимир Цыбин, читали стихи Александр Балин, Нина Бялосинская и уж совсем ныне забытый Иван Лысцов, писавший «на словаре Даля». Он прочитал своё мелодичное стихотворение «Словно лебеди на доли Лебедяни». Фронтовик Александр Балин читал жёсткое стихотворение «Нас рожал ночной бомбардировщик» и второе – о медосмотре перед призывом на фронт, когда в шеренгу выстроились «четыре тыщи голых мужиков»... В те годы все были вместе, в одной «команде» – правые и левые, почвенники и либералы. Их объединяла политика могучего государства.

Роберт Иванович родился 20 июня 1932 года в селе Косиха Алтайского края. Правда, Рождественским он стал позже – после развода родителей он получил фамилию и отчество отчима. Эта фамилия стала судьбоносной... Он начал печататься в Петрозаводске с 1950 года, и уже в 1956 году окончил литературный институт имени А.М. Горького. Читатели обратили внимание на гражданское звучание его стихов, на патристический пафос поэта. Он издал много книг, и, поверьте, они не пылились на полках магазинов. «Необитаемые острова», «Ровеснику», «Возраст», многочисленные избранные... Он писал не только гражданские стихи, у него много лирики: «Не привёз я таёжных цветов, извини, – писал он в ярком стихотворении «Таёжные цветы» – Ты не верь, если скажут, что плохи они. Если кто-то соврёт, что об этом читал... Просто, эти цветы луговым не чета! В буреломе, на кручах пылают, жарки, как закат, как облитые кровью желтки».

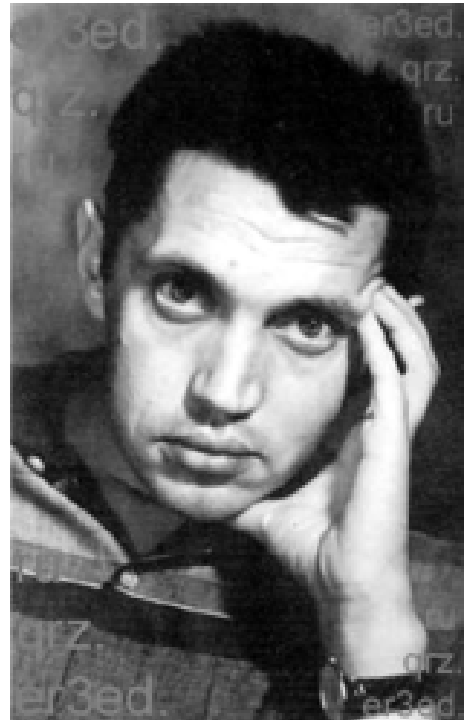
Он писал и большие поэмы – «Реквием», «Письмо в тридцатый век». Эта поэма – сочинение романтика, своеобразный гимн будущему. В те годы все верили в будущее. Многие верили даже в светлое будущее. С годами будущее приближалось, но становилось всё темнее и туманнее.

Однажды в середине семидесятых в «ЛГ» появилась статья, в которой критик, мягко говоря, пощипал Роберта Рождественского за орехи его поэзии. Тут началась буквально официальная истерика. Цэдээльские остряки шутили: «Руки прочь от Рождественского!..» В самом скором времени появилась хвалебная статья. Не думаю, что поэт организовывал похвалу самому себе. Всё это было смешно, но шутки шутками, а вопрос всё же ставился серьёзно: Роберта Рождественского любили, а его песни знала вся страна. Достаточно только назвать песню из фильма «Семнадцать мгновений весны»... А оглушительная «Свадьба» остаётся и в наши дни многолетним советским шлягером – её можно было услышать в парках культуры, ресторанах, на свадьбах от края до края СССР, да и сегодня её время от времени поют с прежней удалью и размахом. Размах – это то, что из поэзии Рождественского не вычеркнешь.

На его стихи писали музыку Пахмутова, Таривердиев, Птичкин и другие известные композиторы. А песня «Что-то с памятью моей стало» звучала много лет, и именно эта строчка стала произноситься не только всерьёз, но и с улыбкой. «Что-то с памятью моей стало», – шутя, произносили многие...

Мне довелось познакомиться с Робертом Ивановичем на одном из совещаний молодых писателей, которые в те годы щедро проводились писательским союзом и комсомолом. Конечно, наше знакомство не перешло в дружеские отношения – слишком велика разница между тогдашним «баловнем» Советской власти и молодым поэтом, но доброжелательное знакомство осталось и проявляло себя при встречах в писательском ареале обитания. Помню Роберта Ивановича – постоянно в кожаной куртке, в рубашке обычно с галстуком, с парой характерных тёмных родинок над верхней губой и на щеке. Он, судя по всему, любил кожаные вещи как некий символ стабильного, надёжного, неизносного... Я запомнил его не только в кожаном пиджачке, но и в каком-то мощном кожаном пальто, длинном, непробиваемом, как латы гладиатора. Он был доброжелательно-спокоен, подчёркнуто-внимателен, в нём не было того суетного высокомерия, которое частенько прорывалось в тех, кто был вхож в «цековские» коридоры Старой площади.

В 1979-м Роберт Рождественский стал лауреатом Государственной премии СССР за поэму «210 шагов». «210 шагов» – очень конкретное название, сегодня уже не вполне понятное: это был путь кремлёвского патруля на пост №1 – к Мавзолею В.И. Ленина. Многие считали, что новая поэма поэта – просто «премиальная акция». Советская



интеллигенция частенько во всяком внимании к власти и стране усматривала корыстные мотивы. А ведь можно посмотреть на это и по-другому: недавний безвестный паренёк из затерянного села Косиха просто писал о своём – кровно необходимом. Это была его страна, его власть, и он не стеснялся, как иные из коллег в те годы, прямо говорить об этом.

Может быть, именно поэтому не кто-то из лицемерных друзей Высоцкого поддержал своим авторитетом первый посмертный сборник всенародного барда, а именно Роберт Иванович. Думаю, что его предисловие к книге Высоцкого «Нерв» стало гарантией выхода этого сборника в издательстве «Современник». С только что вышедшей книгой случилась авантюра: где-то на пути из типографии на книжные склады пропал чуть ли не вагон тиража «Нерва», с предисловием Рождественского.

Как это часто бывает, за успехом, за стадионным рёвом, за популярной музыкой песен нельзя было рассмотреть реальное лицо поэта. А ведь у Роберта Рождественского (и с годами всё больше) было много серьёзных стихов, философских и афористичных строк, которые запоминались с первого прочтения. Я и сейчас, не заглядывая в книги, могу немало процитировать на память и, думаю, без ошибок. Вот, например, несколько пышные, но всё равно запоминающиеся строки: «Красивая женщина – это профессия, все остальные – сплошное любительство» или печальное «Это не время проходит. Это проходим мы».

Проходило всё-таки время. В девяностые годы недавнего века Роберт Иванович уже был тяжело болен. Он умер 20 августа 1994 года. Было ему шестьдесят два года – не так уж и много по современным понятиям. За год до смерти 4 октября 1993-го подписал печально известное «Письмо 43-х». Там было написано: «История ещё раз предоставила нам шанс сделать широкий шаг к демократии и цивилизованности. Не упустим же такой шанс ещё раз, как это было уже не однажды!». Беда была в том, что Россия непримиримо разделилась на правых и левых, на либералов и почвенников. Рождественский оставался со своими друзьями, даже если они были неправы. В политических страстях и идейной сваре тонуло само понятие о том, что такое демократия. Увы, тот самый шанс исчезал на наших глазах.

Наше общество редко вспоминает поэтов – даже живых. Но Роберта Ивановича помнят – даже не по имени, помнят по его песням, по его не теряющим свежести строчкам. И снова звучат протяжные песенные строки из фильма «Семнадцать мгновений весны», жалостливая, ставшая почти народной песня «Сладку ягоду брали вместе, горьку ягоду – я одна...». И конечно, поёт и пляшет лихая «Свадьба» знаменитого советского поэта. 20 июня 2012 года ему исполнилось бы восемьдесят лет. Но не исполнилось – осталась только памятная дата и книга поздних, уже послесоветских стихов, отмеченных мудростью и печальным покаянием... А жизнь закончилась ещё в прошлом веке.

Сегодня можно сказать, что творческий путь поэта промелькнул на гигантском стадионе советской жизни.



Валерий ЛАТЫНИН

Москва

**САНСКРИТ**

Веками наше прошлое сокрыто,
Курганами, загадкой пирамид.
Но корневым созвучием санскрита
Прошедшее с грядущим говорит.

Отгадка там для мыслящих потомков.
Река племён не повернётся вспять,
Но ответвление родственных потоков
По языку мы сможем отыскать.

ТРЕВОЖНЫЙ СОН

Ты снова плакала во сне —
Видения смутили душу.
Прижмись, любимая, ко мне
И ровное дыханье слушай.

Ночные призраки уйдут,
Лишь только прошепчи молитву.
Над нами ангелы ведут
Невидимую людям битву.

Непросто выживать сейчас,
Так много демонов повсюду,
Но воины Христовы нас
Спасать по нашей вере будут.

Молись. Не верь в победу зла.
Молись и действуй во спасенье.
Молитва многим помогла
Спасти не только в сновиденьях.

НА ГОРЕ БЕЛАСИЦЕ

Тишина на безлесной вершине,
Поднебесный простор и уют.
Только овцы пасутся в долине,
Облака по распадкам плывут.

Очень скромно уют человеческий
И к жилью-то причислить нельзя.
Пахнет зноем и шерстью овечьей,
Золочёная солнцем земля.

К роднику собираются птицы.
Глаз косит жеребец вороной.
И на время легко отстраниться
Здесь от вечной мороки земной.

Дышит даль первозданным покоем,
Удивляет своей красотой.
И в душе ощущение такое,
Будто к Богу попал на постой!

МОРСКОЙ ПОХОД*В.А. Мищенко*

В пустыни моря тает пенный след.
Луны прожектор за кормою светит.
Она, как пастырь, миллионы лет
Следит за жизнью голубой планеты.

Что ей века, тысячелетья что,
Людских судеб трагичные изломы?
За жизнь её их столько здесь прошло,
Точнее — промелькнуло, как фантомы!

А мы вот ищем русские следы,
Идя маршрутом сгнувшего флота,
Поскольку отголоски той беды
Ещё не отболели для кого-то.

И нас ведёт к далёким берегам
Неистовая вера пилигримов,
Что сам Господь указывает нам,
Что Русский Мир собрать необходимо!

УГАСАНИЕ

В.И. Фирсову

Сигарета в бледных пальцах тает.
Мой учитель тихо угасает.

Истончились пальцы, ослабели.
Мир сомкнулся у его постели.

Посидит. Покурит. Вновь ложится.
Но от мыслей горестных не спится.

Чиркает опять он о коробку,
Чтобы огонёк затеплить робкий.

Свет от спички, дым от сигареты...
Благодарен Богу и за это.

Причастился и соборовался,
Ко Христу в последний путь собрался.

Рядом — книги, ордена, медали.
Имя — на отеческой скрижали.

Но связуют с этим бранным светом
Память и дымок от сигареты.

Александр ЛЕОНТЬЕВ

Санкт-Петербург



РЕМОНТ

Вытоптанная побелка, извёстка,
Ключья газет, — как при вечном ремонте...
Выкроишь взором лишь край

перекрёстка —
И никакого тебе Пиндемонти.

На переломе зимы, на развале
Мёртвых сугробов, их гипса, асбеста,
Ты завершённость отыщешь едва ли,
Цельность: не *место* повсюду, а *вместо*.

Только в садах, где продавлен тенями
До синевы, только в парках ветвистых
Стынет в воздушной полуденной яме
Снег — из пластов алавастро-чистых.

Будет ли выбелен либо разрушен
И перекрашен травой на газоне
Зимний развал? Только, кажется, нужен
Он — и к лицу — нашей парковой зоне.

Робость, невиданная в экстраверте,
То есть в природе, присуща полянам
Между деревьев... О жизни и смерти
Мысли направить туда не пора нам?



Светлана ЛЕОНТЬЕВА

Нижний Новгород



* * *

После хлебного Спаса – за сутки
осыпь листьев тяжёлых в саду.
Отгуляли, жирея, голубки
и птенцы –
на хлебах, на меду.

Их собратьев, чьи тяготы – в лёгкость,
собираться на юг в перелёт,
время осени, словно бы лопасть
тихо втягивает в поход.

Впрямь пора!
Позабыть все обиды
и простить их, печаль затая.
Засыпаю и чую – планиды
под спиною, и с крыльями я...

Неужели закончилось это –
сочноцветье? И лепет зари?
Впереди снова стужи да ветер,
сны – в полоску, и в круг – фонари?

Птицы, птицы. И пьяно, и сыто
вы отбразничали,
и летим,
помолившись Святому Антипу,
по Московии в Прагу и Рим.

Мы крикливей вселенной.
Гортанней
Этих звёзд, этих махоньких фраз!
И когда мы кричим: до свиданья, –
то лучи золотятся, лиясь!

* * *

...И расширяется пространство.
К кому идёшь ты, добрый снег?
Какие приготовил яства
для сочных, полнокровных рек?
Или безденежья проказу?
Или достаток, неги сласть?
И надо же, чтоб мне так сразу
и гордо с этим всем совпасть!
Я современна, аж по горло
эпохе, взглядом и умам!
По грудь увязла. Ноги стёрла.
До страсти накалила ямб.
И телом всем предстала рьяно.
Коленей яблочных разбег
под нежным ситцем сарафана
туда, куда стремится век!
Волна реки. Листочек леса.
Огонь мартеновской печи.
И лишь одно мне интересно:
о, свет очей, куда ты мчишь?
Меня не одолеют бесы,
и падший ангел не проймёт!
Пасхальным да изюмным тестом
я пахну, словно сладкий мёд.
И если посчитаем вещи,
планеты и антимиры,
в итоге все они конечном:
единой нежности дары...

* * *

На холсте горят созвездья клином...
Боже мой, но как же хороша –
Та, что не написана картина,
словно засиявшая душа!

Словно не рождённый, но зачатый
мир, как будто бы цветочный пух.
... Слышу, слышу разговор невнятный
нянюшек, старушек, повитух.
Собрались напрасно! Не случилось!
Не свершилось! Выпита земля...
Но опять, опять во сне приснилась
песня лебединая моя.
На холсте горят созвездья клином,
на холсте — синё, красно, светло,
то ли я, то ль Богоматерь с сыном,
белым пухом землю занесло!
Я б гвоздём прибила утром к стенке,
и на раму натянула холст,
если можно передать оттенки
чувства, что во мне сейчас зажглось!
Яростно! Бездумно! Безутешно!
Солнце плачет и луна вопит!
И земля — вся в белом-белом пухе...
И младенцем мир кричит навзрыд!

* * *

Здесь лягушка на камне — гадалкой
восседает на прямом лугу.
Ну, так что ж! Проживу хоть русалкой
в этом домике на берегу.
Распущу свои длинные косы
под пиликанье воробья.
Жаркий полдень, комар длинноносый,
пара ласточек — доля моя!
Это всё, что досталось отныне,
для невесты приданое — мне!
И лениво плывёт по равнине
солнце, словно варенье в вине.
Вышивай да пиши свою повесть,
если хочешь, пиши не одну.
Вот уж скоро загаром покроюсь,
как и все на Руси, в рыжину.
И от нежности, хлынувшей разом,
от премудро открытых полей
было видно прозорливым глазом,
как земля становилась светлей.

Евгений ЛЕСИН

Москва



* * *

Кто дерётся мольбертами.
Кто дерётся попитрами.
Фестивали с концертами.
С неизбежными литрами.

И лежу я в подпитии,
Чрезвычайно ослаблен.
Где-то тут в общежитии
Города Ярославля.

Не протестной, лирической.
За Байкал и за Припять
Ярославской «Классической»
Хорошо бы подвыпить.

Кто пугает невестами,
Кто летает драконами.
Кто на драку с арестами.
Кто на митинг с ОМОНами.

Время ныне свободное.
Власть такая арбузная.
То ли пойло народное.
То ли «ойла» союзная.

* * *

Поэзия должна быть без трусов.
Поэзия должна быть глуповата.
Воздушна, словно сахарная вата,
Кораблик, без руля и парусов.

Поэзии совсем не нужно слов.
Поэзии достаточно молчанья.
Ногою над водой реки качанья.
Таков ее разборчивый улов.

Поэзия видна и не видна,
Она то богатеет, то нищает.
Поэзия долгов не возвращает.
И, кстати, ничего вам не должна.

Поэзия – как стрелка от часов.
Сама себе показывает что-то.
Поэзия приходит, как икота.
Поэзия должна быть без трусов.

* * *

Я ненавижу все происходящее.
У нас в стране. Да и за рубежом.
Вы дайте мне другое настоящее.
А будущее...
Как-нибудь потом.

* * *

Обманут, предан, разуверен,
Унижен собственным ребром,
Смотри: лишь только в ноосфере
Зло соревнуется с добром.

Пока за нас все силы света,
А против нас все силы тьмы,
Одно лишь нужно от поэта:
Смуцать тревожные умы.

Ребро свое, да больно лихо.
И ничего не запахло.
В раю тепло, темно и тихо.
В аду и шумно, и светло.

В аду все явно не чужие.
В раю и пикнуть не с руки.
В раю лишь дети да больные,
В аду сплошные старики.

А тут опять, живой и подлый,
Открыв и ноги, и живот,
Капризный, лживый и холодный,
Шашлык на ребрышках идет.

* * *

Боишься смерти, ада и людей,
Боишься слов латинских и английских.
Боишься власти, собственных идей,
Небытия боишься и за близких.

Боишься ночи, вечера и дня.
И утром тоже страшно и тревожно.
Полиции боишься, как огня.
В глаза не смотришь, ходишь
осторожно.

Боишься пешеходов и собак.
И в городе родном - нерусской речи.
Боишься сделать что-нибудь не так,
Боишься, что ответить будет нечем.

Боишься солнца, воздуха, воды.
И засухи боишься, и болота.
Боишься испугаться ерунды
И сам боишься напугать кого-то.

Боишься суеты и темноты,
Боишься перемен и постоянства.
Боишься высоты и темноты.
И подлого закрытого пространства.

Боишься не найти и потерять.
Боишься заблудиться, обознаться.
И главное: боишься перестать.
Боишься перестать всего бояться.

* * *

В трамвае ехала старушка.
В окно увидела подружку.
И постучала ей в окошко.
А та несла свое лукошко
К себе в нехитрую избушку.
Пожала плечиком старушка
И улыбнулась благодушно,
Хотя и горестно немножко.



Игорь ЛОГВИНОВ

Москва



МОЕЙ МАМЕ

Когда сырой ноябрь упрямо
Вершил осенние дела,
Моя бесхитростная мама
Меня для счастья родила.
На старой блеклой фотографии
Я в курточке и в ползунках,
Не зная правил орфографии,
Сиж у мамы на руках.
Ах, материнство одинаково
В любом году, в любом краю,
«Мадонну» кисти Леонардовой
В своей я маме узнаю.
Уже на улице смеркается,
А мама смотрит в объектив
И так счастливо улыбается,
Мечтою жизнь опередив.
На маме шерстяная кофточка
И платье – ситец или шелк,
И ей, конечно, очень хочется,
Чтобы из сына вышел толк...

СТАРЫЙ СКВЕР

Ностальгическим чувством влекомый,
Без которого жить не могу,
Я войду в этот скверик знакомый,
Где деревья застыли в снегу.

Там в заброшенной тесной аллейке
 Грустный пир свой вершат алкаши,
 А когда-то на той вон скамейке
 Целовались с тобой мы в тиши.
 Я легко в небеса поднимался,
 Твое имя шептал как в бреду...
 Все исчезло, а скверик остался,
 По которому молча бреду.



Борис ЛУКИН

Рузский район, Московская область



* * *

Уснуть мешали ветер и вода,
 иль шлёпанцы соседа:
 вот когда
 нет дела до него, и потому
 он сетует на это.
 Не спешу
 побриться на ночь, –
 чистого белья
 беспечность достаётся одному.

И снег, и молоко груди твоей:
 причуда солнца, тень от наших тел...
 Друзья и книги развлекали нас
 ничуть не больше.
 Впрочем,
 тем милей,
 коль вспомнилось и шарканье дверей
 непригнанных, и отчество вина.

Иначе Рождество – всё снег да снег,
 как будто выбираем по спине кровать.
 Подобная тоска –
 в остатках ужина,
 где ложка на виду –
 почти причина, тема для забот...
 когда бы не последняя строка.

КОНЕЦ

Когда размечет молния восток
 И колесница смерти пронесётся,
 Судьба отбарабанит точный срок
 И вечер в вечной бронзе отольётся, –
 Ужели Бог убитых воскресит?
 Смерть одолев, осушит слёзы вдовьи?
 Живой водою раны окропит
 И молодой наполнит вены кровью?

И поседевший век мне прошептал:
 «Снежок мои вершины обметал».
 А от земли я услышал ответ:
 «На мне живого места просто нет –
 Сплошь выжжена огнём душа моя,
 Лишь слёзные не высохли моря».


**Светлана
 ЛЯШОВА-ДОЛИНСКАЯ**

Старая Калитва, Воронежская область



* * *

Кто-то снаружи сквозь небо смотрел
 и молчал:
 И замирало земное, его узнавая...
 Боже мой светлый, откуда такая печаль?
 Боже мой дивный, и ясность
 откуда такая?

Этот игрушечный хрупкий
 мерцающий шар
 В шрамах слепых самолётных
 клубящихся линий!
 Каждое слово и каждый обманчивый
 шаг
 Как отдаются в тревожной его
 сердцевине...

ОН

Он ещё не рождён, этот мальчик,
 бегущий прокосом.
 Разрывающий звонкую сеть
 комариного сна,
 Не касаясь земли...
 Уберите снующие косы!
 Он ещё не рождён. И безвестны
 его имена...
 Он ещё не рождён.
 Он ещё между зыбкими «ныне»,

В глицериновой зыбке бесформенных
 вяжущих рек.
 Он ещё не рождён, из янтарной ячейки
 не вынут
 Сквозь агонии снов за границами
 сомкнутых век.
 Подождите его на звенящих
 российских развилках,
 Разглядите его в полусвете
 нездешних икон.
 Он в пространствах иных, разбегаясь,
 скользит и резвится...
 Он пока ещё снится церквям.
 Он ещё не рождён.

* * *

Как хорошо, когда полы помоешь
 И станешь ждать любимого домой,
 О самом главном Господа помолитишь,
 Наденешь платье с солнечной каймой.
 Как хорошо, когда труды по силам,
 Когда есть хлеб и слово про запас.
 Как хорошо, что мы живём в России,
 Где труд и бедность не оставят нас.

* * *

Как в капкане луна. Как железная клеть
 Эта ночь с холодком вероятного сглаза...
 Я уже устаю в эти окна смотреть,
 Выдыхая луны золотую заразу.
 Из живого стекла эти стены тонки.
 Но попробуй разбей —
 и исчезнет пространство...
 Кто-то, строящий мир, заложил тайники:
 Красоту, и любовь,
 и смятения странствий.
 Как в сосуде огонь, как в неволе полёт,
 Ни к чему, ни зачем, то мечта, то обуза,
 Отравляясь, душа в этой склянке живёт,
 И всё крепче болит этот
 солнечный узел...

Елена МАКСИНА

Москва — США



МОСКВА

Москва... как больно в этом звуке
 и ветрено, прохладно как...
 Хоругви рек полощут руки
 на леденящих сквозняках.
 Но не отмывать Канал от крови,
 пока Манеж горит в лесах,
 ордынский век ревет по-вдовьи
 и прячет пепел в волосах.
 Летает дым над пепелищем,
 добычу пробуя на звук,
 и на обед находит нищий
 расклёванную горстку букв.
 Останки осени слагая,
 он тронет жертвенную «ять»
 и речь отборная, нагая
 пойдёт по Пушкинской гулять.
 И маятник на Спасской башне
 оглохнет от её гульбы,
 падёт на мостик Патриарший
 под ноги уличной толпы,
 где надувает снегом щёки
 собор, закованный в скафандр,
 где в тихий дом спешит Нащокин —
 с поэмой будет Александр.

НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ

чайник присвистнет,
варенье на блюде блеснёт,
вишни в окно застучат
монотонно и гулко,
на батарее трёхшёрстный
упитанный кот
сладко потянется
и ускользнёт на прогулку.

пруд.
ветви ивы
и рыжие лапки гусей.
преданный взгляд деревенской линиялой
дворняги.
церковь без купола — кинотеатр и
музей,
очередь за молоком и за хлебом
в сельмаге.

...было
когда-то,
а кажется, только вчера —
вкус погранички,
репы в волосах,
помидоры
в валенках зреют на полке,
шумит детвора
в прятки играя,
и прячется счастье за шторой...

СМОРОДИНА

двенадцать лет без чувства родины —
как без кола и без двора.
кислы плоды чужой смородины
из золочёного ведра.
горчат ворованные ягоды,
и ядом брызгают в тетрадь,
и между строк алеют — надо бы
слова в молитву собирать.

на даче дедовские яблоки
слезами катятся в траву,
а я плыву в чужом кораблике
по речке детства и реву.
и память щиплется, и колется,
и разъедает нрав и быт,
года выходят за околицу,
плывут по линиям судьбы.

но мне за ними не сподобиться,
быстра летейская вода,
и не молитва, а пословица
слова уносит в никуда.
пытаю прошлое вопросами
и просьбой мучаю святых,
чтоб мостик в детство перебросили
двенадцать ангелов родных.

ЩЕНОК

Вот снимок: деда отпевали,
ковши врезались в мёрзлый грунт,
гудки рыдали на вокзале
пятнадцать траурных минут.
Оркестр гремел от Привокзальной
до Коминтерна. Пришлый поп
учил науке поминальной
под сбитым куполом сельпо.
Мне девять лет, и девять жизней
в запасе, некуда избыть, —
монашки смотрят с укоризной
и гонят ладан из избы,
и, причитая на иконы,
с окладов соскребают воск.
Я помню дедовы погоны
с эмблемою дорожных войск,
и китель в пятнах от махорки
с двухцветной ленточкой в петле.
Почившему нет места в морге,
есть — на обеденном столе.
И до и после будут гости
чай по скатерти гонять.

Так на разостланном погосте
 всё небожитие – кровать,
 вся жизнь – прощальное застолье,
 вода и водка, гжель и хмель.
 Вернувшись в город свой престольный,
 я не забуду карамель
 в сырой земле, утят в канаве,
 ограду, вянувший венчик,
 шрам, что на память мне оставил
 в тот день украденный щенок.



Мария МАЛИНОВСКАЯ

Гомель, Беларусь



* * *

Снег без неба, дни без счёта,
 Тянет вниз молитва – и
 С ней по снегу ходит что-то,
 А глаза ещё – твои...

До душевной амнезии –
 «Отче наш» разы подряд.
 Что в святых местах России
 С лучшими людьми творят?

Стой, опомнись! Для того ли
 Ты? Мятёжный, ясный ты...
 Церковь, где лишают воли?
 Знать, с могил на ней кресты!

Лишь Псалтырь в церковном сквере...
 Вновь и вновь по снегу с ней...
 Если так приводят к вере –
 Уводящие честней.

* * *

Глаза открываю – землями:
 Моря солонны вокруг.
 Какими дурными зельями
 Любимые поят с рук...

Я в пурпурном платье, белое ж —
Напрасный портняжный труд.
И что ты по храмам делаешь?
Такие там лишь крадут.

В последнем твоём апреле ведь
Не в море ушла вода.
Я буду тебя расстреливать
За каждое «навсегда».



Мария МАРКОВА

Вологда



* * *

Лето странное, лето пустое.
Постоянно тревожат дожди,
и деревья, уснувшие стоя,
прижимают кукушек к груди.

«Кукушонок ты мой, кукушонок», —
повторяют во сне тополя.
А под ними лежит пастушонок
и над ним проплывает земля.

Он пасёт Козерога и Рыбу
в голубом молоке у реки
бесконечно, как прошлое, ибо
мы проснёмся с тобой — старики.

Мы проснёмся у самого рая
под дождём и узнаем тогда,
не кукует ли кто, отмеряя,
нашу длинную жизнь без следа.

Мы проснёмся у самого рая
и увидим, как ночью, зимой,
пастушок в молоке погоняет
Козерога и Рыбу домой.

* * *

Обычный парк, пустой, больничный,
запущенный, как божий сад,
где войны – птички, дразги – птички,
где тополя навек стоят
и белы сумерки июля –
так пух с ветвей летит насквозь, –
а мы в него, как в дверь, шагнули,
и всё внутри – оборвалось.

Здесь свет.
Здесь время без изъяна.
Незамутнённая вода.
Здесь мы пребудем постоянно.
Здесь мы пребудем постоянно.
А это значит – навсегда.

А это значит, длится, длится
июль, и наша смерть дотла
сторает, как одна страница,
неповторима и светла.



Новелла МАТВЕЕВА

Москва



* * *

Шагнув за Гулливером, – не о том
Я думаю – как много всякой жути
Он встретил на пути своём крутом,
Столь безотрадном
и глухом по сути;

Я, как ни странно, думаю... о ртути
В термометре! О Веке золотом,
Что изобрёл барометр, метроном,
Часы на металлическом прикруте,

Лот, компас...
И душа невольно рада,
Что где-то у скитальца за спиной
Встаёт цивилизация стеной,
Спасающая мысли от распада,

А значит, есть у горемыки друг
Меж грозных травль
и безразмерных мук.

В ОХОТНИЧЬЕМ АЗАРТЕ

Есть удивительные нелюди!
Они мамоной рождены
Людей босыми гнать по наледи
И за вину и без вины!

Олег МЕЛЬНИКОВ

Пикалёво, Ленинградская область



* * *

Землю вновь заморозило,
Замело всю пургой.
Над Ивановским озером
Тишина и покой.

Через озеро в замети —
Голубая лыжня,
Словно ниточка памяти
От тебя до меня.

Вслед за памятью бросовой
Я тянусь, как могу,
К светлой роще берёзовой
На другом берегу.

Где из снежного крошева
невозвратного дня,
Из далёкого прошлого
Всё зовешь ты меня.

* * *

Такой естественной гордыни
Я никогда не видел, нет!
Твой профиль — копия богини
Чеканки эллинских монет.

Воспеть бы мог поэт великий
На мелодичном языке
Зрачков мерцающие блики
И эту метку на руке.

Кто повстречал тебя однажды,
Тому, видать, Господь велел
Всю жизнь страдать любовной жаждой
На этой суетной земле.

ПАМЯТЬ

Покачнулось сердце от испуга,
Расплескало горе по земле:
Навсегда потерял голос друга
Посреди больничных тополей.

Разорвалось сердце на восходе,
Лебединой песни не сложив,
Лишь июль мелодию выводит
Ветровым смычком на струнах жил.

И пускай бредут посмертно цугом
То хула, то почести елей,
Навсегда умолкло сердце друга,
Растворилось в памяти людей.

ГРОЗА

Листья жухлые плачут звонницей,
Ветер мечется, голося.
Хлынул дождь половецкой конницей
Собирать по Руси ясак.

В небывалом разгуле диком
Туч надвинулась пелена.
Словно орды помчались с гиком,
Приподнявшись на стременах.

Только русичам страх неведом:
Быть рабами не их удел.

И летели, неся победу,
Огневые зигзаги стрел.

Гром грохочет, как голос ратника,
Мы достанем тебя, стой!
И упала над полем радуга
Ханской саблею золотой.

Луч пробил в облаках оконце
Камнем, пущенным из пращи.
Над землёю всходило солнце,
Как червлёный славянский щит.



Дмитрий МИЗГУЛИН

Ханты-Мансийск



БАБЬЕ ЛЕТО

Пора уходящего лета.
В такие минуты, поверь,
Покажется солнцем согрета
Печаль невозвратных потерь.
Но ныне погоды иные,
И бабьего лета не жди.
В районах Центральной России
Идут затяжные дожди.
В тумане промозглом деревня...
Как тихо на вечной земле!
Лишь только качают деревья
Ветвями в сиреновой мгле.
Ленивые струи стекают –
Тяжёлая это вода.
Уже не гудят, а вздыхают
Натруженные провода.
Три дня не выходишь из дому,
Часами сидишь у окна,
И одолевает истома
Дневного, тяжёлого сна.
Но вот начинает смеркаться,
Уже не видать ни черта,
Как вдруг начинают казаться
Знакомыми эти места.
И чувство, знакомое очень,
Как будто когда-то с тобой...
Быть может, промозглая осень

С твоей пошутила судьбой?..
 Не вспомнить. Не вспомнить. И память
 В помощники ты не зови.
 Ведь всё это было не с нами,
 Но в нашей осталось крови:
 Забытые песни, дороги,
 Заросшие лесом поля
 И тяжесть осенней тревоги,
 Дождливых ночей сентября...
 И вдруг пожалеешь впервые
 О том, что уже позади...
 В районах Центральной России
 Идут затяжные дожди.

* * *

А скорый поезд мчится ночью
 По растревоженной земле.
 И огоньки и огонёчки
 Летят навстречу мне во мгле.

Гремят раскатистые стуки...
 Любовь и ненависть вразброс.
 И наши встречи и разлуки
 Летят со свистом под откос.

Меняешь всё без сожаленья.
 Летишь сквозь звёздную метель,
 Осознавая, что движенье —
 Твоя единственная цель!

* * *

Застыл на распутье — не знаешь,
 Проблемы — куда ни пойдёшь:
 Налево — коня потеряешь,
 Направо — любовь обретёшь...
 Но ты молодой и упрямый,
 Уверенно выбрал свой путь,
 Решаешь — всё прямо и прямо
 Вперёд — ни на шаг не свернуть!
 Ни недруга рядом, ни друга,

Молчанье — зови не зови.
 В тумане промозглом округа,
 И нет ни коня, ни любви...
 И нет ни привала, ни крова,
 И нет ни крыши, ни дна.
 Тебе лишь дорога — основа,
 Тебе только вечность дана.
 И дали, туманные дали,
 Где края достигнешь едва ли...

* * *

Надрыва не надо и фальши,
 Закончились светлые дни,
 Простили друг друга и дальше
 Пошли по дороге одни.

Любовь ли, сомнения, жалость,
 Но вспомнится что-то подчас:
 Ведь всё-таки что-то осталось,
 Вселилось, впечатилось в нас...

Подашь на прощание руку,
 И взор отведёшь не спеша,
 И эту мгновенную муку
 Навеки запомнит душа.

* * *

Лето на исходе, на излёте.
 Чайки пролетают не спеша.
 Я плыву на белом теплоходе
 По зелёным водам Иртыша.

Чтобы побывать в тобольском граде,
 Что хранит величие страны.
 Там, где ждёт меня мой друг Аркадий —
 Собиратель русской старины.

Мы — в кремле. И прямо перед нами
 Ширь земли — куда ни бросишь взгляд.

В небе вперемешку с облаками
Купола ажурные летят.

Вот она – сибирская столица
Воинов, монахов, каторжан.
Я всмотрюсь в задумчивые лица
Нынешних тобольских горожан.

Обопрусь на белый тёплый камень,
Посмотрю в синеющую высь...
Господи, а что же стало с нами?
Отчего мы быстро так сдались?

Уступили напрочь супостатам;
Земли, небо, помыслы и сны.
Позабыли времена и даты
Прошлого величия страны!

Исчезаем буднично и просто.
С высоты небесной в никуда.
Оставляем храмы и погосты,
Покидаем сёла, города...

Что ж теперь? Теперь сажать деревья!
Ну и пусть нам больше здесь не жить,
Будет липа в вымершей деревне
С тополем на русском говорить.

И глаза усталые закроя,
Буду слышать в жизни неземной,
Как шумит весеннею листвою
Дерево, посаженное мной!

* * *

В нашей жизни всё предельно просто:
Вечность спрессовалась до минут –
От роддома жизнь и до погоста,
Как один автобусный маршрут.

Всё размыто – судьбы, даты, лица...
Жизнь, как неизвестная игра.

Школа, институт, завод, больница,
Кладбище – конечная – пора!

И греша, вздыхаешь виновато –
Эта жизнь даётся только раз,
Но об этом всё уже когда-то
Мудро написал Экклезиаст.

В час, когда нагрянет смерть-старуха,
Подведёшь черту под «итога»...
Суета сует. Томленье духа,
Пустота и больше ничего.

В поднебесье тускло тают звёзды,
В темноте круги сужает бес,
Но поверь, что никогда не поздно
Будет достучаться до небес.



Евгений МИНИН

Иерусалим, Израиль

**ВЕНЕЦИЯ**

*Молитва в Сан-Микеле по Иосифу
Бродскому*

* * *

*Барух ата адонай Элогейну
мелех аолям...*

Дай тишины душе —
ей многого не надо,
лишь где-то в уголке
устало прикорнуть.
А у поэта жизнь — всегда частичка ада,
и тот крошечный мир
не утрашит ничуть.
Дай тишины душе, позволь
смежить ей веки,
лишь горечью её поили из ковша.
Прими слова мои об этом человеке,
он книгу завершил —
и пусть уснёт душа.

Амен!

* * *

Последний раз на Сан-Микеле
ползёт устало вапоретто,
где, упокоясь, спит в постели
душа ушедшего поэта.

Всё кануло —
вердикт судейский,
изгнания горечь,
речь живая...
И лишь кругом, по-иудейски
Стоят, обнявшись, горько свай.

* * *

Жить на свете значительно легче,
Хорохорясь, сжигая мосты,
В ожидании будущей встречи,
С воплощением тайной мечты.
И появится джинн из сосуда,
И забросит в невиданный край
Где домов разноцветное чудо
И гондолы у согнутых свай.
Где воды торопливая зелень,
Норовит перепрыгнуть порог
И ночным обжигает весельем
Карнавала безудержный бог...

ВЕНЕЦИЯ

Неповторим и своенравен,
Земного зодчества венец —
Я этим городом отравлен:
Пришёл, увидел — и конец.
Вечерний чуден он и ранний,
Когда парит тумана дым.
И этот яд венецианий —
Он из души не выводим.

**ВЕНЕЦИАНСКИЙ
КОЛОКОЛЬЧИК**

колокольчик колокольчит
сувенир продаться хочет
этот город veni-vidi
захватил меня в полон
ни чужбины ни опаски
а душа снимала маски

и волна волну предвидя
 вся одета в небосклон
 навсегда захлестнут валом
 лиц волшебным карнавалом
 скрипки плач и бархат ночи
 я песчинкою на дне
 всё проходит без удачи
 оттого и сердце плачет
 колокольчик колокольчит
 не по мне ли не по мне...

МУРАНОВСКОЕ СТЕКЛО

Это надо же так опозорить стекло!
 Низвести его в степень податливой
 глины,
 чтоб оно от бордо и до ультрамарина,
 словно лава, расплавленной массой
 текло.

Стеклодув из Мурано — ему всё равно:
 выдуть люстру, бокал или гнома-уродца.
 А когда на осколки стекло разобьётся —
 от обиды, я думаю, бьётся оно...

ВЕНЕЦИАНСКИЙ ЭСКИЗ

Кружевом полон воздух Бурано.
 Жизнь пробегает извилистой нитью.
 Слушает солнце, пылая в зените,
 Моря зелёное меццо-сопрано.

Кружатся рядом галдящие дети,
 Мысли сплетаются в кружево строчек.
 Воздух, застыв, уплывать не хочет,
 Словно сом, угодивший в сети.

* * *

...Тебе, живущему в Иерусалиме,
 Грешно влюбляться в города иные,
 В их шпили, башни или купола.
 Переведи-ка взгляд с небес на землю:

На ней, неплодородной, каменистой
 Когда-то множество мужей великих
 Следы свои оставили.
 И ты,
 Всю эту землю получив задаром,
 Благодарю судьбу и провиденье
 И Элогиму шли слова молитвы,
 Чья вечно над тобой простёрта длань...
 А что, когда не в силах совладать?
 Мне снится город голубой лагуны,
 Любующийся в зеркало воды
 С собой, неповторимым и волшебным,
 Сводя с ума мостами, суетой
 И кладбищем, оторванным от суши,
 Где б я хотел бы...
 Иерусалим!
 Прости меня!
 Когда тебя забуду,
 То пусть...
 А впрочем, ни к чему слова...



Валерий МИХАЙЛОВ

Алматы, Казахстан



* * *

Ветром рассеянные облака,
Тонкою высью разворошённые,
Неба касающиеся слегка,
Ото всего-то уже отрешённые...
Чайка ли, чая, сронила перо,
Ящерка ль в пекле песка печётся,
Солнце ль, волну пробивая остро,
Ровной полоскою света несётся
Чуть впереди...

На земле пёстро,
Как в небесах...

И всё это добро
В прах поразвеется, порассосётся,
Паром растает, переведётся;
Всё, что ни молодо, то и старо.
Только душа, может быть, спасётся.
Где же ей там без меня куковать —
Знает, наверно, про то и, не зная,
Что по-над морем хохочет опять,
Чайка безумная и заводная.

* * *

Мы на искры похожи,
Миг — и тьмуца тьма...
Непонятно, как всё же
Мы не сходим с ума.

Это небо глазами
Никогда не испить,
Эту землю слезами
Ни за что не обмыть.

Заведённой юлою
Всё крутится Земле —
Серебристой золою
Опадаем во мгле.

И никто не узнает,
Не отыщет ответ:
Навсегда ль пропадает
Или, может быть, нет.

* * *

В том забытом нечаянном лете,
Когда я несознательно рос,
Простодушнее птиц на рассвете
И беспечнее синих стрекоз;
Когда песни мне пели деревья
И шептала былины листва,
И зелёным туманом поверья
Выстилала муравка трава;
И катилось легко, ниоткуда,
Увлекая с собою меня,
Бессловесное круглое чудо
В волнах света, тепла и огня, —
Вдруг почувал я в людях тревогу,
Что в потёмках у них на душе,
Непонятную, словно дорогу,
По которой бреду я уже...

ЛУННАЯ ДОРОЖКА

I

Как море Чёрное черно,
Когда луной озарено!

Из бездны выплыла луна,
Круглым-кругла, полным-полна.

И протянулась до меня
Дорожка лунного огня.

Нет одиноче, холодней,
И рядом с ней ещё черней,

Но прямо к сердцу пролегла,
Чистым-чиста, светлым-светла.

И льётся в душу, под ребро
Сияющее серебро.

2

По лунной дорожке он плыл на Луну...
И тянет Луна – и не тянет ко дну.

В живом серебре и, не зная беды, –
Средь чёрного неба и чёрной воды.

Лишь плеск и Луны ослепительный гул,
И берег в немой темноте утонул.

И сплошь тишина, и восходит Луна.
Всё выше она, и всё ближе до дна.

* * *

То ли буря отревёт,
То ли дождичек оплачет,
То ли ветер отпоёт...
Это что-нибудь да значит.

Ночь ли снегом отмолчит,
Наготой своей сверкая,
Роца ли отшелестит,
Небо листьями лаская...

Остальное не беда –
И прощанье, и прощенье,
Леты чёрная вода,
Синяя трава забвенья...

* * *

По-над миром душа пролетела
Непонятно, зачем и куда,
Промелькнула – и всё, что успела,
Закатилась, как в небо звезда.

Не осталось ни света, ни тени
В равнодушной космической мгле,
Только вздрогнула ветка сирени...
Незначай... ветка белой сирени,
Словно ветер прошёл по земле.



Сергей МНАЦАКАНЯН

Москва

**ЖЁСТКИЙ ДИСК**

Вставишь в щель
 контрафактное ди-ви-ди,
заскрежест думаящая машина,
на, мол, чёрт тебя побери, гляди:
в нашем мире – полная чертовщина!

И опять, как дурак, ты глядишь в экран—
на метанья плоского монитора,
словно что-то забыл или что украл,
только что-то уходит впотьмах от взора...

Там иллюзия лезет на свет из дыр —
там попса летит саранчой на рощи,
там игрушечный бьётся и воеет мир,
в этом малом мире живётся проще.

Но судьбу о милости не проси:
не щадит нормального человека
наша жизнь виртуальная на Руси
от начала дней до скончания века...

Потому откуда-то лезут сны,
как колючку, окрест расставляя сети, —
неспроста по всем тупикам страны
зависают граждане в Интернете...

Там истории маленьких неудач,
там вольготно всяческим странным харям...

...А когда-то молод был и горяч
и любил шататься по фестивалям.

И опять со скрежетом жёсткий диск
провернётся, чтобы на мониторе
промелькнул проплаченный мелкий риск
в безголосом хоре.

А в груди позёмка и смертный мрак,
словно душу твою втихаря украли...
...А когда-то был молод и не дурак
и любил кино на большом экране.

НЕТЛЕННОЕ

Александрійский стих —
 размеренный и ровный,
а страсть затаена в словесной глубине,
александрійский стих
 как брат единокровный,
увереннее с ним на Мировой войне...

На Третьей мировой,
 чей рокот нескончаем,
я прожил при войне
 единственную жизнь:
она идёт в Кремле и за вечерним чаем,
на всех материках, она идёт: —
 Держись!

Пророчества сбылись —
 зрачок Большого Брата
ощупывает вас незримо и хитро:
о вас известно всё —
 болезни и зарплата,
с кем спите вы
 и где спускаетесь в метро...

Вся ваша жизнь теперь скрипит
 на жёстком диске,
невиданный досель,
 весь мир под колаком:
интимные дела, финансовые риски, —
хоть каждый день грози
 в экраны кулаком.

Валентин НЕРВИН

Воронеж



* * *

Жизнь устаканилась и понемногу
определилось ее существо:

я направляю послания Богу
и получаю ответы его.

Если идти по течению Леты,
то получается, как ни крути,
что доставляются эти ответы
через людей незнакомых почти.

Вон, рыбачок у причала шаманит,
я подойду, за спиной постою;
он обернется и запросто глянет
с облака в самую душу мою.

СТАНСЫ

Который год заела суета:
по кругу воевали-пировали,
но, пронсящий ложку мимо рта,
насытится когда-нибудь, едва ли.

По разуменью каждого из нас,
живём на положении особом;
но суета заела, Бог не спас
и что-то заколодило за гробом.

Пронсятся лихие времена
до апокалипсического срока —
наверное, кому-нибудь нужна
такая бесполезная морока.

Но, чур, меня! — сижу навеселе,
по случаю суровой непогоды,
как Человек на суетной земле —
последнее творение природы.

* * *

*...среди метели,
медленно кружащей...*
Ю. Левитанский

Зима не торопилась, но вчера,
по замыслу небесного стратега,
она решила выдать на-гора
запасы нерастраченного снега.
Прожив полвека в северной стране,
я даже не припоминаю, чтобы
у нашего подъезда, как во сне,
лежали трехметровые сугробы.
В апофеозе неба и земли —
сплошная белоснежная морока,
в которой за российские рубли
веселье не затеплится до срока.
— Любимая,

когда бы ты могла
нарисоваться в этом Эльсиноре,
от средиземноморского тепла
мои снега растаяли бы вскоре.

* * *

На площади возле вокзала,
где мается пришлый народ,
блажная цыганка гадала
кому-то судьбу наперёд.
И было, в конечном итоге,
понятно, зачем и куда
по Юго-Восточной дороге
ночные бегут поезда.
Когда, на каком полустанке
из полузабытого сна,
гадание этой цыганки
аукнется, чтобы сполна
довериться и достучаться,
и чтобы — в означенный час —

по линии жизни домчаться
до линии сердца, как раз!

ПОГРЕБКИ

Полустанок-полустаканок
называется Погребки.
После пьянок и перебранок
маринованные грибки.
День пройдёт, поезда промчатся,
Бог не выдаст – жена не съест,
никакого тебе начальства
на четыреста вёрст окрест.
Не железная ли дорога
устаканила горемык? –
здесь от стрелочника до Бога
получается напрямик.
...Пассажирский проходит рано.
Закобенившийся чуть свет,
я бы вышел на полстакана,
только тут остановки нет.
Просвистели... А за составом
те же, времени вопреки:
будка стрелочника, шлагбаум,
за шлагбаумом – Погребки.

ТРИДЕВЯТОЕ АВГУСТА

Тридевятое августа.
Ночь напролёт
я сижу в полутёмном углу «поплавка»
и какой-то эстет на эстраде поет:
– Ах, зачем эта ночь
 так была коротка!..
От луны по воде незатейливый след,
городского романса простые слова –
дежавю продолжается тысячу лет:
человек умирает, а память жива.
В акватории неба, у всех на виду,
по течению ночи плывут облака.
Не гони лошадей, я допью и уйду.
Тридевятое августа.
Жизнь коротка.

Галина НЕРПИНА

Москва



ПОБЕГ

Он видит маленького сына,
Который к вечеру затих,
Во сне, как доброго дельфина,
Свою подушку обхватив.

Он мерит комнату шагами,
Не зная, как себе помочь.
Он понимает, что покамест
Нельзя уйти из дома прочь.

Его душа руками машет,
Горячий воздух жадно пьёт...
Он сына утром кормит кашей,
Салфеткой вытирает рот.

Жена его ночами гложет.
Он помогает ей стирать.
Никто не знает, что он может
Иные двери отпирать.

Так год проходит и уходит,
За ним другой, потом еще...
И месяц вымытый восходит
Светить ему через плечо.

Забывший ночью обо всём на свете,
 Ни в облаках
 сквозящая луна,
 Ни истина смиренная одна...

ПЧЕЛА

Вобрав весь свет и тень
 добра и зла,
 Взлетает безутешная пчела,
 Из вечных странствий возвращаясь
 в улей...
 Густым янтарным смыслом налита,
 Грабительница летнего куста
 Летит жужжащей, полной яда,
 пулей.
 Затем что жизнь обозначает
 страсть —
 Ей нужно долететь или пропасть.
 Увидеть опечатанный и жуткий
 Свой разорённый,
 свой сожжённый дом...
 Попасть туда — и умереть потом,
 Застыть во времени,
 в прозрачном промежутке.



Александр НЕСТРУГИН

Петропавловка, Воронежская область



* * *

Кого ты ждёшь? Ушла утайкою
 К обрыву, где простор и стынь.
 А он — с потёртой фуфайкою,
 Мазутом пахнущей: «Накинь...»

Ночь за собой уводит ерики,
 И шлях, таясь, уходит с ней,
 Туда, где бьётся жизнь в истерике
 Синюшных вспыхчатых огней.

Где племя «ино» ждёт с подарками
 И одаряет люд хмельной
 То — дорогими иномарками,
 То — даже родиной иной...

Кричит тебе: «Деревня тёмная,
 Да кинь ты свой кизячный край!
 Вот — вся в огнях — дорога торная,
 Иди, обновки выбирай!»

Кого ты ждёшь? Созвездья грудятся,
 Подходят с трёх родных сторон.
 И змий ползёт... И всадник чудится...
 И знобко душеньке... А он...

Ну, поманил бы речью яркою,
 Так нет, катает желваки.

...Но ватник, что пропах соляркою, —
Не он ли снял с себя — «Накинь...»

И слово, трудное, угластое,
Одно
 решит судьбу твою.
Он, твой народ, не слишком ласковый,
Но с ним не страшно
 на краю...

* * *

Много ли значит он, вид из окна —
И затуманен стеклом, и не нов?
Вид, что упрямо хранит племена
Вётел разлтых, талов и тернов...

Вид, что окну твоему надоел:
Луг, огород и ещё огород.
Речка. И всхолмий ликующий мел,
Что на поруки безвестность берёт.

Зябнувший прочерк лесной полосы —
И горизонта округлый нажим...
Стёжка, которую ты на весы
Века — с туманом речным — положил.

Время забыло друзей имена.
Имя страны ветер носит листвою.
Он же всё ловит, тот вид из окна,
Взгляд неотрёкшийся стынувший твой...

* * *

Навек приписан к рубежу,
Что отчий свет хранит,
Я никуда не уйду —
Ни в злато, ни в гранит,
Ни в немоту, ни в кутежи...
Как в лопухах между,
Страна бросает рубежи,
А я пока держу

Озябших дум глухую дрожь,
Отчаянье своё, —
И поймы, скошенной не сплошь,
Прорехи и рваньё.
И стёжку, что идёт пешком —
Ни тише, ни скорей —
И очи порошит снежком
Нагих осокорей...
По мне, стервозная молва,
Не надо горевать!
Меня от этого сперва
Попробуй оторвать:
От звёзд, что мне даруют высь
Во тьме, и от иных,
Что с горьким полынком срослись,
Созвездий — жестяных.
От взгляда батиных наград
Из-под суровых лет...
Ведь мне оставлен на догляд
Не берег — белый свет.
И в затишье я не сойду
С отеческих высот.
...А ветер, что всегда тут дул,
Страну, как снег, несёт...
И я, подмогою забыт
У сданных деревень,
Навек не в злато, не в гранит —
Вжимаюсь в хмурый день.
И, как бы ни был век жесток,
Позёмкой не завьюсь.
Сгинь, подколодный шепоток!
Я жив. Я остаюсь...

* * *

Ни конторы нет, ни гаража,
Ни колхоза нынче, ни зарплаты...
Пахари уходят в сторожа,
На подсобы едут, на подхваты.

Вроде — на чуток, не навсегда,
Только жизнь давно чужда идиллий.

Пахарей уводят в города,
Как в полон когда-то уводили...

А в полоне — знамо, не глазей! —
На «лесах» скользя, канавы роя.
...Мчит битком набитая «Газель»
Вглубь вахтовладельческого строя.

Темень встречным светом, как ножом,
Полоснёт, без всякой задней мысли, —
И отрежет мужиков от жён,
От детишек, что на шее висли.

И — на две недели, на века? —
Замышленье бунта и побега,
Смена — «от пинка и до пинка»,
Вместо той — от снега и до снега.



Александра НИКУЛИНА

Калач, Воронежская область



ВОЗДУХ

Если нас называют и видят калеками —
Обязательно — боль? Обязательно — груз?
Я как пыльная ведьма с зашитыми
веками.
Я пытаюсь распробовать воздух на вкус.

Не сочувствуй мне!
Сердце откликнуться ленится,
И душа — раз глаза есть ее зеркала.
Если я их открою, хоть что-то
изменится?
Я не знаю, но я бы сейчас не смогла.

Если я их открою, то что-то убавится! —
От инстинктов качнет в направленье ума...
Забери свою мелочь.
Я не христарадница.
Меня кто-то слепил, ослепила — сама.

Воздух нервный, сухой,
перепачкан дыханием...
Страх. Восторг. Вожделение.
Ненависть. Страх.
Воздух плотный и сытный.
Чреват привыканием.
Он совсем не опасный
на первых порах.

* * *

Стократ своей судьбою пообтёсанный,
Я словно спал, от всех себя тая.
И вдруг моей постылой, тусклой осени
Слегка коснулась молодость твоя.

В тот час вспорхнули надо мной
ветрила,
Вдыхая жизнь, по-своему граня.
... Что ж, ты меня, по сути, породила –
Теперь ты вправе и убить меня...

МОЛИТВА

Господи,
Спаси и сохрани
В ясный час её
И в час ненастья.
Дай ей сил
В нерадостные дни,
Мудростью отметь
В минуты счастья.

Господи,
Избавь её от бед,
От людей недобрых,
От болезней.
Пусть уж лучше мой
Иссякнет след,
Сгинет в бездне...



Ирина ОБРАЗЦОВА

Санкт-Петербург



* * *

Ранний ноябрьский снег.
Нет одиночества, нет.
Есть только красный ивняк,
По полу тянет сквозняк,
Жарко натопленный дом.
Серая хмарь за окном.
Был или не был рассвет?
Нет одиночества, нет.
Есть только пляска огня,
Чаю стакан для меня.
Тихо до звона в ушах.
Скрипнуло – радость и страх:
«Кто там?» Ни слова в ответ.
Нет одиночества, нет!

ДОННЕ АННЕ

Анна, брось, не лицемерь,
О забытых так не плачут,
Так не ждут, что скрипнет дверь.
Не гадают наудачу.
И не просят – хоть во сне
Увидать на миг живого.
И не слышат в тишине
Шаг посланца гробового.

ГОРОДУ-СЫНУ

Город спит. Пульсирует Нева
Чуть припухшей жилкой на виске,
Под глазами ночи синева,
Медный Всадник в детском кулачке.
Лишь качнула колыбель твою
Чайка, пролетевшая крылом.
Хочешь, я тебя усыновлю
Город,
заповеданный Петром.

**Григорий ОСИПОВ**

Москва

**АФОНЯ**

Своей душе в густом дыму
Не смог помочь он.
Сгорел в бревенчатом дому
В разгаре ночи.

Душа сама пробила высь,
Взлетев над крышей,
Туда, где лунный диск повис
И даже выше.

Стыдись, что в теле алкаша
Жила в полоне,
Металась бедная душа
На небосклоне.

Она не знала, как спасти
Нагое тело.
По неизвестному пути
Одна летела.

И вдаль несла она с собой,
Мелькая тенью,
Судьбы Афониной крутой
Хитросплетенья.

И беспредельную тоску
По жизни прочной,

И мысль, присохшую к виску
Последней ночью.

К далёкой сумрачной звезде
Взлетала круто
И не могла найти нигде
Себе приюта.

Мчится сердце в мире одиноком
Сквозь туман ещё безвестных дней.
И завидев тайный свет далёкий,
Бьётся и тревожней, и сильнее.

* * *

В неведомых недрах Вселенной,
Где спят сновиденья мои,
Покажется призрак Селенья,
Сокрытого в зарослях ив.

Рассветная тишь над избою,
Над старой скворечней в саду
Окатит нездешнею болью
Горящую рядом звезду.

Возникнут знакомые лица —
Проявится прошлого след.
Заплачет над берегом птица.
Рассеется утренний свет.

Откроется даль ножевая,
Берёз умирающих строй
В глубинах родимого края
Над жизнью моей неземной.

* * *

Вновь наплывает вечер,
Как будто в полусне
На голову, на плечи
Ложится ранний снег.

Безмолвствует природа
Над крепью бытия,
С которой год от года
Тесней сливаюсь я.

Вновь тихий час предзимья
Повис над головой
Заботами своими,
Прохладой неживой.

И старость затаилась
За дальней кромкой дня,
Ещё являя милость,
Ещё храня меня.

* * *

Всё явственней в час предзакатный
Вселенская тихая стынь
И берег речушки покатый
С надбровьем из тонких осин.

Замшелые серые кровли
И мёртвого поля жнивье —
В далёкой сторонке укромной,
Где сердце осталось моё.

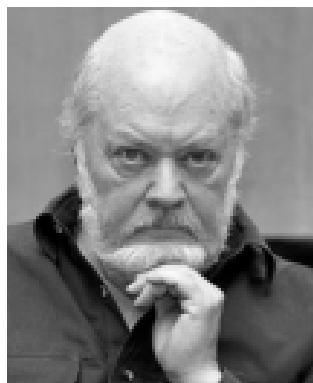
Где веет печаль и смиренность,
И горечь от жизни былой
Над дико цветущей сиренью,
Над низкой ущербной луной.

Где брэнная жизнь скоротечна
И морок глядит из угла,
И люди не знают, что вечность
Стоит на отшибе села.



Лев АННИНСКИЙ

Москва



НЕБАЛОВАННЫЙ

К 80-летию со дня рождения Е.А. Евтушенко

Насколько помню, дело происходит где-то на границе 1954–1955 годов. Я – студент-старшекурсник филологического факультета МГУ. Филфак ещё не переселился на Ленинские горы и обретается на Моховой в двух старинных зданиях. Ситуация развивается следующим образом.

Вызывают меня в комитет комсомола и объявляют решение:

– Намечен и подготовлен вечер встречи со студентами Литературного института. От нас будут выступать наши факультетские стихотворцы, которых должен был представить преподаватель... Но он заболел, и мы поручаем тебе его заменить.

– Мне?! Но какое отношение я имею к поэтам? Я готовлю дипломную работу по «Климу Самгину» Горького, и из современных поэтов знаю только Симонова...

– Не ёрничай! Это комсомольское поручение. Поприветствуешь гостей, а потом объявишь наших факультетских стихотворцев. Дальнейшее тебя не касается: литинститутских объявит их представитель.

– И много их будет, литинститутских?

Тут было названо три фамилии, ничего мне не говорившие, но звучавшие поэтически загадочно.

Не помню, что я молел, но задачу свою выполнил: объявил наших студентов-стихотворцев и сел слушать гостей.

Первым прочёл стихи Владимир Карпеко, но они плохо запомнились. Затем прозвучало торжественно и спокойно:

– Роберт Рождественский.

Вышел крупный, крепкий парень и стал читать поэму, разоблачающую мещан. По залу понеслась лёгкая фамилия последнего из троих приглашённых. И тут ведущий от Литинститута объявил:

– Мне понятно ваше желание услышать Евгения Евтушенко. Но он читать не будет. Новых стихов у него нет, а старые он читать не любит.

Гул разочарования тихо прошёл по рядам. Но всё-таки в лицо ему я успел взглянуть, пока не набежали к столу поклонники: необычное сочетание живого любопытства в маленьких острых глазах и высокомерной неприступности в жёсткой линии рта... И хохолок, конечно же, задорно перекликающийся с привычным школьным зачёсом...

* * *

В 1956 году я защитил диплом, был распределён в аспирантуру по кафедре советской филологии, сдал вступительные экзамены и настроился писать диссертацию по «Климу Самгину». Но тут высшее начальство спустило указание: в аспирантуру принимать только тех, кто имеет минимум двухлетний стаж работы. Мне вернули документы. Через полтора месяца я был принят в официальный журнал «Советский Союз», а затем унёс ноги в «Литературную газету», где проработал последние три года уходящих пятидесятых.

Стихи моих сверстников меня окружали всё это время – звучали в ушах, сигналили из газет, журналов и поэтических сборников, набивались в голову песнями. Был какой-то поэтический вечер в Клубе МГУ, и я что-то сказал со сцены о моём поколении и его поэтах. В перерыве увидел Евтушенко. Он шёл по фойе деловым шагом, сопровождаемый эскортом влюблённо глядевших на него слушательниц. И тут произошло неожиданное. Ответив на мой приветливый кивок, поэт не просто кивнул в ответ, но остановился, полюбил меня и как-то ловко поцеловал в макушку, после чего удалился своим быстрым шагом.

* * *

Что-то неуловимое, дразнящее было в стихах Евтушенко. И я подбирался к нему постепенно, разбирал его в паре с кем-то ещё, кто мне помогал по контрасту. Для меня соратником Евтушенко, расколдовавшим его неуловимость, стал Вознесенский.

Их-то я и уловил в пару, когда в 1961 году был отправлен на семинар молодых критиков при Союзе писателей.

* * *

«Свадьбы в дни военные» – шедевр, вошедший в сокровищницу мировой лирики. Шарм рифмовки: «о вышитом – с вывертом». Вроде бы шатается, а ни словечка не сдвинешь! Написано всё единственно выносимым образом – слова корчатся от боли. Дело в том, как пережито запредельное откровение, спрятанное за «неоткровенными словами», откровение смертельного взлёта в свободу, завершённое словом «нельзя».

Незаметные, «маленькие» герои как-то запросто встают в ряд с великими. Кажется – парадокс, карнавал, весёлая подначка. Демонстративное снижение пафоса. А если – предчувствие, предвидение, смутное предзнание? Прошло время, сменилась эпоха, великий народ оставил героинку историкам и отдался упоительному рыночному потребительству. Так бывает?



Евтушенко эту метаморфозу почувствовал. Правда, чтобы всё это подтвердилось, Муська с конфетной фабрики ещё должна была унаследовать страну, а для начала перескочить через египетские пирамиды.

Могло показаться, что это у него эклектика. Это и была эклектика, пока смена эпох не выявила в ней – уникальное чутьё на перемены. И доверие к переменам, которыми должно быть испытано всё неперменное, великое, неделимое. Но для этого нужна смена эпох.

* * *

Такое впечатление, что весь 1965 год я только и делаю, что пишу о «Братской ГЭС». Никак не разберусь, что так и что не так в этом братском шествии строк.

Пытаюсь удержаться на трёх точках опоры.

Первая – жанровая. Наконец-то поэма, вершина поэтической иерархии, принятой безоговорочно в советском литературоведении. Народное участие, вторая точка опоры, тоже прибавляет надёжности. Каменщики-бетонщики, инженеры-диспетчеры, вознесённая на подъёмном кране, как богиня, непобедимая Нюшка с невинным младенцем над панорамой Великой Стройки!

С третьей точкой опоры, исторической, не получается. Никак не может автор поэмы сбить воедино края российской истории. Вернее, это я, читая его поэму, всё пытаюсь сбить её идеи в единую неделимую концепцию и не могу. Примирить бы Суворова и Пугачёва, бешеных бунтарей и крутых строителей державы – представить себе в единстве края нашей беды и победы. А посередине – поле, которое добром не перейти...

* * *

Персонификация эмоций – коронный приём Евтушенко, уходящий в изначальную глубь его характера и отработанный десятилетиями его опыта.

Как вынести знобящую стужу, как объяснить лёд под ногами? Восьмилетний лирик справляется следующим феноменальным образом:

*Почему такая стужа?
Почему дышу с трудом?
Потому что тётя Лужа
Стала толстым дядей Льдом.*

Через дядю и тётю, а как иначе? Ты попробуй ответить: «почему» происходит всё то, что происходит – если это происходит всегда и везде. Назвать всё именами. Усыновить.

Удочерить. Или пойти самому в сыновство, в дружество. А если во вражду, то персонально, лично.

Иногда висящее в воздухе облако чувств («плазма») получает имя, а иногда от имени производится существительное (тоже имя) — олицетворение чисто евтушенковского покроя: «стрельцовость и бобровость». Понять прелесть этих имён можно лишь через футбольность 1945 года.

Имена всюду. Из бесконечного мира приплывает в страну Поль Робсон. Нет: Полюшка Робсон! Под этим именем его персонально принимает наше немеряное полюшко-поле.

Кинешься к правозащитникам — и там не легче: убитая героиня лежит с пробитой головой, оплаканная «скрытницей-Невой».

* * *

В поезде Москва — Брест вагонные воры обкрадывают поэта, оставляя ему то ли в насмешку, то ли в уважение несколько украинских гривен, чтобы поэт не был уж совсем голеньким — прошёлся бы хоть по Бресту... *гоголем*. Явно Гоголя читали, прохвосты. «Русский стих не погибнет. Он будет всегда жив-здоров, если есть уваженье к писателям хоть у воров».

Воры и честные меняются местами. Жизнь продолжается. Красные и белые тоже меняются местами — олицетворения меняются. Персонификация навыворот: если бы не красные белых, а белые красных вышвырнули в Стамбул и дальше в Европу, — не Евтушенко, а внук Врангеля стоял бы теперь на парижском кладбище и каялся в том, что натворили победители...

Логически вроде бы абсурд. Поэтически — воля к жизни: реет над стихами «ангел с погонами белогвардейскими, с красноармейской родной мне звездой».

Реальность рифмуется навыворот, оборачивая гибельность залогом спасения. Или наоборот. Спасение брезжилось когда-то — в отроческом чтении «Двух капитанов»: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» Оказалось нечто жуткое: мюзикл на месте романа, захват зала террористами, иступлённые глаза чеченских вдов, обрекающих и обречённых.

* * *

После приветственного взмаха навстречу наступившему тысячелетию начинаются будни, с тысячелетиями несоизмеримые. И опять помогает персонификация: «Где наше прежнее братство, где наше арбатство, булатство?» Казалось — неразрываемы, а вот разодраны, распались, расплзлись. Вроде бы, как раньше, душа «везде». Но как-то горько.

«Обнимаю сибирские сосны, платаны, секвойи и баобабы», — и такая в этом пародийная «свобода», такая обязательная «всеотзывчивость», такая изначальная «природа», что не знаешь, как быть теперь с этой подкупившей когда-то «весь мир» твоей уникальной природностью.

«Я не знаю, что со мною станется. Устоять бы, не сойти с ума».

Обнимаешь по инерции весь мир, а какое-то «нечто», которое раньше наполняло, — теперь опустошает душу.

* * *

*Я отрёкся от старого мира,
отряхнул его прах с моих ног.
Мне не надо золотого кумира —
почему же я так одинок?*

*Я грущу по забытым эпохам,
а сегодняшний день мне не мил.
Почему собираю по крохам
старый, нами разрушенный мир?*

Отцы наши отреклись от старого мира, и мы получили от них новый. Теперь мы от него отречаемся. «Как разорвать этот замкнутый круг, и неужели он замкнут навсегда, и мы из него не вырвемся?»

В распавшейся реальности должны же быть какие-то скрепы, какие-то стыки причинности, какая-то логика связей? Или лучше не раскапывать?

*Наша планета — всемирный перрон,
вместе с детьми грудными.
Господи, хоть бы проклятый террор
сделал всех сразу родными!*

Не чуя опоры в этом мироздании, Евтушенко интуитивно нащупывает край пропасти. И вспоминает, как в далёком 1950-м году лихим молодцом шёл по карнизу, мысленно — «от Солянки до Лубянки», а Межиров с Лукониным на него в окно глазели. Корифеи тогдашней лирики не отрывают глаз от начинающего поэта, а он идёт по крышам и ощущает надёжную, спасительную твёрдость карниза! «Спаси, многоимённый Бог...»

* * *

«В религии я своенравный...» Что верно, то верно: свой нрав особенно необходим при странствии по всем народам и эпохам — не потеряться! Тем естественнее природное чувство православия у поэта, внемлющего зовам страны и времени. «...Был бабушкой тайно крещён, и, как пионер православный, я, может быть, Богом прощён».

Я всей своей душой приемлю его самоопределение: «православный пионер». Понимаю «нелогичность» его порыва:

*На Тебя Тебе жалуясь, Боже, —
Ты не много ли мне подзабыл?*

*Если был бы со мною построже,
то, наверное, лучше я был.*

Это – вера подлинная, проснувшаяся в человеке на карнизе, у обрыва, у последней черты, разделяющей бытие и небытие.

*У невидимого обрыва
Ты прости нас, что крестимся мы
неумело и торопливо,
так боясь и тюрьмы, и сумы.*

Ни от тюрьмы, ни от сумы нам не отречься. Таково уж послевкусие очередной победы.

* * *

«На чём-то мы словились. Расслоились и, верить снова в будущее силясь, Россией перестали быть давно. Кому же быть Россией суждено? Чекистам бывшим, бывшим комсомольцам? Всем ловким штольцам...»

Я, например, бывший комсомолец, о чём не жалею. Чекистом быть не хотел и не стал (хотя по окончании университета предлагали), а к чекистам бывшим отношусь с разбором. А вот Обломов и Штольц, вопреки ходячему мнению, в известном смысле – одно и то же, Гончаров расслоил русскую душу именно в надежде уравновесить одно с другим: неисправимую нашу мечтательность и самозабвенную деловитость (то и другое – с размахом, доходящим до разрыва). Не срастилось у Гончарова. Хотя оба его героя говорили на одном языке. Язык – магическое средство единения?

«Язык мой русский, снежно-хрусткий, в тебе колокола, сверчки и поскрип квашеной капустки, где алых клюковок зрачки...»

Вкусно! Да не в меня корм. Очень «евтушенковское» увенчиванье молитвы трапезой – изысканно-живописной и живописно-целомудренной. Но начинается-то стихотворение «Язык мой русский» с таких лингвистических откровений, настоящий дух которых ни в какую клюкву не вселится и дышать в квашеной капустке не захочет.

А подобрано – точно: «Иду на вы!», «Эй, быстро!», «Спасибо» («Бог спаси»). Замечательные речения, лёгшие в основу нашего миростроя. Кровью оплачены, гибелью скреплены. Но что потрясающе чувствует Евтушенко: все эти великие, коренные, базисные русские речения обращены или к противнику-супостату, или к союзнику «на той» стороне, или к «Божьим глазам напротив», – то есть ещё и ко всему миру.

* * *

«Когда приехал к нам в Россию Маркес, его я в Переделкино повёз...»

Гарсиа Маркес – колумбиец, которого вот-вот мировая слава накроет за роман «Сто лет одиночества». Почему принимает его именно Евтушенко? Потому что лично приложил

руку к популяризации этого замечательного романа. Почему повёз именно в Переделкино? Чтобы постоять вместе у могилы автора другого замечательного романа...

Гость сначала угрюмо помолчал. Потом, не скрывая раздражения, заметил, что не случайно Пастернак позволил себя использовать для травли в советской прессе – на радость западным империалистам...

После такого афронта пора было, пожалуй, возвращаться под родные осины.

* * *

В 2009 году в Колумбии Евгений Евтушенко встречается на поэтическом фестивале Дору Франко. Она – профессиональный арт-фотограф – показывает на фестивале свои слайды. И она же – если сбросить сорок лет – неотразимая молоденькая фотомодель, с которой у относительно молодого тогда (но уже всемирно известного) Евтушенко был кратковременный бурный роман.

В 2011 году появляется огромная поэма «Дора Франко», где плазма воспоминаний воспламеняется от давней лирической вспышки. Что-то при этом замыкается, что-то рифмуется для меня в этом вспыхе чувств сорокалетней давности – перекликается с воспоминаниями ещё более давними, почти мальчишескими, и эта перекличка, я думаю, куда важнее для состояния поэта, чем подробности встреч.

Хотя и подробности контрастно-выразительны. Гибкая, как пантера, колумбийская красавица 1968 года – так не похожа на послевоенную таёжную бобылку, тоскующую вдову, позвавшую когда-то пятнадцатилетнего земляка-зиминца на овчинный тулуп и научившую его нырнуть «под кофту...». Это незабываемое ободрение рифмуется теперь со сладко-влажным призывом угольноглазой латиноамериканки:

*И нырнул я глазами в два глаза,
так и полных соблазном по край,
где ни в чём я не видел отказа,
кроме только приказа: ныряй!*

Эпохи и страны меняются, импульсы и рефлексy остаются.

Первая встреча с Дорой Франко – переломный 1968 год. Конец упоительных 60-х, советские танки давят Пражскую Весну. Человеческое лицо окончательно исчезает с портретов плакатного призрака – коммунизма. То, во имя чего ты жил, исчезает.

«В шестьдесят восьмом всё запуталось, всё событиями смело. Не впадал перед властью в запуганность – испугался себя самого». Это и есть смысл поэмы «Дора Франко», написанной сорок лет спустя: воскресить ситуацию, договорить...

* * *

Когда юные бунтари XXI века выходят в Москве на Болотную площадь выразить свой протест и их спрашивают, *против* чего они протестуют, они честно отвечают, ещё не знают, *против* чего. Когда их спрашивают, *во имя* чего они протестуют, они так же честно отвечают, что не знают. «Захоцет» ли дух дышать в такой болотине?

Евтушенко изумительным образом чует в своей Оклахоме неиссушимую хлябь нашей неуёмности. И демонстрирует, как надо жить даже тогда, когда под ногами нет не то что опоры, но и самой идеи опоры.

*Лишь те остаются живыми,
как Маркес и Курт Воннегут,
не зная, во чьё они имя,
но всё же во имя живут.*

* * *

Что остаётся? Неизменный и вечно меняющийся Земшар. Задолжавшее Богу человечество, которое за всё расплатится.

*На планете —
на родине всеиной,
ощущал, не забыв никого,
я, счастливый поэт все семейный
человечества моего...
Пока дети мыли посуду,
был я сразу и здесь,
и повсюду.*

Всё — сразу, и всё — здесь. И повсюду...

«Из всего настоящего, перед чувством конца, я хотел бы хрустящего малосолевого огурца». Огурец — вовсе не конец представления и даже не конец трапезы. Это поэтический прыжок во всемирность. Особенно если предположить конец света.

*Мне бы попробовать в мире все хлеба,
пригубить все губы и вина,
все звёзды бы взять на зубок.
К приходу волхвов — не волков
аккуратно почистить все хлевы
и тёплую руку пожать
человеку по имени Бог.*

Замечательные стихи, за которые хочется пожать руку поэту по имени Евгений Евтушенко.



Игорь ПАНИН

Москва



НОВЫЙ ГОД В ТРОПИКАХ

Зонтики пальм, снулый отель
 ночью не спал, здоровско пел
 и танцевал туда-сюда — валом на вал,
 как та вода.

Ну, мы вчера, как мы ваще!
 Не фраера — лаптем не щей
 выкушали. А вот вам хрен.
 Если шалим — до дрожи стен.

ёлка лежит, липки полы,
 синий мужик «Мурку» мурлы...
 И персонал, заначив смех,
 всех рассчитал, почти что всех...

Выпито здесь — Бахус, кури!
 Вот я и весь выговорил
 тощий запас дырявых слов.
 В берег баркас, суши весло!

Шатко бреду, валко плетусь,
 как на редут, типа за Русь!
 Не до потерь — огнём гори...
 Где эта дверь: двенадцать-три?

В каждом углу дылды теней
 щупают мглу, а не стене
 надпись гласит сто тысяч лет:
 «Please, Do Not Feed The Dog&Cat».

ЗАРИСОВКИ

1. КРЫМ

Побродив по лысому мысу,
 неохота плестись к воде,
 где неспешно стораёт — мыслю —
 разномастный табун людей.

В невеселом пансионате
 с интерьером а-ля совок,
 будет очень напиться кстати
 и продрыхнуть без задних ног.

Мертвецов имена в почёте
 меж братающихся морей.
 Их «собрания» не прочтёте,
 прежде свистнет краб на горе.

Обострения посезонны,
 началось это не вчера.
 Ни малейшего нет резона
 глянуть в смежные номера.

Там, откушавши кашки манной,
 уморительны и тихи,
 престарелые графоманы
 сочиняют взахлёб стихи.

2. ЕГИПЕТ

Рассыпается свет,
 наплывает песок,
 и автобус летит в кювет,
 потеряв колесо;

застревает язык у муллы
 в гортани,
 тормозят верблюды, тупят ослы,
 бедуин прерывает свой танец,

и тень фараона аж
 приподнимает веко,
 когда делают массаж
 белому человеку.

3. ТАИЛАНД

Перелёт утомителен, если ты только
не запасся бутылкой – блажи во сне,
оставляй все повадки тамбовского волка;
здесь никто не оценит блатную наколку,
хоть песок под ногами хрустит как снег.

В окружении джунглей, в которые редко
даже местные лезут (не стану врать),
не шугайся облав, не ищи себе клетку,
привыкай загорать, а не шастать
в разведку,
удовольствий удобоваримых — рать.

На закате акульего мяса вкуси и
развались поудобней, побудь ханжой;
и не думай совсем о какой-то России,
неустроенной вечно, давно чужой.

Сокровенного знания здесь не обрящешь,
да и многия знания — чем не ложь?
Вон у бара стоит, улыбаясь маняще,
трансветит или девушка —
хрен поймёшь.



Николай ПЕРЕЯСЛОВ

Москва



В МИРРЕ ЛИКИЙСКОЙ

1

Пью синеву душою и глазами,
высь так близка, что даже сердцу
жутко!
Как будто меж землёй и небесами —
нет даже небольшого промежутка.

Словно иконы, что в веках намолены,
квадраты солнца по стене разлиты.
Глаза закроешь — и шаги Николины
услышишь сердцем на затёртых
плитах...

2

Уже невозможно представить: вот здесь
он служил,
пил воду из этих колодцев, трапезничал
хлебом...
Сознание не верит,
что он — на земле этой жил,
настолько святой его образ
рифмуется с небом!

**ВОСПОМИНАНИЕ
О ЗАБАЙКАЛЬЕ**

Александр Леснянскому

Костёр, как галстук пионерский,
метался ало в три конца.
Напиться бы!.. Да только не с кем.
Вокруг – ни сына, ни отца.

Лишь, в темноте вздыхая сыро,
ползёт меж кедрами река...
Здесь глухомань. Опушка мира.
Вокруг – не вёрсты, а века!

Комар назойливый над ухом
звенит надпиленной струной.
Встаёт туман... Шаманским духом
камлает филин надо мной.

Иди на юг, шагай на запад,
везде один закон – тайга...
Но как же сладок этот запах!
Как эта глушь мне дорога!

За просто так, по доброй воле
я не вернусь сюда, увы!..
Но ночью вспомню – и от боли
проснусь внезапно средь Москвы.

Сибирь – дыра. Там нет закона.
Прощай, Иркутск! Прощай, Чита!..
.....
...Но разве смог забыть Иона
те дни, что жил внутри кита?

ОСЕННИЙ РОМАНС

Застыла осень возле той черты,
из-за которой в мир грядут бураны.
Ну, а пока леса горят, как раны,
и гонит ветер листья, как мечты.

Да глухо плачут птицы с высоты,
летя в чужие солнечные страны.

Душе мила осенняя пора,
но сердце знает – в ней таится тайна.
Всё так сурово, так необычайно,
и сто вестей приносят в мир ветра.
Лежит на травах изморозь с утра –
мы знаем: всё на свете не случайно.

Во всём есть связь и кровное родство,
душа и мир вовек неразделимы.
Но мы так часто пробегаем мимо,
не замечая чудо, волшебство...
Ах, осень, осень! Ты неповторима.
Пусть дольше длится это колдовство.

Пускай летит багряная листва
и дым костров плывёт светло и строго,
как миллион свечей во славу Бога,
будя в душе простых молитв слова.
Всё на земле проходит понемногу.
Но жизнь всегда берёт свои права...



Юрий ПЕРМИНОВ

Омск



ПЕСНИ РУССКОЙ ОКРАИНЫ

I

В ночь сырую, глухую народную песню
запели
так, что выплыл из хлябей луны
золотой апельсин,
не бичи заплутавшие –
наши родные кудели,
тот же самый народ прииртышских
моих палестин.

Пойте, если поётся, родные Васёк
да Ванятка,
или как вас...

Никто, никакой басурманин-злодей
не посмеет насрать на сердешных
ни стражей порядка,
ни проклятие!

Пойте – порадуйте вечным людей!

...И под песню легко просыпается,
тихо аляя,
поселковый рассвет –
прямо с Божьей ладошки рассвет!
В центре мира живём:
здесь направо от нас – Галилея,
здесь налево от нас,
если к свету лицом, – Назарет.

В центре мира живём – иногда
засыпая
иногда просыпаясь.
под песню,

К примеру, сегодня, когда
дышит вечное небо над нашей
несуетной весью,
как над люлькой – теплом.
И от ночи сырой – ни следа...

2

Несуветно темно, как в мешке
у Солохи,
ни на проблеск не видно небесный
испод.
Протрезвлённая жизнь под забором
эпохи
(чья – не ведаю) песню душевно поёт.

Что за песня!

Такую не слышал я сроду!
Или... тихо забылась, как детские сны.

Поселковый народ просветлел
в непогоду,
погружённой в беспмятный сумрак,
страны.

И – подхвачена песня! Наверное, вскоре
кто-нибудь –

испарись, вековая тоска! –
непреренно отыщет то место в заборе,
где непрочно сидит гробовая доска!

3

Не сумели в оборот мою
черти душу взять...

Спою
песню русскую народную
«Светит месяц...», как свою.

Месяц в небе – словно печево.
Снова песню затяну...
Мне делить с народом нечего –
что со мной делить ему?

Спел, как мог.

И – тихо в комнате.
И в посёлке. В общем, тут –
дома...

В нашем тихом омуте
черти долго не живут.

* * *

Так и жил бы до смерти, как нынче,
дыша
миром наших окраин, когда надо
мною –
как Всевышнего длань – небосвод...

С Иртыша
сквозняки наплывают –
волна за волною.

Незабытым, несуетным прошлым богат
мир окраин моих, словно вечным –
планета...

Одинокая память родительский сад
опахнула неслышимой бабочкой света,

и вернула меня – на
мгновение лишь! –
в мир окраин страны без вражды
и лукавства,
но напомнив о том, что бессмертный

Иртыш
двадцать лет из другого течёт
государства,
и века – из того, где в далёком году
свет мой-бабушка деду «Соловуху»
пела,

родилась моя мама,
а с яблонь в саду
навсегда в сорок первом листва
облетела...

* * *

Слепой старик – осталась тень одна! –
вздыхая, с подкатившей к горлу

скорбью:

«Навзрыд страну оплакивал – она
тогда едва дышала. Думал: скоро
и сам загнусь, – рассказывал мне за
тяжёлой кружкой браги слабосильной.
Как видишь, выжил... выплакав глаза,
хотя у Бога смертушки просил я
всегда...»

И, брагу выщедив до дна,
хрипя добавил: «Смерть приму любую...
Тогда с трудом, но выжила страна,
а я живу – за слёзы те – вслепую...»

КЛАДБИЩЕНСКИЙ БОМЖ

Он знает здесь каждую тропку,
он знает о том, что всегда
найдёт поминальную стопку
и хлебца. И даже орда
ворон помешать бедолаге
не сможет...

Сквозит веково
вчера́нное время в овраге
души горемычной его.

И знает, болезный, что тут он
обращает и смерть, потому
что кладбище стало приютом
последним – при жизни! – ему.

Живёт он – печальник – не зная,
найдётся ли место в раю
за то, что он жил, поминая
чужую родню, как свою...



Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН

Петрозаводск, Карелия

**ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА**

Печаль стареющих соцветий
 Пчела попробует на вкус.
 Последним солнцем на рассвете
 Шиповника обрызган куст.
 Оплывший август клонит сонно
 Дожди в пожухлую траву.
 И с полувздохом-полузвонном
 Струну гитары оборву.
 Так лопнул день последний лета.
 Его на гриф не натянуть.
 И, с глаз исчезнувший бесследно,
 Свой тайный продолжает путь.
 Безродный ветер в листьях шарит,
 Куда клубком свернувшись, влез.
 А дождь — неистовый пожарный —
 Всё тушит запалённый лес...

* * *

Так рвётся сердце — не унять!
 Сквозит отчаяньем в квартире.
 И обречённо в зыбком мире
 Дрожит слезою день опять.
 Вновь окон влажные желтки
 На пасмурном ночном тефлоне,
 И рвётся голос в телефоне,
 И мелочь сыплется с руки.

— Куда ты, дочь?
 Из дома — прочь!
 И дверь в простенок бьёт с размаху.
 Освободившеюся птахой
 Летит в непознанную ночь
 Девчонка — дерзкое дитя,
 Что не живёт, не прекословя.
 Но только годы слой за слоем
 С листвой осенней облетят.
 Увековечит пейзажист
 Скелет ствола обледенелый...
 ... А дерево над смертью белой
 Корнями держится за жизнь.

* * *

В облаках — как в плафонах матовых—
 Солнце жёлтою лампой горит.
 Говори со мной, Анна Ахматова,
 Из вчерашнего говори.
 В комаровских аллеях липовых
 Или в хвойных лесах сухих
 О стихах говорить могли бы мы
 Или, может быть, не о них.
 Запоздало к тебе приехала,
 Но хожу по земле твоей,
 На которой залив — прорехою
 Неожиданней и светлей.
 А на нём — как тогда — представишь ли?
 Каменистой гряды разрез...
 Над последним твоим пристанищем —
 И стена, и чугунный крест.
 Но за серой стеной бетонной
 Шелестит каждый год трава.
 Так из жизни твоей бездонной
 Прорастают в стихи слова...

* * *

Среди отживших век вещей
 Найдётся чей-нибудь подарок.
 Среди рождественских свечей
 Ютится сморщенный огарок.

Среди торжественных тирад
 Молчанье скорби незаметно.
 И среди доблестных наград
 Есть присуждённые посмертно.
 Среди измученных бродяг,
 Мечтающих от жизни скрыться,
 В потёртых сношенных лаптях
 Тоскует странствующий рыцарь.
 И смысла целостности нет
 В разбитом на осколки мире.
 Он – как забытый кем-то свет
 В остывшей нежилой квартире.
 Погасло пламя нервное к утру.
 И на губах истаяла молитва...
 И плачет по-сиротски на ветру,
 Вздыхает жалобно в бессоннице калитка.
 Мой горький день, отгомонив, иссяк,
 Полгоризонта подпалив закатом,
 И беглых птиц трепещущий косяк,
 И белый локон в облаке кудлатом.
 Когда уходит самый первый друг,
 Из настоящего становится он бывшим.
 Но ощутишь не сразу и не вдруг
 Его уже забытым и забывшим.
 А где-то слышится кукушкин плач,
 Хоть ей по кукушатам плакать поздно.
 И воспалённый ветер, как палач,
 Заламывает ветви соснам.
 Но от любви уже я не умру.
 Моя душа – как в панцире улитка.
 И, всхлипывая, бьётся на ветру
 Не запертая с вечера калитка...



Екатерина ПОЛЯНСКАЯ

Санкт-Петербург



* * *

Смерть в окно постучится однажды
 Лунной ночью иль пасмурным днём,
 И к плечу прикоснётся, и скажет:
 «Ты довольно грешила. Пойдём».

И в полёте уже равнодушно
 Я взгляну с ледяной высоты,
 И увижу, как площади кружат,
 И вздымаются к небу мосты.

За лесами потянутся степи,
 Замелькают квадраты полей,
 Но ничто не кольнёт, не зацепит
 И души не коснётся моей.

Лишь пронзительно и сиротливо
 Над какой-нибудь тихой рекой
 Свистнет ветер и старая ива
 Покачает корявой рукой.

Камышами поклонится берег,
 И подёрнется рябью вода,
 И тогда я, пожалуй, поверю,
 Что прощаюсь и впрямь навсегда.

И, быть может, на миг затоскую,
 Увидав далеко-далеко

На земле возле стога – гнедую
Со своим золотым стригунком.

И рванусь, и заплачу бесслёзно,
И беспамятству смерти на зло
Понесу к холодеющим звёздам
Вечной боли живое тепло.

ИДИЛЛИЧЕСКИЙ СОН

Мне приснилась жизнь совсем иная,
Так приснилась, будто наяву:
Лошади вздыхают, окуная
Морды в серебристую траву.

До краёв наполнив звёздный улей,
Светлый мёд стекает с тёмных грив.
На земле табунщики уснули,
Сёдла под затылки подложив.

Светлый пот блестит на тёмных лицах,
На остывших углях костерка,
Склеивает сонные ресницы
И былинки около виска.

Спят они, пока вздыхают кони.
Вздрагивая чуткою спиной,
И полны ещё мои ладони
Горьковатой свежести ночной.

Спят, пока обратно не качнётся
Маятник мгновенья, и пока
Хрупкого покоя не коснётся
Снов моих невнятная тоска.

* * *

Получив от судьбы приблизительно
то, что просил,
И в пародии этой почуяв ловушку,
издёвку,

Понимаешь, что надо спастись, бежать,
что есть сил,
Но, не зная – куда, ковыляешь смешно
и неловко.

Вот такие дела. Обозначив дежурный
восторг,
Подбираешь слова, прилипаешь
к расхожей цитате.
Типа «торг неуместен»
(и правда, какой уж там торг!),
Невпопад говоришь, и молчишь тяжело
и некстати.

А потом в серых сумерках долго
стоишь у окна,
Долго мнёшь сигарету в негнущихся,
медленных пальцах.
Но пространство двора, водосток
и слепая стена
Провисают канвою на плохо
подогнанных пальцах,

Перспективу теряют и резкость,
и странно: легко
Истончаются, рвутся, глубинным
толчкам отвечая...
И вскипает июль. И плывёт
высоко-высоко
Над смеющимся лугом малиновый
звон иван-чая.

УДЕЛЬНАЯ

А давай-ка дойдём до шалманчика
средней руки,
Где шумит переезд и народ ошивается
всякий,
Где свистят электрички и охают
товарняки,
Где шныряют цыгане, где дня не бывает
без драки;

Где торгуют грибами и зеленью,
 где алкаши
 Над каким-нибудь хлипким пучком
 ерунды огородной
 Каменеют, как сизые будды,
 и где для души
 На любой барахолке отыщется всё,
 что угодно;

Где базар и вокзал, неурядица и неуют,
 Где угрюмо глядит на прохожих
 кудлатая стая,
 Где, мотив переврав, голосами дурными
 поют,
 И ты всё-таки слушаешь, слёзы дурные
 глотая...

Там хозяин душевен, хотя и насмешлив
 на вид:
 У него за прилавком шкворчит
 и звенит на прилавке.
 Он всего лишь за деньги такое
 тебе сотворит,
 Что забудешь про всё и, ей-Богу,
 попросишь добавки.

Он, конечно, волшебник. Он каждого
 видит насквозь,
 И в шалманчике этом работает лишь
 по привычке.
 Вот, а ты говоришь:
 «Всё бессмысленно...» Ты это брось!..
 И опять — перестук да пронзительный
 свист электрички.

* * *

Лошадь идёт по дорожке притихшего
 парка,
 Листья летят и щекочат ей чуткую
 спину...

В еле заметную ниточку первая Парка
 Молча вплетает осеннюю паутину.

Вся бесприютность, потерянность
 нашего рая
 Сжата в коричневых завязях будущих
 почек...
 Лошадь идёт по дорожке. И Парка
 вторая
 Нить измеряет и сматывает в клубочек.

Время дрожит светотенью и всё-таки
 длится
 Так осязаемо-плотно и неуловимо...
 Лошадь идёт по дорожке. И третья
 сестрица
 Лязгает сталью.

И снова — сослепу — мимо.



Василий ПОПОВ

Москва



* * *

Когда-то я, ещё не зная,
 Что буду сочинять стихи –
 На крыше нашего сарая
 Сушил на солнце лопухи.

И думал, что листочки эти
 Я закурю, как курит дед.
 И накрутил я из газеты,
 Как мне казалось, сигарет...

Прошли года, прошло и детство,
 Теперь я в комнате один.
 Я не курю, но хочет сердце
 Почуять этот горький дым.

Стихов не надо, нет, не надо,
 От них кружится голова.
 Но всё равно летят куда-то,
 Как дым, летят мои слова.

...И вот он, мальчик соловьиный,
 На сеновале спички жжёт,
 И с длинным прутиком малины
 Из-за угла отец идёт.

* * *

Снова на сердце тревожно,
 Снова беру я тетрадь.
 Господи, сколько же можно
 Кровью Твоею писать?

Больно за то, что я знаю:
 Если строка побежит –
 Грешники, значит, вонзают
 В белое тело ножи.

Господи, мир обезумел,
 Тонет в своей суете.
 Нет, не воскрес, Ты не умер,
 Ты ещё там, на кресте.

* * *

Расцвела под окнами сирень,
 Полетел на двор медовый запах.
 Как медведи, избы деревень
 Память сжали в деревянных лапах.

Обнялись забор и огород
 И пошли по полю до обрыва.
 Сколько было пройдено дорог –
 Всё трава зелёная укрыла.

Спи, деревня, спи, не умирай.
 День придёт и я приду, открою
 И амбар твой низкий, и сарай,
 И глаза, забытые доскою.

И увидишь ты, как мир хорош,
 И услышишь ты звучанье мира,
 Но, очнувшись вдруг, ты не поймёшь,
 Что же это, что же это было.



Евгений ПОПОВ

Санкт-Петербург



* * *

Священное право лежать на диване,
Лежать на перине, на пляже, на даме.
На туче, качаясь, лежать на боку,
И Штольца послать добродушным ку-ку.

* * *

Горностаи облака, смех глаз.
Шуршащая зелень, тень-клён...
Тело, рыбой выскальзывающее
из одежд.
Звон кузнечика, нежный синицы теньк.

Позже — самолёт-стеклорез,
Ещё — автобуса душный гул.
Голова, набитая звоном надежд.
Это попутный ветер её надул.

* * *

Не вижу противостояния:
Очаг, мерцание тьмы и света,
Бумаг весёлое сгорание,
Взгляд женщины полуодетой.

Коротких мыслей треск негромкий,
Пощёлкивание, замыкание...

Как поиски следов в позёмке —
Разглядывание дна в стакане.

* * *

Был полдень, пряный и застойный.
На ветку спрыгнул пересмешник.
Тень поскользнулась и невольно
Лист уронила на валежник.

Внезапно вздрогнула осина,
Очнулся резко вихрь мятежный.
И загляделся вдаль мужчина,
И женщина вздохнула нежно.

* * *

Встал на пригорке,
но даже оглядываться лень.
Как говорил Сергей Александрович,
синь-сонь,
Тень, как чайка, перелезающая
через плетень.
А дальше крапива, как тётка в очереди,
которую чуть тронь...

Там, на холме, заглох автомобиль,
Под ним змея так нехотя ползёт вверх.
И только дерево нет-нет да подымет
жару на смех.
Сегодня в России стоит такой штиль.

Скрип-скрип — открывает коростель
дверь,

В неё заглядывает василёк.
Вот и подтаяла гора лета в траве.
Трудно поверить, что и жизнь растает,
И ты не верь.

Долго-долго гудит в голове шмель,
И колышется над травой мотылёк.

Звонко булькает речная мель,
Да разгорается зари уголёк.

* * *

Снег шуршит в жёлтых листьях осоки,
Дни бегут, словно волны реки.
И приходят последние сроки,
И плывут в облаках старики.

И старушка в доме остывает,
Но ее не торопит Господь:
Топит печку, золу собирает,
Кормит ужином, песни поёт.

И не знает проворная кошка,
Что в зелёных глазах её ночь.
Но старушка, клюющая крошки,
Гладит кошку, как родную дочь.

Ничего у неё не пропало
В этой серо-зелёной ночи.
Пусть согреет её одеяло,
Пусть осветят ржаные лучи.

Пусть ей видятся светлые окна
И немеркнущий чудится свет.
И глаза закрываются тихо,
Потому что заснул человек.

* * *

Холодный хруст октябрьских яблок,
Замедленно листвы дыханье.
Не надо плакать, милый зяблик,
Ведь нам известно всё заранее.

Смотри, как даль блестит под солнцем,
Сады при нас бредут стадами.
И пусть встречаемся мы реже,
Зато прекраснее свиданья.

Зато заботой не забыты,
Зато зверьё нас не боится,
Зато мы в этом мире скрыты,
И с этим миром можем слиться.

* * *

На внешней стороне Луны
Любовники обнажены,
Нежны и вечности открыты
И даже укоренены.

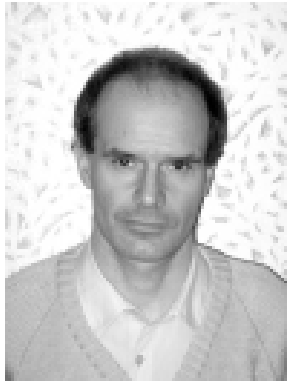
Там пышут впадины теплом,
Вулканы кажутся котлом.
А всё, что выше – свет всевышний,
Он наполняет этот дом.

Играют звёздным пояском,
Как будто фиговым листком.
И ни одной детали лишней.
И дети явятся потом.



Сергей ПОПОВ

Воронеж



* * *

Причины за сердце схватиться
всегда наготове оплечь —
нисколько теперь не жар-птица
причудливокрылая речь.

Леса немотою чреваты
и реки текут наобум.
И только за всю аты-баты
едва померещится шум.

Верхи безразмерны и полы —
ясна в небесах бирюза.
И крыльями режут глаголы
невольникам зренья глаза.

И воздух, изрезанный в клочья —
прибыток сердцам никакой...
Но не истекли полномочья
к нему прижиматься щекой.

* * *

Снесли эстраду с козырьком
и лавки перед ней.
Что проку гориться о ком
из тех безумных дней?

Они как наледь на камнях
бликуют на свету,
всех раздолбаев и скромняг
прибравши в темноту.

Сверкает снег вчерашних туч
при солнечной волне,
как в море выброшенный ключ
на каменистом дне.

День ото дня сильнее рябь
и шум береговой.
И только зрение ослабь —
накроет с головой.

* * *

И стало всё не так.
И было всё не этак.
Кинотеатр «Спартак»
и рядом сквер нимфеток.

Убойное кино
про пламень на потребу.
Уже ль не всё равно
теперь земле и небу?

Весь этот дым и чад
и безутешный юмор
из пропасти торчат
в недоуменьи юном.

Здесь вытерлась земля
и расступилась втуне,
середину пепеля
луною из латуни.

И тают при луне
что титры без оглядки
в кромешной глубине
земные беспорядки.

Алексей ПУРИН

Санкт-Петербург



МУЗЫКА НА ЗАКАТЕ

...*Das Ohr hoert nachts...*
Georg Trakl. Musik in Mirabell

I

В городке, раздобревшем на соли,
где играл вундеркинд в парике,
позабудем на день о юдоли
леденящей, о стынущей воле —
погуляем с синицей в руке.

Что нам клич журавлиный во мраке
и безлобых небес неуют!..
Крендель булочный (вечные знаки!).
Пиво славное пьют австрияки
и божественный «захер» жуют.

Вот и правильно. Вот и бесспорно:
ни к чему нам мучительный свет
этой музыки после Адорно
(кто ж не знал, что искусство
тлетворно?)!..
Только шарики вкусных конфет.

Только сон утешительной прозы,
где музыка, как струйка воды,

под журчаньем не прячет угрозы,
где сменили пуды сахарозы
кристаллической соли пуды.
Зальцбург.

2

Мой принц, мы посетили Ваш
дворец. Теперь там — Эрмитаж
в миниатюре (модернисты:
Моне — блистает, Климт — блестит).
Но из окна всё тот же вид —
серебристый пруд и сад тенистый.

И Вена — вся, во всей красе —
что куст в мерцающей росе —
в огнях, готовых расплыться.
И, как отряд передовой,
вступает в город, пусть и свой,
в потёмках Нижнее палаццо...

Савойский, зри! прошли века;
ничья не справилась рука
с полком годин необоримым —
убит и смелый наповал;
а бург стоит, как и стоял,
когда-то бывший Третьим Римом.

Ваш меч, его судьбы залог,
остановить османов смог.
Но выросли потом проценты
(ведь жизнь — сама взаимосвязь)...
Зачем Сараево, мой князь,
Вы захватили после Зенты!
Вена. Дворец Бельведер.

3

Цезари, лежащие в свинцовой
немоте серебряных ларцов...
Ах, и от системы образцовой
остаётся прах в конце концов!

В этом царства схожи с человеком,
в слепоте не видящим своей,
что нелепо верить берегам —
договорам, скипетрам царей...

Где величье замысла, где смысла
торжество? Лишь Евровавилон.
Утекла обратно речка Висла,
а Дунай на лужи поделён.

Сорок правд — на месте двуединой,
сорок кривд и сорок языков...
Полон, как сардинница сардиной,
невесёлый габсбургский альков...

Впрочем, что я! Нам бы их печали —
с нашей суетливой нищетой!..
Выйдем — снова скрипки зазвучали,
рестораны спорят с темнотой.
Вена. Церковь капуцинов.

4

Пятый век они идут по насту
в абсолютной тишине,
как случилось разве астронавту
на Луне.

Вечереет, никакого звука
во вселенной больше нет.
(Но недаром «ночью емлет ухо»,
говорит поэт!)

Ни борзые не пугают лаем
пригород, ни птах
крики в небесах. Неузнаваем,
мир лежит впотьмах.

(Где он в Нидерландах эти скалы
видел, пейзажист, —
эти италийские оскалы,
шепчущие «st!*»?)

Только отдалённый конькобежец
на пруду
стылый мрак безвременья разрежет
музыкой во льду.

Вена. Музей истории искусств.

*Аналог русского «те-с!» у голландцев,
призыв к молчанию.

5

В старческой руке тысячелетний
скипетр только чудом не дрожит...
Римский император предпоследний —
патриарх библейский, Вечный Жид, —

переживший всех, похоронивший
младших братьев, сына и жену,
как Пандорин ящик, отворивший
страшную войну.

Здесь он умер, слушая раскаты
рукотворных гроз,
с юности любивший «аты-баты»
и не знавший слёз...

Мерный листопад армейских сводок,
мировой спектакль...

Где-то там вдали — какой-то Гродек*
и какой-то Тракль.

Вена. Дворец Шёнбрунн.

*Городок в Галиции. «Гродек» — последнее
стихотворение Георга Тракля (1887 — 1914).

6

Музыка бывает только в Вене.
Только в Вене царственной она
неподвластна порче и подмене.
Только в Вене музыка — Жена,

Дева, облачённая в свечение,
 в колыханье жаркое смычков.
 Здесь ясней ее предназначенье:
 «Рай таков!» – твердить нам:
 «Рай таков!»

...Или это море золотое
 в белом и лазоревом цвету?..
 Не решусь, как будущий Никто, я
 перейти заветную черту.

Задержусь у ратуши с бокалом
 мозельвейна: на большом панно –
 оперные арии... Вокалом
 этим всё, что знал, посрамлено!..

Безразлично мне, что дело к ночи,
 что вокруг всё глуше и темней,
 что до тьмы дорога всё короче...
 Ночь поёт! И дело только в ней.

Только в Вене бурной – словно в вену
 введена волшебная игла,
 чтоб душа Прекрасную Елену
 из персти земной узреть смогла.
Вена. У Новой ратуши.



АЛЕКСЕЙ РАФИЕВ

Москва



* * *

я – ваша Нибиру.
 но в склепе глухо и слепо,
 и вашему миру
 пока не увидеть небо.
 мне лишь остаётся
 покинуть ваш затхлый лепет.
 я – мальчик из Солнца,
 я – сокол, дракон и лебедь.
 но вы очертели,
 вы осатанели даже.
 вы – дети петли и метели,
 от вас отвернулись стражи.
 ни света, ни влаги,
 как будто всё доброе вышло –
 лишь мертвенно-бледные флаги
 на крышах и выше, выше...

* * *

а потом приходили они –
 наступали тихие дни –
 дети ангелов – еле дыша
 затихала моя душа,
 и летели со всех сторон,
 чтобы слиться потоком воды,
 обтекая мой вечный трон,
 замывая мои следы –

струи света, и горний – весь! –
мир спустился – моя земля
успокоилась, словно взвесь,
перелитая в вензеля.
и теперь – за седьмым замком –
за таким, что пора б забыть,
будто не был ни с кем знаком.
и уже не намерен быть...



Валентин РЕЗНИК

Москва



* * *

Очередную совершив ошибку,
О ней я пожалею лишь потом,
Я прибыл на недельную побывку
На родину свою и в свой детдом.

Ещё везде висел портретный Брежнев,
И что-то в центре возводил стройбат,
А в остальном осталось всё,
как прежде, –
Лет сорок или более назад.

А, впрочем, нет, не всё. Сломали рынок,
А вместе с ним – торговые ряды,
Где был я знатоком творожных крынок
И разной недетдомовской еды.

Куда они всё это подевали,
Стоящие у власти дураки?
Здесь бабы мне украдкой подавали
С визигой и грибами пироги.

Ах, эти бабы! Слезы их и стоны...
Надвинутый на лоб цветной платок, –
Их мужики за всякие «уклоны»
Здесь отбывали свой законный срок.

Их вечная пригрела мерзлота,
От лишних глаз навеки оградила,

И где-то среди них была и та,
Что молоком своим меня вскормила,

Тетёшкала, качала на руках,
К худой груди невольно прижимала
И ничего в тех каторжных краях
Ни телом, ни душой не принимала.

* * *

Ну, какие твои тиражи
И какого масштаба известность?
Пребываешь в невольной тиши,
Оглашая молчанием местность.

Впрочем, Бога не стоит гневить
И ссылаться на чьи-то подвохи,
Даже если и выпало жить
Под сурдинку суровой эпохи,

И на птичьих и прочих правах,
Понукаемым справа и слева,
Хорошо хоть не в буйных домах,
Не в пределах тюремного хлева

И не выставленным на позор
По причине огня не без дыма,
И не вышвырнутым за «бугор»,
Что уж было б совсем нестерпимо.

* * *

*Но я не забыл, что обещано мне
Воскреснуть. Вернуться в Россию
стихами...*

Георгий Иванов

Всё случилось, свершилось с годами.
Воздалось Вам по Вашим делам.
Вы вернулись в Россию стихами,
Как и было обещано Вам.

И полемика здесь не уместна,
Не пристойны вражда и борьба.

Вы пришли на свободное место,
Что держала за Вами судьба.

* * *

Эта женщина так молода,
Обладает таким обаяньем,
Что в свои отставные года
Я смотрю на неё с покаяньем.

С бескорыстной и смутной тоской,
Что на жизненной долгой дороге,
Я, наверно, ни разу такой
Не испытывал нежной тревоги.

* * *

Сотвори хотя бы эту милость,
На мгновенье промелькни в окне.
Ты опять сегодня мне приснилась
В госпитализированном сне.

В наглухо застёгнутом халате,
С медленно заплаканным лицом.
Мне, наверно, вечности не хватит
Позабыть печальный этот дом.

Так вот и стоишь во мгле оконной,
Словно у несчастья на часах,
Бледная больничная мадонна,
С годовалой дочкой на руках.

* * *

Ты замужем, и я женат,
И ничего у нас не будет.
И в том никто не виноват:
Ни время, ни судьба, ни люди.

И в том, что нас бросает в дрожь
По милости внезапной страсти,
Помимо нас, виновен дождь,
С промозглой высоты летящий.

Наталья РОЖКОВА

Москва



* * *

Да, всё кончается до срока...
 Над бедной родиной моей
 Самозабвенно и жестоко
 Поёт последний соловей.
 Его заслушаемся трелью
 И в ожидании зимы
 Одной укроемся шинелью,
 Той, из которой вышли мы.

* * *

Когда хоронила я маму
 в гробу ярко-синем, как море,
 и в платье, таком же красивом,
 похожем на цвет её глаз...
 Когда хоронила я маму
 в осеннее тёмное утро,
 мне рядом отца не хватало,
 умершего светлой весной.

ОТЪЕЗД

Сказал: «Я сюда не вернусь,
 Скучать по берёзкам – старо!»
 Исчезла минутная грусть,
 Летит молоткастый в ведро.
 О боли, что будет потом,

Не ведает сердце пока.
 О Русь, ты уже за холмом!
 О жизнь, ты как воздух, легка...

* * *

Смола на рукаве –
 Тяжёлая, как мёд,
 А я лежу в траве,
 И мимо жизнь идёт.
 Пусть, быстрая, спешит,
 Как бабочки полёт,
 Ничто не защитит,
 Никто не позовёт
 Среди порохов лесных...
 И чувствую не зря,
 В последний день весны –
 Дыханье сентября.

НАЧАЛО АПРЕЛЯ

Наступает весна. Отступает пальто,
 Погружается в летнюю спячку.
 Телефон не звонит и не пишет никто,
 Может быть, прогуляться на дачку?
 Прогуляться туда,
 где прозрачный лесок,
 Где вдали электричка несётся,
 Одинокий медведь ест сухой пирожок,
 И всё верит, что Маша вернётся.
 Но не встать с этой липкой
 от краски скамьи...
 Кто-то в парке поёт в стиле ретро,
 И о чём-то своём говорят воробьи,
 И душа наполняется ветром.
 Улыбается белый дурашливый шпиз,
 Словно тысячу лет меня знает,
 И оставленный кем-то
 в песочнице шприц,
 Словно орден на солнце сияет!
 Снег сжимается.
 Стали просторней дворы,

И ругаются звонче соседки,
Только чёрные листья осенней поры
Почему-то остались на ветке.

БЕССОННИЦА

Мне кажется, лопнула где-то струна,
А в этом ли мире – не знаю.
За поездом бешено мчится луна,
И белое поле – без краю.
Мелькнул огонёк в придорожном окне,
И новая даль приоткрылась...
Я в детстве почти не летала во сне,
Мне чаще падение снилось.



Андрей РОМАНОВ

Санкт-Петербург



СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС

Если ты понять меня не сможешь,
Нарисуй траву в березняке,
Где в карман признание мне подложишь
На церковно-русском языке.

Козырять не вздумай нашей связью,
Потому что полдень-прохиндей,
Городской трехкомнатною грязью,
Отнимает счастье у людей.

Ты ж – невеста, в курточке на вырост,
Вся в делах, припудренных снежком,
Дуй на почту: космос нас не выдаст,
Став моим надёжным корешком.

Но когда, освоив злую пропасть,
Звездолёт ворвётся в Млечный путь,
Кто исправит сломанную лопасть,
Кто нам даст прилечь и отдохнуть?

Наплевать... Вселенная под нами
О семейной доле голосит,
Где, на стрёме, рядом с лопухами
Солнышко прощальное висит,

Где, не зная языков конкретных,
Обожравшись шейкою свиной,

Вальс летит от молний сигаретных
В лучший мир галактики иной.

* * *

Православным прохожим на зависть
Ты у Господа счастья моли,
Той, блокадной весны не касаясь,
Вопреки притяженью Земли.

Пусть походка твоя не окрепла,
На душе твоей станет светло, —
Это я тебя создал из пепла
И поставил опять на крыло.

Не имея ни денег, ни власти,
Вопреки ненавистной судьбе,
Это я приобщил тебя к касте
Звёздных женщин, подобных тебе.

Ты не веришь? Но знай, — повезло нам!
Вспомни, властные эти слова:
«Колокольным и солнечным звоном
Нас вчера обвенчала Нева!»

И сегодня для нас пусть воскреснет
Всё, что с детства искать довелось, —
Ты моя лебединая песня
О прозрении, прожитом врозь.

Презирая студенческий ужин,
Проходными дворами пройдем,
Чтоб караты бульжных жемчужин
Белой ночью измерить вдвоём.

* * *

Пока скворец, не уставая шастать,
Кормил птенцов и властвовал, и пел,
Трамвай маршрута номер девятнадцать
К Обводному каналу прикипел.

Он вёз меня, хвалу слагая буксам,
Туда, где ты слезами остеклишь
Объект, что нынче величают ГУПСом,
Носивший в детстве прозвище ЛИИЖТ.

Тяжёлый труд прокладывать тропинки
К исписанной студенческой доске,
Долбившей теоремы без запинки,
Когда зачет висит на волоске,

И пусть Конфуций ждёт твоих
признаний,
В колонном зале время распластав,
Трамвай, устав от пьяных притязаний,
Во сне зовёт на помощь плавсостав.

И вздрогнет вечность, ощутив презренье,
И дав сигнал: что снова пропасть зла —
На рубеже скольжения и тренья,
К утру в твоё бессмертье заползла,

Но ты, собрав немислимые знания,
И не бледнея в ужасе с лица,
Наивно ждёшь на площади Восстанья,
Трамвайный звон внезапного скворца.

* * *

Образумься, стряхни наважденье,
И во сне звездолёт не зови.
Ты прекрасна с момента рожденья
В нерастраченной нами любви.

Мы назвались четой королевской,
Целый мир поделив на двоих,
Чтоб, забыв про Фонтанку и Невский,
Ты взлетела с ладоней моих...

Догони, если сможешь, зарницу,
Медуницу вразнос повтори,
Превратись в запоздалую птицу
На краю однокрылой зари,

Анатолий РЫБКИН

Москва



* * *

Весенняя пора недалеке,
И небеса, свободные от стужи,
Перетекают синевой в лужи
И солнцем отражаются в реке.
Берёзы ослепительно белы,
Летят по небу, кронами порхая,
И сосны, от морозов отдыхая,
На солнце греют жёлтые стволы.
Преодолев невидимый порог,
Опять весна капелью зазвучала,
Наметив дней зелёное начало
На солнечных обочинах дорог.
Над лесом журавли издалика
Летят, весну в объятья заключая.
И ветры потеплевшие встречая,
Подснежник улетает в облака.

* * *

Покидает дубравы стужа,
Снег каплями растревожен,
И на бабочек первых похожи
На проталинах синие лужи.
Снова ветер весенний, нервный
В небе солнечной кружит пылью,
Лужи, тихо расправив крылья,
Отражают подснежник первый.

Вновь в овраге сугроб растает,
Утоляя черёмух жажду,
Лужи в небо вспорхнут однажды,
Незабудки в полях оставив,
Небо стало теплей и выше
Над простором оживших просек.
Над ручьями. Вершины сосен
Синевою небесной дышат.
Лес весенней зарёй пронизан,
Половодье почти как море,
С бесконечностью неба споря,
Голубеет под лёгким бризом.

* * *

Памяти Л. Щербаковой

Каким бы ни казался этот мир,
Мы все его когда-нибудь покинем,
Привычные дела и наши души с ними
Захватит в небе бездна чёрных дыр.
Мы полетим, минуя млечный брод,
Знакомые поставят в храмах свечки,
И нас с тобой неистово, как в речке,
Закружит вечных лет водоворот.
Нас позовут созвездий маяки,
И, может быть, совсем не сожалея,
Мы поплывём под знаком Водолея
По воле волн космической реки.
В галактике блуждая голубой,
Мы будем ветра прежнего касаться,
И будет нам издалика казаться,
Что мы плывём по Яузе с тобой.
На берегу, в определённый час,
Испытывая радость и печали,
Мы встретимся однажды на причале,
Среди друзей, ушедших раньше нас.
И будет жаль, что, повидавшись вдруг
С тобой в необитаемой вселенной,
Мы в образе материи нетленной
Пожать друг другу не сумеем рук.

* * *

В ручьях у оттепели есть
 Свободы радостные звуки,
 С зимою слышатся разлуки,
 И от весны благая весть.
 И с крыш от самого венца
 Сугробов мокрые лавины
 Сойдут на хрупкие рябины
 У потеплевшего крыльца.
 И ветер, с юга поспешив,
 Пургу рассеет и отбросит,
 Разбередив у зимних сосен
 Оцепенение вершин.
 Грядёт весна издалека,
 И оттепелью окрылённый
 Высоких сосен шум зелёный
 Тревожит в небе облака.
 Одежды зимние тесны
 Вершинам ёлок в небе где-то,
 Проснулись в хвое краски лета
 Под звуки солнечной весны.



Ольга РЫЧКОВА

Москва



* * *

В море или реке
 Кроется жизнь другая.
 На островном песке
 Рыба лежит нагая.

Тесен её зрачок,
 Взгляд уплывает влево.
 Снятся ей паучок,
 Царь, островная дева.

Дева монарха ждёт
 Кротко и терпеливо,
 Но исчезает флот
 За полосой отлива.

Дева, не плачь, не плачь:
 Нити при лунном свете
 Перебирает ткач.
 Вновь паутинки-сети

Сонная глубина
 Выдохнет постепенно,
 И за волной волна
 Берег поделят на
 Соль, острова и пену.

* * *

Деревья вырастают в корабли.
 Их ждут пираты, рифы и муссоны.
 Их ждут немолодые Робинзоны,
 Забытые в синеющей дали.

Когда молчит усталый океан,
 Когда и счёт потерян календарный,
 На горизонте парус легендарный –
 Смятенный призрак, зрительный обман–

Растёт и тает в зеркале игры...
 И Робинзоны спят и не услышат,
 О чём шумят под общей звёздной крышей
 Тугие корабельные боры...

* * *

Приходят искомые сроки,
 И валятся в снег на бегу
 Чтецы, эпигоны, пророки
 На гиблом пустом берегу.

А берег встаёт постепенно
 В дурмане тяжёлого сна.
 Тягучую рыжую пену
 Выносит слепая волна.

А время – провалами клавиш
 По грани земли и воды.
 И если ничто не поправишь,
 То снег маскирует следы.

ИЗ ЦИКЛА «ФИЛИНА ГРАМОТА»

Толстый рыжий кот Филипп
 К подоконнику прилип.
 Филя держит оборону:
 За окном кричит ворона.

Ты не вейся, дура-птица:
 Филя выгнется в дугу –
 И ни грамма не добьётся
 наших вискасов врагу.

ПЕСЕНКА

Жила на свете кисочка
 И хвост имела с кисточкой.
 А кисочка – малюсенька,
 А кисточка – тонюсенька.

Юрий РЯШЕНЦЕВ

Москва



* * *

Дремать – вот счастье на планете,
 где сон – мираж, а явь – бардак,
 и оба состоянья эти –
 никак не по душе, никак...
 А это положенье – между! –
 тебе даёт – зачем, Бог весть –
 не выход, но хотя б надежду
 на то, что выход всё же есть.

Дремота – время золотое,
 среди засухи – морской каприз.
 Быть может, это штить застоя.
 Но, может, эволюций бриз.
 Тут важно, что не шторм, не дико
 рыгающий, как хулиган,
 при этом с ником «Анжелика»,
 вихрь, смерч, торнадо, ураган.

Не мелочась – что место, дата? –
 исправив всё, что вкривь и вкось,
 «когда-нибудь» смешав с «когда-то»
 всё так счастливо собралось,
 так уподобилось сиянью,
 вернув из мрака имена,
 что стало вдруг почти что явью,
 почти что вырвавшись из сна.

* * *

Молча посмотрит краснеющий лист
за вековую ограду,
где произносит сплывавый расист
очередную тираду.
К скверным словам холодок не тая,
сквер наш плевал на угрозы.
Здесь темнокожая липа — своя
для белокожей берёзы.

Эти деревья — они вообще
нас обогнали в развитии...

Ты избегаешь гульбы, но — вотще:
сядь, поучастуй в распитье.
Трое нас. Трое! Так было всегда.
Так улыбнись нам заране.
Пусть она булькнет, живая вода,
в мирном бумажном стакане.

* * *

Майские бабочки заняты делом:
то подымутся, то опустятся.
Девушка в жёлтом и девушка в белом —
лимонница и капустаница.

Вылез на свет и сиделец подвальный,
что всю зиму провёл затворником.
И добродушный питон поливальный
лениво ползёт за дворником.

Это — уже репетиция лета,
лета краткого, лета русского.
Жаль, предвкушенья апрельского нету.
Да и похмелья июньского.

Жизнь с тёплым ливнем,
с древесной молвою,
эх ты, шкура ты, шкура шагренева!..
Белы, как сирень, облака над Москвою.
Их тень, как сирень, сиренева.

* * *

Размышлять о несчастной любви
лучше поздней весной,
в дни, когда, как известно, крепчает
инстинкт основной,
но обилие бабочек, солнца, сирени
и гроз
не позволит тебе сокрушаться
уж слишком всерьёз.
Всё влечёт, отвлекает, волнует,
и вдруг сознаёшь,
что несчастье несчастьем, но мир
так разбойно хорош,
что реальная суть рядовой
и неновой беды
не затмит изумрудного света
кленовой звезды.
Значит, надо подольше смотреть
на звезду, и тогда
постепенно в простую печаль
превратится беда,
а печаль обернётся приятною грустью,
и тут
уж совсем недалеко до первых
счастливых минут.

Ты глядишь в остролапые дебри
кленовой листвы,
все сокровища майского дня налицо,
и — увы,
этот день остаётся одним
из несчастнейших дней,
ибо, что б ты ни думал, ты думаешь
только о ней...

Не поможет природа — поможет
высокий наш слог.
В русской речи есть несколько слов,
подводящих итог.
Вся нормальная лексика
против подруги, а — за
лишь словесная шушера: дура,
шалава, коза...

* * *

Прошелестел «Мерседес»,
 прогудел во Внуково «Ил»,
 Прогрел на Щипок
 унылый трамвай. Четверг.
 Все созданыя свои человек уже
 запустил
 и тем самым свои же мечты о покое
 отверг.

Эти чёрные липы, растущие вкривь
 и вкось,
 свист дворов проходных, голубиная
 воркотня —
 всё, что в жизни спасло нас
 и что от нас не спаслось,
 растворяется в едкой щёлочи дня.

Август-то, как кетам у вас говорят, —
 отпад!..
 Блокнот мой и пухл, но безмолвен,
 как паразит.
 Рука разучилась писать — у нее айпад.
 Как ты думаешь, чем это мне грозит?

* * *

Мне всё равно, ты — вяз, иль дуб,
 иль клен,
 берёза или липа, или ива.
 Я не в листву роскошную влюблён,
 а — в странный нрав, необъяснимый, ибо
 ты, дерево, как будто лишено
 начал понятной мести иль обиды.
 Не то бы все мы были бы давно
 твоим суком безлистным перебиты.

Носители технических идей,
 строители, блин, мира без природы,
 ещё мы без деревьев и людей

оставим мир — какие наши годы!
 И кто тогда уже не под тобой
 приляжет в тень, погрев своё уродство,
 а под дымящей без толку трубой,
 былым столпом былого производства.

* * *

Флаги, флажки, после фляги и фляжки.
 Праздник. Регата. Никола Морской.
 Мойка. Фонтанка. Нева.
 Где там червончик в далёком кармашке?
 Что-то с Пушкарской подуло тоской.
 Хватит! Живём снова!

Так вот маляр говорил мне когда-то,
 выкрасив стену на кухне моей.
 Где-то он? Спился, небось...
 Блещет решетка у Летнего сада.
 Август без окон стоит без дверей,
 но продуваем насквозь.

Это счастливейший полдень Господень,
 длящийся вплоть до полуночной мглы.
 Яхты ушли на залив.
 Сфинкс пробегает, лохмат, беспороден,
 мельком обнюхивая углы
 этих загадочных Фив.



Константин САВЕЛЬЕВ

Харьков, Украина



* * *

Как жарко и радостно жить неумело,
влюбляться в лукавую речь...
А душу стеречь — распоследнее дело,
не надобно душу стеречь.

Из солнечной, летней, летящей беседки,
где треск прирученных стрекоз,
она норовит — попугаем из клетки —
в окно, на гранильный мороз.

Она в измеренье, где звёздно и пусто,
где главное не решено, —
шестое, почти позабытое чувство,
что было с рожденья дано.

* * *

Никому никакой не сподвижник,
в стороне от царей и мессий
жил да был чародей, чернокнижник,
заклинатель безбожных стихий.

Полуночной распластанной птицей
он летал над притихшим жильём,
обретаясь в истёртых страницах
у бессмертия снятых внаём.

Всё хотел из своей колыбели
переделать порядок земной,

где скандалили, пили и пели,
друг на друга ходили войной.

Всё летал в тишине виновато,
всё с надеждой смотрел из-под крыл...
и пришла к нему смерть: от солдата
иль от старости — я позабыл.

* * *

Апрель, переменчивый, трусит,
когда над родной стороной
орут перелётные гуси
расхристанной, рваной весной.

Сбиваясь, запенится стая...
Ввинтившийся в водоворот,
кричит, на клочки разрываясь,
прощаясь, гусиный народ.

И жизни наполнятся соты,
ведь мир восхитительно прост,
и время больших перелётов
кончается временем гнёзд.

* * *

Когда рассветом ясноликим,
сплетясь, плывут поверх голов
ворон задиристые крики
и перезвон колоколов,

когда в смурной, разбойной чаще
февраль, что с лешими знаком,
ручьём прищурится журчащим,
отхорохорившись снежком,

я вижу: прошен ли, не прошен,
вершится жизни поворот,
и лишь знакомица — пороша
мне прошлое вбивает в рот.
И ведь не взмолишься:
— Не путай...
какого — объясни — рожна?

Где драгоценны атрибуты,
там суть не очень-то важна.

* * *

Ах, как мир был хорош. Только так
залепили под дых...
Четверть века прошло. А порою —
заноеет на срезе.
А река, словно Стикс, отделила
одних от других,
и смеялся Харон в голубом
офицерском комбезе.

Я в треклятой дали был с ним шапочно,
в общем,
знаком,
что же вспомнился ты, флибустьер
с допотопного АНа,
в день, где хмурый февраль
выстилает гвоздики снежком
и холодную водку глотает из ломких
стаканов.

Все забудут про всё. И наступит
вселенский покой.
И сторевающий летун улыбнется,
смоля сигарету.
Смерти нет, капитан. Ты остался
за этой рекой,
где по кругу идешь и пытаешься
выбраться к свету.

Значит, всё — в перегнутой. И тогда
снизойдет благодать.
На весёлой земле не останется лжи
и обмана.
Я монету сберег, да кому её нынче
отдать,
загорелый Харон, бортмеханик
со сбитого Ана?..

Евгений СЕМИЧЕВ

Новокуйбышевск, Самарская область



* * *

Спит народ, как солдат на ходу,
Утомлённый в тяжёлом походе.
Сплю и я, но с народом иду.
И во сне остаюсь я в народе.

И во сне от него ни на шаг
Никуда я себя не пускаю.
Упираюсь в походный большак.
Мать-землицу ногами толкаю.

Запевалы охрипли. Храпят.
Командиров сморило истомой.
Спит народ, с головы и до пят
Убаюканный чуткою дремой.

Эй, взбрыкнувший во сне обормот,
Что кричишь о продажной свободе?
Видишь, спит утомлённый народ
На ходу, как солдаты в походе!

Спит служивый в строю человек.
Отдохнуть на ходу рад стараться.
Может день, может год, может век...
Боже! Дай мужикам отоспаться!

Звёзды космос вселенский копят.
Зорьки в небо всплывают и тают.
Мародёры-шакалы не спят —
Неусыпно народ обирают.

Но не рушится воинский строй
И на милость врагам не сдаётся...
Вот народ – богатырь и герой!
Берегитесь, когда он проснётся!

* * *

И жеребцы строптивые гнедые
Вздыхались перед строем на дыбы.
И генералы были молодые –
Воители фортуны и судьбы.

И золотом блистали эполеты,
И кудри развевались на ветру.
И молодые дерзкие поэты
Им гимны воспевали на пиру.

И канули навек в пылу и дыме
Во мглу те золотые времена.
И генералы стали сплошь седыми,
И не звенят зазывно стремена.

И потускнели крылья-эполеты,
В пыли музейной обрета приют...
И одряхлели дерзкие поэты,
И боевые гимны не поют.

Но верю я – грядут года иные,
И на седой отеческий редут
Прибудут генералы молодые,
И молодых поэтов приведут.

ЗАРЕВО ЛЮБВИ

Любезные мои башкирцы, молодцы...
М.И. Кутузов. 1812

Онемели в рощах соловьи.
Томные оледенели лиры.
Над Парижем зарево любви
Запалили беркуты-башкиры.

Солнечные певчие лучи
Не мечтали о таком размахе.

На себя надели беркутчи
Белые башкирские рубахи.

Весь поход в подсумках у седла
Берегли одежду и мечтали,
Чтобы над чужбиной расцвела
Родина весенними цветами.

Никаким стихам не передать,
Как Париж влюблённостью лучился.
Ведь не зря науке побеждать
Беркутчи у беркута учился.

От альковной приторной тоски
Галльские обезумели дуры.
На Монмартре конные полки –
Северные снежные амуры.

Славные башкирские орлы!
В их глазах огонь любовный жарок.
По четыре огненных стрелы
В сердце у любой из парижанок.

По четыре пламенных стрелы
Достаёт башкирец из колчана,
Чтоб распался мрак бездонной мглы,
И на сердце музыка звучала.

Две стрелы пускает он вдогон
На печаль и гибель иноземцев.
Обогнув шатровый небосклон,
Обе поражают вражье сердце.

Следом выпускает ещё две,
Добивая раненого галла,
Чтобы дрожь в кипящей тетиве
На ветру сквозном не остывала.

Как певуча лука тетива!
Это вам не струны слёзной лиры.
На любовь победную права
Предъявляют беркуты-башкиры.

В этом грешном мире лучше всех
Женщины возлюбленные знают,
За какой воинственный успех
Воинов в амуры посвящают.

И ведут лукавый давний спор
Древние башкирские аулы,
Почему же с тех победных пор
У французов каменные скульпы?

Вроде, не с уральских гор они
И совсем Башкирию не знают...
Почему же даже в наши дни
Так башкир они напоминают?

Жаны, Жаки, Жоржи и Луи...
Егеря, драгуны, кирасиры...
Смерть свою бесславную нашли
Под снегами жаркими России.

Конные башкирские стрелки
В битвах тыщи вёрст перепластали.
И распутным галлам вопреки,
Мраморными ангелами стали.

Воина башкирского стрела,
Просвистев в имперском небе хмуром,
Францию от гибели спасла,
Став стрелой сердечною амура.

...Онемели в рощах соловьи.
Над Парижем замолчали лиры.
Запалили зарево любви
Любезары-беркуты-башкиры.

Любезар – любезный человек.
А поэт, в Отечество влюблённый,
Это слово пылкое, как снег,
Перевёл – любовью озарённый.

Далеко не каждому дано
Покорить любезностью французов.
Не на это ли в Бородино
Намекал башкирам граф Кутузов?..

Владимир СИЛКИН

Москва



В МАЙСКИЕ ВИШНЬЕ ВЬЕ МЕТЕЛИ

Соловьи мои не улетели,
Перещёлк хрустальный не затих.
В майские вишнёвые метели
Как бы жил я, Господи, без них?!

Слышь?! Они уже вблизи запели,
Чу! Уже у самого крыльца.
Соловьи мои не улетели,
Поселились в чуткие сердца.

Видно, спать не хочется кому-то,
Ночью думы у людей свои.
И молчаньем наполняют утро
Певшие бессонно соловьи.

ГОРОД ЮРИЯ ГАГАРИНА

Сини первые прогалины
В небе празднуют сейчас.
В город Юрия Гагарина
Я въезжаю первый раз.

Вот она, судьба солдатская –
Занесло, куда не ждал.
Увидать пролески гжатские
Я не думал, не гадал.

Мне не верится и верится,
Что он здесь когда-то рос...
Да, Земля, конечно, вертится,
Но как быстро, вот вопрос?

Ведь полсотни лет, как пройдено
Расстояние до звёзд,
А земля его, а родина
До сих пор к себе зовёт.

Знать, Земля всю вращается,
Чтоб от солнца не отстать...
Только он не возвращается,
Чтоб на эту землю стать.

Он стоит сегодня, бронзовый,
Хоть Герой, а неказист.
И закат, недолгий, розовый,
По лицу его скользит.

Сколько счастья нам подарено
От его лучистых глаз...
В город Юрия Гагарина
Я въезжаю первый раз.

СКАЗКИ

Рассветный луч коснётся не спеша
Моих волос малиновою краской,
И, добрый свет впитав в себя, душа
Отправится охотиться за сказкой.

А сказок этих тут полным-полно,
Их то и дело сочиняют люди.
Пока земле вращаться суждено,
На свете сказка продолжаться будет.

Давай пойдём в ближайший магазин,
Возьмём сачок для долгой ловли сказки.
Пойми же ты, что человек один
Не может жить без радости и ласки.

Ну, улыбнись! Какая красота
В твоих очах безоблачных застыла!

И впору мне хоть головой с моста,
Пока меня за счастье не простила.

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

Чистый четверг перед Пасхой,
Всюду пекут куличи.
С доброй улыбкой и лаской
Входят в палату врачи.

Видимо, время такое —
Душу свою очищать,
И состоянье покоя
Даже больным ощущать.

Верю: всё будет прекрасно
И обойдётся без слёз,
Ведь за людей не напрасно
Шёл на Голгофу Христос.

Церковь не спит под балконом,
Молится в церкви народ,
И приложиться к иконам
Благоговейно идёт.

Чистый четверг и отсюда
Людам до Пасхи — три дня.
Хочется, чтоб это чудо
Не обошло и меня.

* * *

Сошла вода, забылось половодье,
На луг Ямской слетаются стрижи.
О, жизнь, постой, не напрягай поводья,
Свою лояльность людям докажи.

Ну, дай им власть набегаться по лугу,
Как в свой разлив беспечная вода,
И чтоб они поверили друг другу
И не теряли веры никогда.

Владимир СКИФ

Иркутск



* * *

Красной жаровней пылает закат,
Или в огне моё сердце сгорает.
Ветер колючий – лесной музыкант
На золотой камышинке играет.

Что он играет? О чём он поёт
В вечном своём неустанном полёте?
Ветер забыть мне тебя не даёт,
Что расставалась со мной на болоте.

Дыбом вставала осока-трава,
И загоралась от крови заката...
...В ночь покатила моя голова,
Как за любовь неземную расплата.

Ветер свистел: – Никогда, никогда
Осень с любимой – не повторится...
...В зябкий кочкарник
сорвётся звезда,
И в темноте – пустота загорится...

* * *

Александр Казинцеву

Звенит надо мною большое
стеклянное небо,
Царапает душу колючая, ломкая высь.

Ещё далеко до осеннего первого снега,
А птицы, как пули,
уже в никуда понеслись.

За ними душа, словно ласточка,
в небо рванулась,
За край горизонта ушла
и на самом краю
Крылом зацепилась за Родину
и оглянулась,
И с лёту упала на тихую землю свою.

Упала, уткнулась в пожухлые,
горькие травы,
Забыв улетевших в невечное прошлое
птиц...
Ей стали ненужными почести,
вестники славы,
Ей только б с молитвою
пасть перед Господом ниц.

Покинули Родину птицы и, может быть,
правы...
Травинки приникли к моей
измождённой душе.
И небо, как зеркало,
не отразило Державы,
Стеклянной Державы,
которой не стало уже.

ЖУРАВЛИ

В колыбели моей хризантемы цвели,
А осенние листья достались
в наследство.
И летят журавли, и летят журавли
Сквозь меня, сквозь моё позабытое
детство.

Вспомню нашу деревню и станет
теплей
В непроглядном, как ночь,
и расхристанном мире.

Никогда не смогу позабыть журавлей,
Что летели по небу, играя на лире.

Дорогие мои, леденеет земля
И о первый мороз спотыкается осень.
Превращался и я в эти дни в журавля,
И кричал, и летел в светоносную
просишь.

Горизонты мостили в глазах пелену,
На виске у земли бились тёмные реки,
Там тугие сомы прилипали ко дну,
И в тоску журавли улетали навеки.

Кто-то лунный свинцом заливал
тишину,
Грызла лошадь ночная –
пеньковые пути...
...Снова в детство,
как в небо,
с утра загляну,
Там летят журавли без меня почему-то.

* * *

Душа стала слепнуть и в мороке
чёрном
таиться,
И ждать потрясений, и острые звёзды
глотать.
А тьма всё темней, но душа слепоты
не боится,
Она обострённее чует земли благодать.

Душа стала меркнуть, но света она,
в самом деле,
Во тьме не теряет,
над бездной, как солнце, висит.
Душа не забыла ни гор, ни глубоких
ущелий,
Ни белых метелей, где русское горе
сквозит.

В ней столько любви и тревоги,
в ней столько боренья,
Что кажется снова, черпнув
благодати земной,
Душа обретёт свои силы и острое
зренье,
Спасая Отечество, не постоит за ценой.

* * *

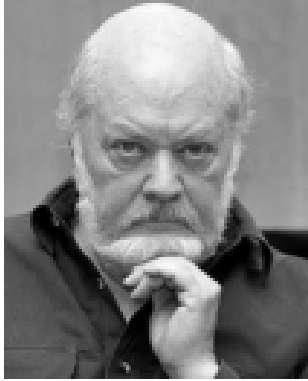
О, Боже мой! Как благолепна осень!
Какой рассвет, какая в поле тишь.
По небу осень солнышко проносит,
И ты – тиха – средь осени стоишь.

Вот подошла к берёзке, прикорнула,
Вот горькую рябину обняла.
Вот на коленях у меня уснула,
И так бы вечность целую спала.



Лев АННИНСКИЙ

Москва

**СРЕДЬ ШУМНОГО БАРА...***К 80-летию со дня рождения С.Ю. Куняева*

Простите мне этот нехитрый каламбур – он навеян книгой Станислава Куняева, которую я – по старой доброй традиции шестидесятих годов – получил от автора: «На память обо всем, что было и прошло».

Книга называется: «Средь шумного бала...» Это название и подвигло меня скаламбурить: настолько весь облик Куняева не вяжется с таинственно-томной аурой знаменитого романа, что в аннотации издатели растолковывают: «Время взвинченное, смутное... Шумный бал жизни с его пронзительной музыкой, тихими мольбами, истошными воплями, торопливыми исповедями...» ТАКАЯ картина реальности близка к куняевскому мироощущению, ТАКУЮ реальность он ненавидит и в неё ненавидяще всматривается. Но на «бал» она все-таки мало похожа. Тут уж скорее: средь шумного блуда... средь шумного гвалта... средь шума, базара и т.д.

В книге – проза и публицистика. Куняев-публицист мне более или менее знаком, но Куняев-прозаик для меня нов. В сущности я впервые читаю его. Читаю с увлечением. Фактурно-точные, интонационно-достоверные, полные замечательных наблюдений очерки о поездках на Мегру Тунгусскую и о беседах со стариком Фарковым. Очерки о тьян-шаньских маршрутах с геологами Эрнста Портнягина. И прежде всего – очерки о родной Куняеву Калуге, об искалеченной революциями и войнами, так и не оправившейся русской провинции. Эти очерки, меченые семидесятыми-восемидесятыми годами, не только не постарели за годы «шумного бала», то есть ненавистной Куняеву «перестройки», но, наоборот, приобретают всё больший вес в теперешних размышлениях о путях России.

Я не могу сказать, что разделяю все чувства и мысли, которыми искренне делится со мной Куняев-прозаик. Но это чувства реальные и мысли, не навеянные газетной борьбой, а вырастающие из глубинного контакта с реальностью. Это интересно и ценно даже там, где вызывает на спор.

В главном-то я с Куняевым согласен: надо любыми средствами и способами спасать русское самосознание. От чего спасать? От самоистребления и внутреннего распада. А

может, от внешних «оккупантов»? Это один из главных и острейших вопросов. И – как спасти? Отсекая «чуждое» и колеблющееся? Или приращивая «тянущееся», то есть тоже колеблющееся? На этой почве, то есть на почве непосредственно пережитого опыта, реальных впечатлений и достоверных картин жизни, – и спор может быть плодотворен, вернее, даже не спор, а попытка пережить и понять реальность, увиденную с разных сторон.

Тем более что боль за Россию у нас общая. И то, что другой страны у нас нет. И мучительная мысль о «границах» той нехватности, которую мы называем русским духовным космосом: «...*О том, как легко русский человек сходитя с другими народами, как охотно ронитя с ними, принимая в свою жизнь их быт, нравы, обычаи. Может быть, потому, что громадные азийские просторы лесов и пустынь государственной волей освоить было невозможно – а где государство, там больше насилия, железа, крови, диктата, – русский человек сумел сам распространитя на восток мягко и естественно, ужитяся и с якутом, и с бурятом, и с киргизом. Помнитя, как на Тунгуске дед Роман Фарков, в смуглоте и разрезе глаз которого были явственны приметы какого-то сибирского племени, размышляя о своем поезде-соседе, обмолвился: «Да ён, хоть у него мать эвенка, наш, преображенский, русский...»*

«Преображенский» в эвенкийском контексте – особенно хорошо. А что, так оно и было в русской истории: человек, попадавший на русскую службу и в поле притяжения русской культуры, признавался русским независимо от того, какая там у него «смуглота» или «разрез глаз» и из каких племен рекрутировались его прабабки. Он – русский по культуре, по самоощущению, по самоопределению. Говорю: «русский», хотя по нынешнему политесу полагается говорить: «российский». И всё-таки говорю: «русский», потому что это определение изначально неэтнично, полиэтнично, сверхэтнично, и только теперь, в ответ на всеобщее национальное своебесие русские стали искать у себя этническую однородность. Может, и найдут. «Телу» станет уютнее. «Душе» – легче, хотя в этом я уже сомневаюсь. Но что «дух» будет утерян – мировой дух в русском «исполнении» (лучше сказать: послушании) – это уж точно. И с ролью в мировой истории окончательно распрощаемся.

Но как соединить «мировую амплитуду» и органическую собранность жизни?

А это уж каждый решает, и по-своему. Куняев, например, зимой в Москве штудирует Константина Леонтьева и Ивана Ильина, а летом подаётся в зимовьё: охотится, рыбачит, стряпает, спит на нарах, слушает пленительно-косноязычные речи деда Романа (и записывает их потом со впечатляющей выразительностью).

Это называется у него: соединить «бога и зверя».

Он впадает в ярость, когда пробудившиеся в Америке сионисты пытаются отнять у него Мандельштама как поэта еврейского: он его не отдаёт! Я могу понять его резоны, но не могу понять ярости. Культурное достояние – не кусок для делёжки, это воздух, которым каждый дышит в силу своих легких.

Это же и есть судьба наша, предназначение наше, ПРЕОБРАЖЕНИЕ наше: всякий, кто согласен быть русским, кто принимает язык русский и культуру, кто вписывается в нашу жизнь (хотя и не вписывается безостаточно ни в православие, ни в коммунизм, ни

в питерство остзейское, ни в ордынство московитское, ни в Киевскую Русь, ни в варяжскую Прарусь), – всякий, кто готов и хочет быть русским, – им становится.

А кто не готов и не хочет?

Ни тащить, ни агитировать не надо. Обойдёмся. В основе должно быть – достоинство.

Мне хотелось бы акцентировать внимание на куняевском рассказе «Старый двор» потому, что тут замешаны «немцы». А отношения с немцами (и вообще с Западом) у него как патриота России куда более сложные, чем с эвенками и таджиками.

Тут есть смысл взглядеться повнимательнее.

Шанс взглядеться автор даёт нам в рассказе «Орднунг – то есть порядок». Однажды он, вместо того, чтобы завалиться к деду Роману в зимовьё, покатил в Европу. Собственно, заставила его туда поехать жена, судя по рассказу, женщина умная и волевая. Во всяком случае, на его патриотические речи по поводу того, что русскому человеку западный комфорт ни на дух не нужен, потому что русский человек, если что не по нём, рванёт на Дон, либо в Сибирь, либо на Север, на реку Мегру – на эти речи жена реагирует спокойно:

– Иди ты со своей Мегрой! Надоел!

И он покорно идёт – идёт вслед за нею смотреть западноевропейские витрины, после чего ему делается дурно, «как после тяжёлой пьянки или блуда». «Вот лощёная морда всемирной бесовщины!» – думает он ночью, не в силах заснуть: в глазах пляшут твидовые блейзеры, сверкают лакированные «мерседесы», завывают магнитофонные плёнки – символы Золотого тельца.

«Помоги, Господи!» – стонет он и вытаскивает руку из-под роскошного гостиничного одеяла, но... бывший пионер-комсомолец-партиец – не может вспомнить, с какого плеча кладут по-русски крестное знаменьё... Бог не в помощь – помогает известный богохульник Сергей Есенин, которого Куняев торопливо читает наугад, чтобы прогнать бесовское наваждение. И прогоняет же!

Да не подумает читатель, что я иронизирую, глядя на рассказчика со стороны. Нет, эта полная юмора сцена именно в такой тональности и написана самим Куняевым. Он владеет техникой «низведения пафоса» – техникой «нечаянного упоминания». Эта-то вязь «наивных» подробностей при умалчивании мотивировок, да спрятанная в углах рта улыбка и делают тон, создают ауру повествования. У Куняева почти нет в этой музыке ошибок.

Впрочем, один раз он всё-таки «прокальвается». Когда обозлённый немецким «орднунгом» рассказывает нам (нам!), как, уезжая с Мегры, «неожиданно для себя» заплакал и... поцеловал «эту землю».



Господи, да кто ж из нормальных людей не испытывал такого желания и не поддавался ему «неожиданно для себя» — потому что «ожиданно» это делают только позёры или политики! Да из всей прозы Куняева видно, что он «эту землю» любит — тут «поцелуй» висит в воздухе. Но именно поэтому такой поцелуй рискованно описывать, а уж от первого лица и вовсе невыносимо! Описание коварно — глядишь, и любовь к «этой земле» из глубоко интимного чувства превращается в патриотический жест.

Но вернёмся к чувствам подлинным.

Итак, «с точки зрения Запада, мы народ нецивилизованный. Но я не стыжусь (пишет Куняев) этой особенности и горжусь ею».

«Горжусь» — сказано, пожалуй, в запальчивости — в ответ на ехидный вопрос парижской газеты «Монд», попросившей Куняева в 1991 году прокомментировать распад СССР. Куняев ответил яростной статьёй «Плач по Советскому Союзу» и демонстративно отказался узнавать, напечатали они его ответ или нет. В этой ситуации я абсолютно с ним: и в его отказе, и в плаче по великому государству.

Но речь о почве, которая ушла из-под ног. Что мы, русские, народ «нецивилизованный» — не провоцирующая декларация, нет, это сквозная боль; картинки этой «нецивилизованности» — самое сильное, что есть в куняевской книге! Тут и непредсказуемая дурь соотечественников, и мировые прожекты спивающихся неудачников, и фантастическое равнодушие к собственным бедам, и готовность жить как придётся, довольствуясь чем попало... Виртуозно записанные монологи махнувших на себя рукой русских «максималистов», «самарских» бомжей и неприкаянных душ — это уже не декларация, это художественный документ.

Так отчего же мы такие?

Отчего дети, вчера еще голодавшие дома, попав в интернат, начинают брезговать рисовой кашей и бросаться друг в друга конфетами? Что за проклятье над нами: чем лучше делается жизнь, тем хуже делается народ?

Куняев говорит: природа. На наших болотищах и камнях — другое не удержится: вымерзнет, высохнет на ветрах-суховеях. Мы — такие, какие есть, потому что веками осваиваем землю скудную и неудобную, невыносимую для «нормальной цивилизации»...

Значит, прав старик Фарков, когда он в своём зимовье клянет власти, отселяющие народ из «неперспективных деревень»? Оно, конечно, дурость в народе есть всегда, но на деревне всегда и видно, кто хороший человек, а кто плохой. В городе — как увидишь?

Всё так, однако, когда подходит край старику Фаркову лечь на операцию, он в зимовье не остаётся, а едет в город Иркутск, да еще спасибо, говорит, что там в это время оказывается МОСКОВСКИЙ ПРОФЕССОР — дай бог ему здоровья: вылечил...

Да, профессору спасибо, — соглашается Куняев, — но, философски говоря, когда медицина становится учёной и официальной, — душа всё-таки скудеет. Раньше человек умирал дома, на руках у родных, теперь его сплавляют в больницу; мир от этого ожесточается и леденеет... *«и такое везде — в Америке, в России, в капитализме, в социализме... Сестра милосердия стала дежурной медсестрой».*

Насчёт сестры понятно, а вот насчёт Америки, капитализма и западной цивилизации кое-что хотелось бы додумать.

Вернёмся к тому моменту, когда Куняев, отгоняя бесов крестным знаменем, клянёт в австрийской гостинице западную цивилизацию:

«Красиво, ничего не скажешь!.. Иначе бы не соблазняло. Так почему страшно? Потому что красота хищная, бездушная, доступная всем, продажная, кричащая, присягающая Золотому тельцу, и я отдаюсь тебе, всю жизнь будешь жить мною, работать для меня, ничего не жалеть, чтобы поменять мотоцикл на машину, лодку на яхту, яхту на личный самолёт, квартиру на виллу. Я – твоя! Но и ты – мой...»

Постойте. Она – кричит: «я – твоя». Но тебя-то кто заставляет менять лодку на яхту? Тебе яхта ни на Мегре, ни в редакции «Нашего современника» вроде бы ни к чему. На алчные вопли продажной цивилизации есть только один нормальный ответ: покупай то, что тебе действительно нужно. Фиберглассовое удилице сгодится? – бери, пожалуйста. Форель половить на берегу Сардай Меаны, Эрнста Портнягина рыбкой попотчевать. Деда Фаркова удочкой поразить.

«Дед с любопытством ощупывает: из чего сделана. Из стеклопластика, западногерманская...»

Романыч проверяет удилице на гибкость, на прочность. Головастые мужики! Да все равно мы их побили!»

Молодец, дед! Знает политику. Отличает бандита от работника. А то у нас так, кто с мечём к нам войдёт, того и с зубной щёткой не подпустим. Сечёт дед разницу между шмайсером и щёткой.

Куняев же не поддаётся: эти мирные западные цивилизаторы для России ещё опаснее, чем Гитлер с его танковыми армиями! Каждое столетие Русь колошматит внешнего агрессора, тем сплачиваясь и очищаясь. Но как уберечься от тихого вползания цивилизаторов, от хитрозадых современных проектировщиков «европейского дома»?

«Мы – православно-мусульманская Евразия, и потому попытка построить на нашей почве европейский дом – утопия».

А Опоньское царство (то есть «японское») – не утопия? Да вся Российская Империя строилась по сменяющимся утопическим проектам («Москва – Третий Рим» и т.д.). Утопии полезны не потому, что их будто бы можно реализовать, а потому, что, пытаясь их реализовать, люди решают жизненные задачи. Куняев оплакивает Советский Союз – я тоже. При этом он клянёт коммунистическую утопию. Я – нет. Потому что берутся строить химеру, а строят реальность. Есть вещи, которые без анестезии не построишь. Особенно в век мировых войн и революций, когда всем до тебя дело.

Думая о том, какой душевный тип воплощён в творчестве Станислава Куняева (я имею в виду и поэта, за которым слежу давно и с интересом, и прозаика, которого оценил теперь), я склонен сравнить эту психологическую натуру с той, которая воплощена в стихах и характере Бориса Слуцкого.

Недаром же именно Слуцкий был первым ментором Куняева – единственный из всех московских поэтов помог молодому автору, когда тот вернулся из Сибири в столицу с первыми стихами. Почуялась родственная душа! Недаром же и Куняев как поэт всю жизнь пытается освободиться от влияния Слуцкого.

Статья Куняева о Слуцком, вошедшая в сборник «Средь шумного бала...», настолько

проницательна и точна по мотивировкам, что я попробую охарактеризовать с ее помощью самого автора.

Станислав Куняев мужествен и бесстрашен. Он последователен и жесток в отстаивании своих идей. А ирония судьбы в том, что лично добрейший человек заковывает себя в доктрину. Слуцкий заковал себя в комиссарство, да так и не освободился – не перешёл границ своего времени. Куняев – поэт следующего поколения – освободился. От комиссарства и коммунизма. Но заковался в новую доктрину: в русское почвенничество. Я думаю, это произошло всё по той же причине: потому что вне доктрины душа слишком незащищена.

Я подозреваю, что и иступлённая любовь Куняева к Есенину – попытка «восполнить недобор». Есенину было плевать на доктрины: он мог слыть большевиком или антибольшевиком, ленинцем или забулдыгой, верующим или богохульником. Но для этого надо иметь душу... бесшабашную что ли, то есть безжалостную к себе и к другим. И ко «времени», которое тебе досталось.

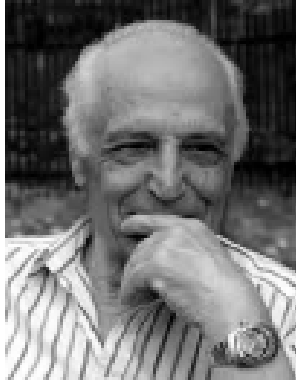
Кстати, Куняев зря жёстко связывает вопрос о «времени» с сакраментальным вопросом о «величии» поэта. Слуцкий, мол, не «великий поэт», потому что не преодолел своего времени. Я бы так не связывал эти сферы. Вопрос о «величии» вообще довольно словесный, а реален другой вопрос: будут ли перечитывать поэта потомки, и КАК будут перечитывать? Потомки и решат, кто велик. А потом перерешат, и ещё не раз перерешат.

Нам же остаётся одно – постараться понять, что происходит в добрейшей душе поэта. Как бьётся «милая лира» его в тисках доктрины, и как спасается поэт с помощью доктрины от невыносимой реальности. Как держится он в этом потоке... среди шумного хлева... блева... бреда... Желающие могут продолжить.



Валентин СОРОКИН

Москва



БЕЛЫЙ ХРАМ

Памяти Ивана Акулова

Белый храм в зелёном поле,
Ты на много лет затих.
Сколько радости и боли
В стенах спрятано твоих?

Изменяли и венчались,
Предавали и клялись.
Тройки трактами промчались,
Воронье пронеслись.

Тут в рубахе рукавистой,
Схожей с высверком зари,
Били в колокол бурдастый
Громовержцы-бунтари.

Плески чудные распевов.
Долгий стон и гневный зык,
Потому из медных зевов
С корнем вырвали язык.

И от края и до края
Так, что ярь не убережь,
По толпе гульнул, карая,
Гнутый бериевский меч.

Храм обычный и нетленный,
Словно каменщик простой,
Ты поднялся над вселенной
Врачевальной красотой.

Непростудный, неподсудный,
Встал сквозь гибельную чадь
Наши судьбы в жизни трудной
Звёздным светом отмечать.

Подвиг предков не напрасен:
Приглядишь: по Волге вновь
Проплывает Стенька Разин,
С вёсел стряхивая кровь!..

* * *

На землю да на Бога обопрись
Среди житейских бурь и перекосов...
Не отнимайте Киевскую Русь
У сыновей её, великороссов.
Они ушли из приднепровских мест
В объятья азиатского тумана
И золотой христоподобный крест
От океана взмыл до океана.
Тот крест летит, бессмертием не снят,
На трактах шумных

и на тропах узких
Сегодня снова конники теснят
И в гике заарканивают русских.
Ещё сверкнут державные слова,
Дабы Россия верная очнулась
И на путях сражения Москва
От вражеских ветров не покачулась.
Я поучать потомков не берусь,
Но, слышите, кричит нам сирия-птица:
«Не отнимайте Киевскую Русь,
Мать наказала детям возвратиться!..»
Когда по Воже заскрипят с утра
Кибитки в скорбных ивах переката, —
На берегу былинного Днепра
Брат перед братом смолкнет виновато!

* * *

Я сед, а время хуже,
 Лишь распахну я дверь
 И слышу, мама тужит:
 «А где мой сын теперь?»
 О, ничего не сдавши,
 Что было, то моё,
 Я и теперь не старше
 И не мудрей её.
 Такие бури плыли,
 В морях крошился лёд,
 Но вновь из мглы и пыли
 Седая мать идёт.
 Рябина ли у тына,
 Крест на холме страны, —
 Её виски и сына
 По седине равны.
 Не сказкой сновидений
 Живи,
 а явью встреч...
 В Кремле — чужие тени,
 В полях — чужая речь.
 Молчи, молчи, Царь-пушка,
 Царь-колокол, молчи.
 Звени, звени, кукушка,
 Плачь, соловей, в ночи!

* * *

Когда-нибудь придет к моей могиле
 Обыкновенный добрый человек,
 Цветы положит:
 «Как его травили,
 И всё-таки dokonчили, доби́ли...»
 Что делать мне?
 Безжалостен мой век.
 Я жить устал, я утомился драться,
 Но трижды честь Отчизны дорога.
 О, жалкое предательство мерзавца
 И ненависть столыкая врага!
 К нам чужестранцы трассы проторили,

Но верность наша в мире не умрёт:
 Пусть проторили,
 да не покори́ли,
 Лишь правом на возмездье одарили,
 Ведь храбрость в гневе города берёт.
 И я из тех, кто штыковые раны
 В часы затишья смачивал росой,
 Одолевая бури и туманы
 Над тихою несжатой полосой,
 Где каждый колос гибелью охвачен,
 Где русская родимая земля
 не зёрнами —

 слезами предков плачет,
 И крест её воинственно маячит
 На величавом куполе Кремля.
 Придёт к могиле человек хороший,
 Вздохнёт,

цветы положит,

а пока

Мне ветер боя волосы ерошит
 И держит меч надёжная рука!..

* * *

Сестре Марусе

Ты, сестра, не виновата
 И гора не виновата:
 Я нашёл могилу брата, —
 Та могила в землю вмята.

Вмята войнами и бытом,
 Страхом, ветром и копытом
 На Урале знаменитом,
 Муравой-травой повитом.

Плачь, сестра, еще два брата,
 Бабка с дедом,

помнить надо,

Да и прадедов нам тоже
 Забывать, сестра, негоже!

Плачь, сестра, и я поплачу,
 Что я значил, что я значу,
 Если в бурях тёмной силы
 Сгасли русские могилы?

Если русская судьба,
 Как сугулая изба,
 Зашаталась, покачнулась,
 В океане бед очнулась.

А на каждом берегу —
 По бандиту, по врагу,
 Плачь, сестра,
 плывут могилы,
 Воют бури тёмной силы.

Плачь, сестра, нельзя молчать,
 Я хотел перекричать
 Грохот века, но мой голос —
 Взятый стужей, дальний колос,

Никнет, клонится, один,
 Посреди родных долин,
 Скал, сверкающих окрест,
 Где упал последний крест.



Евгений СТЕПАНОВ

Москва



ПРОКУДИН

Плачет Егорка Прокудин —
 Счётчик удач на нуле.
 Не было, нет и не будет
 Рая на грешной земле.

Плачет мужик горемычный,
 Феней бранит этот мир.
 Пьёт по старинной привычке
 Чёрный, как вечер, цифирь.

Воспоминаньям заслونا
 Нет — не уймутся никак.
 И вспоминается зона,
 Шконка, больничка, барак.

Острая, как пилорама,
 Память крошит мужика.
 Мамочка, мамочка, мама,
 Участь его нелегка.

Плачет Прокудин Егорка —
 Радости нет ни на грош.
 Что ж ты, судьба-крохоборка,
 Слезы ему не утрёшь?

* * *

Дожил дурак дураком до седин.
 Нынче один — вроде анахорета.

А вместо водочки – валокордин.
А вместо девочек – муть Интернета.

Вот ведь какая настала пора,
Вот ведь какая, скажи, незадача,
Если сумел дотянуть до утра –
Значит, тебе улыбнулась удача.

Чётко работает почта небес.
Сердце колотится, точно в аврале.
Видно, архангелы шлют SMS.
Лучше бы всё-таки не присылали.

* * *

Дробит на части капитал
Мозги и слабенькие страны.
И человек снова мал.
И вновь зализывает раны.
И – в телевизор погружён –
Стремится жизнь узреть иную.
А телевизор, как шпион,
Ведёт работу подрывную.
Но если кто-нибудь решит,
Что мир в руках пройдохи беса –
Над тем заплачу я навзрыд,
Ведь тот не понял ни бельмеса.

ПАМЯТИ ВАЛЕРЫ

Тётка с косою приходит непрошено —
Стол накрывай второпях.
Тихое слово Валеры Прокошина
Нынче звучит в небесах.

Лучшим поэтам немного отмерено
Лет и удачливых дней.
Тихое-тихое слово Валерино
Всё почему-то слышней.

ПАМЯТИ САШИ

В дурдоме живёшь ли, на воле —
Нигде не сносить головы.

А жизнь – это минное поле.
Повсюду воронки и рвы.

Печальна планида, плачевна.
И на сердце горечь и боль.
Как дико, что Саша Ткаченко
Уже не сыграет в футбол.

Крымчакская книга – нетленка.
Придуманный эпос велик.
Как дико, что Саша Ткаченко
Иных не задумает книг.

Не нами расписаны роли.
Мой друг на другом берегу.
А жизнь – это минное поле.
Опасность на каждом шагу.

НАДЕЖДА

Не грусти, дочь моя,
что отец твой небросок.
У отца за спиной пара крепеньких крыл.
Если жизнь это пачка смешных
папиросок,
Может быть, я покудова не докурил.
И сознания груз не убийственно тяжек,
И надежда на вечность, как прежде,
дана.
Остаётся – Бог даст! –
ещё много затяжек.
На худой же конец – остаётся одна.

* * *

Я навьючен, точно верблюд, тюками,
Тюками контрактов, проблем –
напасть.
Я поддерживаю сердце руками,
Иначе оно может упасть.

Двадцать лет кряду – офис, работа,
Галстук, точно удавка, сорочка, пиджак.
Я хочу, как Мюнхгаузен,
вытащить себя из болота.

Выгашить себя из болота я не могу никак.
 Я люблю Наташу – она далече.
 Прогоняю Машу – она со мной.
 Получается так: судьбе невозможно
 перечить.
 Получается так: жизни не будет иной.

* * *

И – тесно папироске в пачке.
 И – тесно костерочку в печке.
 И – тесно в конуре собачке.
 И – тесно бабкам на крыльчке.
 И – тесно мне в квадрате неба.
 В прямоугольнике державы.
 Но – плакать, плакаться нелепо.
 Всем – тесно, всем, о, Боже правый!

* * *

У зимы затянулся жестокий забег.
 Сумасшедший, безжалостный
 мартовский снег
 Закрывает ресницы
 московским прохожим.
 Что-то скрыть иль укрыть он желает,
 похоже.
 Он метёт день-деньской,
 он метёт и метёт.
 Лишь один необычный, седой пешеход
 Не страдает от снежного круговорота.
 Потому что прожил лет, наверно,
 пятьсот,
 Потому что изведаль нездешнее что-то.



Анатолий СТОЛЯРОВ

Саранск, Мордовия



КАНОНАДА СЕРДЦА

Из-за леса, что стоит утёсом
 За домами старого села,
 Неживым огромным водоносом
 Туча грозовая напоззла.
 Ей в седом пространстве было тесно,
 И она, сжимаясь, как кулак,
 Била-колотила в свод небесный,
 В каждое окошко и чердак.
 А затем, отяжелев от ноши,
 Раскрутив судьбы веретено,
 Изо всех зашторенных окошек
 Выбрала-пометила одно.
 И в него, возникнув в полумраке,
 С дальними громами в унисон
 И с тревожным лаяньем собаки
 Постучался старый почтальон.
 Он стучал – и трепетала рама,
 Съёжился в испуге частокол:
 «Из Афганистана. Телеграмма,
 Распишитесь». И глаза отвёл.
 Дом затих, как после долгой ссоры.
 Потемнели разом зеркала.
 Мать искала у стола опоры.
 Не нашла. Упала у стола.
 Под звездой, с курьерского, ночного,
 Что к перрону жалостно приник,
 Пареньки, ступая хромоноого,

Сняли беззащитный, страшный цинк.
 И родня, стоящая сурово
 Возле стрелки, где фонарь горит,
 У состава нефтеналивного
 Плакала и плакала навзрыд.
 И в ночи, российским бездорожьем,
 По пластам оплаканной земли,
 По равнинам веры и безбожья
 Паренька убитого везли.
 Он молчал, покорный небожитель,
 Не постигший ни добра, ни зла,
 И его последняя обитель
 Накрепко сколочена была.
 Были залпы. Говорились речи.
 Над крестами плыли голоса.
 Только мать не подымала плечи
 И рвала седые волосы.
 Капали дождевики и слезинки,
 Прожигая призрачную мглу,
 Разносились их хлопки по цинку,
 Словно канонада, по селу.
 Хлынул ливень. Это было в среду.
 И вздохнул кладбищенский квадрат.
 Сорок лет со дня Святой Победы
 Он не убаюкивал солдат.
 Жизнь угасла тихо и безвестно,
 Словно уголёк в сухой золе,
 Но не смолкнет канонада сердца
 На прекрасной и большой земле.



Марина СТРУЖОВА

Москва



* * *

А росла я под яблоней «Белый налив»,
 в ожидании дивного дива,
 и она, надо мною листву расстелив,
 шелестела утешно-дремливо.

Не запомнились дождь и осенняя грязь,
 только мир совершенства и блага.
 Лепестков розовато-жемчужная вязь.
 Сока сахарно-кислая влага.

Мне под деревом этим не петь, не стареть,
 но навек не забыть в одночасье:
 сквозь цветущие ветви на солнце смотреть
 —
 ощущение чистого счастья.

* * *

Переполнен ульями заброшенный дом,
 где прошло моё детство своим чередом.
 Там рои от морозов хранят.

Запах мёда и небо за пыльным окном,
 грезят в сотах личинки младенческим
 сном,
 зреет в жалах целительный яд.

Засыпая, невнятные хоры поют,
прославляя простой насекомый уют,
ожидая весенних лучей.

...Обречённость и необратимость судеб
ощущаются чётче от мысленных скреп
с жалкой грудой чужих кирпичей.

* * *

Заглянувший в колодец, увидит икону.
Неведомо — чью.
Под торжественный хор
накрывают колодец холстом
и тебя над водою.
Стоишь у земли на краю,
дышит холод в лицо, и себя осеняешь
крестом.

Это бабушка в детстве.
Один из рассказов о старой Руси.
Тот источник потом уничтожить
Советы решат.
Он завал размывал, всё равно,
сколь камней не вози,
Сколько щебня не сыпь...
И опять богомольцы спешат.

Вижу новое фото: лужайка лесная
в шалфейном цвету.
А над срубом — часовня резная
и купола блик.
Представляю ту девочку
и глубины высоту,
где сквозь воду горел, приближаясь,
Владимирской лик.

* * *

Словно в наростах жалящей соли,
чернозём пронизавшей к зиме,
индевет корявое поле
под зеркальным обломком во тьме,

Здесь беззвучны удача, потеря,
в мире без очага и костра,
если зверь и преследует зверя,
смерть в зубах молчаливо-быстра.
А ты думаешь в городе где-то
всё иначе, поближе к огню,
к дому, к храму, вопросу, ответу...
Я тебя за наивность ценю.

* * *

«Люблю Россию» — просто
код культурный,
абстрактный.
Есть конкретность сёл и рек,
к ним в подлинной любви — кулацкой,
и честен, и опасен человек.

Он не за Кремль, за дом в корявых
вишнях,
за поцелуй — на фронт, в переворот.
Но если ты без крова и без ближних,
«Люблю Россию» — лишь
культурный код.

* * *

— Для России рожай! —
убеждают друзья.
— Для России рожай! — упрекают враги.
Мол, иначе спастись в лихолетье нельзя,
понаедут чужие — из дома беги.

Здесь давно все проблемы
решают за счёт
женщин. Их отвечать за разлад
приучив —
наклепают ещё, коль Кремлю припечёт,
наплодят, словно кошки, мозги
отключив.

В нищету, на войну, в лагерь, на правёж.
И потом, как запахивают урожай,
так детей в эту землю уложат за ложь.
А сейчас говорят: для России рожай!

* * *

Мне бабушка говорила
тайнственно и напевно:
в Гражданскую это было,
пришла к ним в село царевна.
Держалась она достойно
в одежде простой из ситца,
твердила: осилим войны.
Просила за Русь молиться.
В рассказанном лжи не вижу:
какое же самозванство
не в Лондоне, не в Париже,
в Рязани учить крестьянство,
скитаться в года лихие,
казаться мечтой о чуде.
Укрыли леса глухие,
не выдали добры люди
ни власти, ни волчьей пасти.
И так она кочевала,
ни крошечки не просила,
ни грошика не искала.
Обители, сёла, тропы,
дороги о край Европы.
Гражданская. Глушь. Россия.
Царевна Анастасия.



Наталья СТРУЧКОВА

Кстово, Нижегородская область



* * *

Про заповедные тропинки
Хранимой Богом стороны
Стихи приходят из глубинки
И только боль –
из глубины.

В глубинах памяти и сердца
Порой рождаются слова
Из неразрывного соседства,
Из сердцевины естества.

Слова по каплям собираю,
Как собирают сок весной.
Текут по резаному краю
И проступают над корой.

Одна лишь правда в мире дольном
Способна этот мир хранить...
И мне почти уже не больно
Тебе об этом говорить.

* * *

В деревне ярче звёзды.
И звёзд на небе – много!
Мелькают снег и вёрсты,
И белая дорога,

Идущая сквозь сердце
По краешку земному
От зрелости до детства
И от чужбины к дому.

Сожмётся даль ночная,
Смежая быль и небыль.
Когда труба печная
Жизнь выдыхает в небо,
Всё видится иначе.
Я возвращаюсь чаще
Сюда, где ива плачет
Над Русью уходящей.

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАКАТ

Какой закат оранжевый!
Разлитый на дорогу.
Пораньше бы, пораньше бы,
Пораньше бы немного...
На десять лет пораньше бы
Пройти? Не разминуться.
Какой закат оранжевый!
Как апельсин на блюде.

ПОЛОВИНКА

Не вернётся голубка в стаю.
Да и голубь кружит один.
Как же целое составляют
Из разрозненных половинок?

Половинка моя родная,
Отшумел белокурый май...
На земле не бывает рая,
А на небе не пустят в рай.

ВИННЫЕ ЯГОДЫ

Ягод винных пора наставшая,
Ночь погасит в домах огни.
Всё тепло у земли забравшие,

Нас дурманят теперь они.
Опускаются тени длинные
На дорожки в твоём саду.
Эту бражную, эту винную
Мы не сможем прогнать беду.
Мы не будем уже вчерашними
В остывающем октябре.
Это ягоды были бражными,
Да осыпались на заре.

ОДИНОКИЙ ПАСТУХ

Закат отпылал над землёй и потух
Горячий, кровавый, высокий.
Сыграй для меня, одинокий пастух,
Такой же как я, одинокий.

Нам ночку с тобой коротать до утра.
Играй для души, друг сердечный,
Чтоб звёзды, как искры ночного костра,
Поплыли дорогою млечной,

И ветры мелодию эту несли,
И сосны на ветках качали,
Услышало небо дыханье земли
И музыку вечной печали.



Светлана СЫРНЕВА

Киров

**ПОЛОВОДЬЕ**

Ещё ничего не осело,
ещё ничего не прошло,
но просится в лодку несмело
и пробует воду весло.

Старанья по-прежнему жалки,
бесплодны они, как вчера:
сегодня не будет рыбалки,
сегодня не будет добра.

Скрипят потемневшие сходни,
под воду ведут, в никуда.
Я к жизни вернусь не сегодня
и даже не знаю, когда.

В потоке вселенского света
болезненный мнится излом,
кренясь, цепенеет планета
в провальном витке холостом.

Как тягостно ждут, сиротливо
весенней листвы деревца!
Люблю я речные разливы,
а нынче им нету конца.

Летит обезумевший поезд,
мелькают селенья вдали.

И рощи в пучине по пояс
стоят, не касаясь земли.

Колеса стучат, спотыкаясь,
мелькают мосты, провода.
Дороги, с пригорков спускаясь,
под воду ведут, в никуда.

Так жизнь, в никуда убегая,
торопится всюду поспеть.
Я знаю, настанет другая,
и следует лишь потерпеть.

Иссушит все воды по краю,
растратится всё колдовство...
Как много, как много я знаю,
как много я помню всего.

ОКЕАН

Вот убежать и остаться бы тут,
видеть ночами в морозном окне:
тёмные ели по небу метут,
сопротивляясь метельной волне.

Весь деревянный посёлок уснул,
вжался в сугробы, ушел в темноту,
чтобы холодный, безжизненный гул
из пустоты пролетал в пустоту.

Может быть, весь поднебесный поток
грозным движеньем охвачен давно.
Может, и мир человеческий лёг
на океанское тёмное дно.

Что ж, человек! Ты покоя просил,
чистого неба искал ты в судьбе,
но от вселенских мятущихся сил
некуда нынче укрыться тебе.

Катятся волны одна за одной,
волны качают, зовут к забвению.

И поглотил океан ледяной
неуязвимую лодку твою.

ОКРАИНА

Вот и окраина возле моста,
где дровяные задворки прогресса.
В воздухе вешнем печаль разлита
прямо до кромки далёкого леса.

Тут и пройдишь в колее стороной,
словно и сам ты на жизни прореха.
Жалобно жёлоб звенит жестяной,
долго висит бесполезное эхо.

Здесь в почерневших дворах ни души,
словно и люди вовек не живали.
И для кого они так хороши,
золотом неба покрытые дали!

Каждый себя отложил на потом
в жизни своей неказистой, короткой,
каждый глушил себя тяжким трудом,
каждый пропитан слезами и водкой.

Что ты, гармоника, кличешь-зовёшь
стопку, накрытую корочкой хлеба?
Брось, гармонист, – ты ещё поживёшь,
зря ты так рано собрался на небо!

Не убивайся, что ты некрасив,
не вспоминай, что тебя истерзали.
И не гляди, не гляди на залив
полными слёз голубыми глазами.



Сергей ТЕЛЮК

Москва



* * *

Памяти Ирины...

Что за мороку мне придумал Бог?
Ведь с горем тут вовек не разминуться.
Ах, если бы уснуть и не проснуться!
Но путь змеится – катится клубок.

Священна указующая нить.
Покуда помню, ей не оборваться, –
в мечтах не раз придётся возвращаться
(без этого попробуй-ка прожить).

И явь, как сон. И лишь тебя всё нет,
хотя подчас блаженство может сниться...
Нет, нашей встрече больше не случиться.
Ты в прошлом. А на нём, увы, запрет.

* * *

Ввалилась осень в тесные дворы
золотистым праведным уютом,
блаженным кратковременным приютом
для стариков, бомжей и детворы.

Ещё недавно смурый небосвод
сияет синевой над головами,
и может вновь казаться временами,
что жизнь, как в детстве медленно течёт.

И пусть иное во главе угла
привычной круговерти повседневной,
но есть моменты чуткости душевной,
где не одни без продыху дела.

* * *

Как ловко обустроен этот мир!
В нём жизнь и смерть неотвратимо рядом,
И, зная, что бокал, быть может, с ядом,
ты пьёшь его, приняв за эликсир.

А под ногами вьётся пыль дорог.
А за спиной обочины с крестами.
Друзьям и близким,
шедшим рядом с нами,
подводится безвременный итог.

Вновь утро, словно в армии подъём,
чтоб в нужный час без лишних заморочек
на лист вольну легли хоть пару строчек,
коль суждено родиться им потом.

* * *

Словно жизнь в одночасье прошла.
Полыхнула, сгорела дотла.
Ветер стихнул и замер ковыль.
Не клубится дорожная пыль.

Только вот на душе нелегко.
Огляделся вокруг – никого.
Заскули – и ни вдоха в ответ.
Ты свободен на весь белый свет.

Даже если не мил он тебе –
ничего не изменишь в судьбе.
И печалью полна тишина.
Это чаша твоя – пей до дна!



Владимир ТЕПЛЯКОВ

Москва



ТОМЛЕНИЕ

Обречённостью дышит
завидная с виду судьба.
Перед сходом лавин тихо-тихо в горах.
Тихо-тихо.
За минуту до старта,
за две – до триумфа, со лба
колебанья изгнав,
плавники расправляет пловчиха...

Но забвению предан
победный её пьедестал.
И, никем не воспетая,
листья роняет берёза...
Перед сходом времён
правит бал жутковатый металл,
цепенеют уста,
и у статуи меняется поза.

Перед сменой эпох,
перед новым скончанием дней
проклинают пророков
и жертвы приносят Ваалу.
Но уже предстоит по следам
безымянных коней
триумфально промчат
своего седока Буцефалу.

Предстоящая смута
 вперёд высылает гонцов.
 Перед сменой эпох
 исчезают красивые лица.
 Карфагену конец.
 И пикируют на «близнецов»
 Начинённые злобой
 сентябрьские две единицы.

Появление на свет
 незаконнорождённых идей
 диссиденту Афин
 полагается sprыснуть цикутой...
 Непокойно у Гроба.
 Клеймит супостата злодей.
 И провидческий сон
 посылается где-то кому-то.

ВТОРАЯ НАТУРА

Безнадёжно забытое слово
 произвольно приходит на ум.
 Жизнь чудна и делиться готова
 чудным навыком — жить наобум:

обещать — и забыть, и забыться,
 и всему предпочесть забытьё;
 и *духовной* уже не томиться,
 уходя в затяжное питьё;

видеть всё — а твердить о незримом
 и кричать что есть мочи «горим!».
 На Отчизну, объятую дымом,
 Не в обиде лишь пьяные в дым.

Но цепляет всё та же убогость,
 как ни пичкай себя красотой —
 где главенствует милая строгость
 наравне с миловидной мечтой.

ДВИЖЕНИЕ

Чья-то речь — как цветущая слива,
 Но за ней поспеваешь едва.
 Говорить не умею красиво:
 Тяжело подбираю слова.

Торговать научились румянцем —
 Нарумянили бледные дни...
 Без помех наделяются глянцем
 Описанья мышшиной возни.

Но от первых рулад и поныне
 Подбираю слова, как друзей,
 Чтобы голос, звучащий в пустыне,
 Был не *глас вопиющего* в ней.

Мудрецом я, как видно, не стану.
 И со злом не активно борюсь...
 Но почти притерпелся к обману,
 Да и правды уже не боюсь.

Солнце, как не любить твои пятна!
 Ровный свет не толкнёт за межу:
 Будешь занят лишь тем, что занято,
 Или тем, что понятно ежу.



Аршак ТЕР-МАРКАРЬЯН

Москва

**ТАНЦЫ В ОБЩЕЖИТИИ
ЛИТИНСТИТУТА**

Словно пламя
на ветру
пунцовое,
Обнажив на миг девичью стать,
Танцевала Лада Одинцова,
Молодо –
стихам своим под стать!..
Лебединым жестом рук,
рассчитанным
На полет
к закатному лучу,
С локонами,
на плечах рассыпанными,
Словно дождь
в берёзовом лесу!
Подбоченясь –
через всю гостиную –
Каблучками стукнула...
И вот –
Закружила
пёрышком
гусиным...
(Одарённый поглупел народ!)
Из Ростова,
Краснодара,
Ровно.
Из других, пока безвестных, мест;

Мы, таланты –
Лермонтову ровня,
Потому что жизнь
в запасе есть!
От рябин румяная прохлада
Зычно осветила тишину...
Господи, из-за чертовки Лады
Я теперь семь суток не засну!..
Будут мои строки закалёнными,
Выстраданным –
не сгореть в огне!
Критикой ещё не заклеимённые –
Честные, прижались
К стене...
Расступитесь! –
дайте больше воли
Выплеснуться!..
Годы – ходуном...
Справа – Б. Примеров,
Вася Воронов,
Слева я – бочком,
особняком...
Из глубинки, хлебом небогатой,
Вот они, живые – налицо:
Николай Анциферов,
Богданов,
Джангар Насунов,
Николай Рубцов.
Слушаем мелодию внимательно,
Счастливы, что поступили в «Лит»!
Правда,
места нет нам в хрестоматиях
(Вдоволь места у могильных плит...).
Кожей ощущая мрак свинцовый,
Сузилось
трагически
кольцо...
Но танцует Лада Одинцова
На глазах
бессмертных пацанов!..

* * *

Я услышал зловещее:
«Кар-р-р!»,

Но не мог шевельнуть даже пальцем...
 То ли облако, то ли Икар
 Над дорогой степною скитаются.
 Мне б глоток родниковой воды,
 ..Жадно лижут на поле следы,
 Опьянённые кровью, шакалы
 (На сто вёрст – звёзд далеких огни!
 Майских трав серебристых каскады...)
 И –

 трусливо хохочут они,
 И клыки пожелтевшие
 Скалят!
 Что мне делать?
 Валяюсь в пыли,
 Как на стройке ненужная шпала...
 Я уже стал частицей земли,
 А душа ещё не отлетала!
 То уйдёт,
 То вернётся ко мне,
 То прогонит шакалов за балку...
 Рядом скачет казак на коне
 Возле плачущей каменной бабы!
 Ветер шепчет...
 Пожалуй, усну
 На польни, лучами согретой,
 Я теперь никогда не умру –
 Даже... через четыре столетья!

СОВРЕМЕННАЯ МОЛИТВА

Мне бы ещё надышаться листвой,
 Слушать восторженный крик парохода.
 Нет, умирать не хочу и весной –
 Это не то время года!
 Утро на землю идёт по лучу
 И озаряет деревья, и воду...
 Летом тем более я не хочу –
 Это не то время года!
 Я до конца не сумел разгадать
 Шелест колосьев и птичью свободу...
 Можно ли осенью мне умирать? –
 Это не то время года!
 Русые ветры. Румянец густой
 Зорькой застыл на лице небосвода...

Что я, дурак? Не хочу я зимой –
 Это не то время года!..

НА КЛАДБИЩЕ В РОСТОВЕ

Осыпается холмик отцовской могилы,
 Зарастает травой покосившийся крест...
 Даль дороги, куда ты меня заманила,
 Что остался один-одинешенек, как перст?
 Никого впереди! Только звёзды мерцают
 И с испугом глядят с высоты, не дыша,
 Где-то там, на Дону, белый лебедь мелькает
 В синеве, как последняя в мире душа!
 Я, наверно, три жизни нелегкие прожил,
 Как покинул родимую землю Арцах,
 Потому и прошу: ты прости меня, Боже,
 Что цветы не полил на могиле отца!

ЗЕМЛЯКУ

Сколько лет нам с тобою отмерено?
 Что нас ждёт впереди – свет или мрак?
 Мы отчизне нужны, Юрий Мелихов,
 Из станицы Мешковской казак.
 Что ж не сядем на старого мерина,
 Не уйдём от смертельных атак...
 Постоим за себя, Юрий Мелихов,
 Из станицы Мешковской казак.
 На юру машет крыльями мельница
 Журавлям вслед не может взлететь!..
 Будто тёзка Григорий Мелихов,
 Что из чаши испил огонь и медь...
 Переменится, перемелется,
 Солнце полно отвесит поклон...
 На боку зазвенит, Юрий Мелихов,
 Саблей выгнутой батюшка-Дон!



Галина УМЫВАКИНА

Воронеж

**БУНИНСКИЙ ЭПИГРАФ**

*Где нет уже ни счастья, ни страдания,
А только всё прощающая даль...*

Так раньше было иль казалось...
А нам откроется едва ль —
та всё прощающая давность,
всё примиряющая даль.

И не кончается, и длится
тот горькой памяти урок,
хоть и оплаченный сторицей,
да не пошедший нам во прок.

Как широки родные дали!
А мы всё видим вновь и вновь
ту, оскорблённую страданием
беспокаянную любовь.

* * *

Давай ещё немного погостим
у жизни, на родимой стороне,
что держит нас, как сеятель, в горсти
и жнёт, и забывает на стерне.

Зла не держи, не гневайся, не плачь,
не бойся и пощады не проси:

тут колыбель твою качал палач
и страж острожный на руках носил.

Кликушествовать брось — разуй глаза,
не причитай и душу не трави:
здесь птицы нас манили в небеса
и внуки выросли из травы.

Нам в прошлое заказаны пути,
грядущее чем дальше, тем странней...
И всё ж давай покуда погостим
у жизни, на родимой стороне.

**ВОПРОСЫ ИЗ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

Зря ль под лавою шрапнелевой
в гнев дыбилась страна,
и примеряли шинели мы
гоголевского сукна?

Зря ли к родине неласковой
сохранили мы любовь,
под дерюжкой некрасовской
согревая нашу боль?

Зря ли грозными утратами
жизнь была опалена?
Зря что ль ватника Ахматовой
не носили мы дотла?!

В ОЖИДАНИИ РОЖДЕСТВА

А если б Он не был рождён
в Иудее тогда, в Вифлееме, —
а где-нибудь здесь: в землянке,
сараях иль хлеве;
среди наших чащоб, и болот, и равнин,
и отрогов,
под небом метельным,
где звёзд не видать над дорогой?

А если б родился Он тут –
 у какой-то безвестной Маруси,
 в народе огромной страны,
 что потом назовёт себя Русью,
 куда не сыскать ни дороги, ни русла,
 ни брода?
 Да нету ещё ни страны таковой,
 ни народа...

И завтра родится Он вновь
 далече отсюда, в пещере,
 у юной Марии – от рода Давидова
 дщери.
 И снова волхвы звезду ту узнают
 на небе,
 и вновь пастухи позабудут о доме
 и хлебе,
 и снова над миром
 фаворское встанет сиянье,
 и к нам донесут его Ангелы покаянья.

* * *

За межою пограничною,
 за рубежною верстой –
 ничего не видно личного,
 сколь, уставившись, ни стой.

И за далью той кромешною
 (день прошёл – и был таков)
 ничего не видно грешного,
 кроме горсточки стихов.

Только память беззаконная –
 где ни края, ни конца,
 да за тьмою законною
 тень от милого лица.



Валентин УСТИНОВ

Москва



ЯСТРЕБИНОЕ ЗАХАРОВО

Дикий крик ястребиный.
 Я резко очнулся.
 Над глазами сиял между вётел прогал.
 Дальний лес за речною излучиной гнулся
 и к дворянской усадьбе аллеей сбегал.

Загудело пространство –
 и вдруг распрямилось.
 Старый дом за рекою колонны подъял.
 Засияла округа – как божия милость.
 И сирени затеяли розовый бал.

Золотой колоколец далёкого смеха.
 Двери хлопнули, будто затеяв пальбу.
 И курчавый малец по перилам поехал,
 чтоб, скатившись, упасть в молодую траву.

Где вы, ястребы неба?
 Я знаю: над полем
 от сурепки медовым и властью золотым
 вам не надо искать сокровенную долю,
 просто надо быть жизнью –
 сиреневой в дым.

Я не помню твой голос,
 стремительный Пушкин.
 Помню утро твоё и сиреневый бал.

Помню: «Саша!» — призыв с недалёкой
опушки
твоей бабушки — Машеньки Ганнибал.

Ах, какие в Захарово ветры и дали!
Пушкин к липе припал,
на скамейку присел.
Все мы славе и доблести время отдали.
Ястреб в солнечном ветре
бессмертно висел.

Всё потом, всё грядёт:
и любовь, и свершенья,
и сраженья, и гибели яростный стон...
А пока — только ястреба в небе круженье.
Только наш удивительный сон.

В этот день я проспал посредине
вселенной
миг рожденья, миг смерти
и вечность меж них.
Словно жил меж травы — бесконечной
и тленной.
И трава нашептала написанный стих.

МОИ РОДНЫЕ БОЛОТА

Веет в полудень ветер — смятенно
и горько.
Я вошёл, как в острог,
в синезубчатый лес.
И родимый до боли
силуэт Вольной Горки
за полями, стогами, кустами исчез.

Заструились ручьи — поперёк и вдогонку.
Трясогузка тропу колотила хвостом.
Над озёрцами вихри вершили возгонку —
из горячего пара творили фантом.

Жизнь моя, это ты остроглазою птицей
(вся стремительна, зла, то черна, то бела)

промелькнула крылатою тенью по лицам
и в родные болота меня завела.

Трясогузка с тропы
с жёстким клёкотом взмыла —
словно коршун: холодный
безжалостный взгляд.
Здесь я вырос и вызрел —
меж хлябями ила —
может, миг, может, вечность назад.

Никогда не забыть вересковое поле,
стоны топей, блуждающий призрак огня...
Никогда не забыть мне дурман гоноболи.
Никогда-никогда не забуду я боли
тех любовей, что строили в жизни меня.

Словно радость и стыд —
в безобразных болотах за Мстою
по закатной дорожке кикимора
мимо плыла.
Я не стою любви предзакатной, не стою.
Но она ведь была.

Всем заблудшим скажу я:
любите, терпите.
Ваша жизнь — как полуночный сказ
про любовь.
И любой — как стоящий на росстани
витязь.
Посреди мирозданья,
в змеином болоте — любой.

Ночь совой закружилась с беспшумным
облётом.
Но село замерцало вдали, как маяк.
Шёл я, шёл — как по жизни —
по топким болотам.
И надежды звезда выводила меня.



Александр ФИГАРЕВ

Нижний Новгород



* * *

Нам юность на мгновение дана
И то, что есть сейчас, – неповторимо.
А жизнь скучна, когда она длинна,
А будущее всё равно незримо.

Нелёгко будет и чудесный груз
Воспоминаний, что лежит у сердца.
Я думал, стану старым – застрелюсь,
Чтоб в зеркало со смехом не смотреться.

Где обезьянье, гнусное лицо
Насажено на складчатую шею,
Чтоб не вползть моллоском на крыльцо,
Униженному немощью своею.

Хотелось лечь мне у твоих дверей,
Чтоб видела ты юное обличье.
Но становлюсь я с каждым днём
мудрей
И в старости уже ищу величье.

Пусть поведёт меня любви звезда
Через года, события и страны.
Быть может, стану старым и тогда
Самим собою – настоящим стану.

* * *

Вырастало под тонкой кистью
Чудо-дерево, а на нём

Расцветали цветы и листья
И горели они огнём.

Ах, какая же здесь отрада,
Что под солнышком и луной
В Виноградове не винограда,
А малины полным-полно.

Посреди золотой метели
Запорхали в цветах – легки,
В луговой, цветной карусели
Эти бабочки-метельки.

Словно солнечная царица,
Клюв раскрыв, запоёт вот-вот,
Села хохломская Жар-птица
Может быть, Иванушку ждёт.

ПРОЩАНИЕ

Над моею буйной головою,
Вытканное светом изо льна,
Закачалось над рекой Пскововой
Волчье солнце – белая луна.

Об асфальт зацокали подковы,
В гул машин с тревогою вплетясь.
Неужели ратоборцев Пскова
Из далёких мест выводит князь?

Разомкни свои лебяжьи руки
И в свои объятья не зови.
Нам не о любви, а о разлуке
Плакали и пели соловьи.

С высоты я Русь окину взором.
В гуле реактивных голосов
Светят величавые озёра,
Как щиты среди воинства лесов.

Парашюта крылья за спиною,
Будет встреча – сеча средь ночи.
Связь времён звенит во мне струною,
Песня, как оружие, звучит.

Андрей ШАЦКОВ

Москва



«ОСТАЁТСЯ – РОДИНА...»

К 75-летию со дня рождения В.И. Фирсова

В жаркое и душевное воскресенье – 11 сентября 1955 года (именно жаркое, ибо 16 сентября того же года в Москве был установлен абсолютный температурный рекорд: + 28° С), 100 лучших поэтов вышли на улицы столицы. Они группировались вокруг памятников своим великим предшественникам и около входов в книжные магазины, чтобы встретиться там с любителями поэзии, почитать стихи, подписать книги. Участвовали все – от молодого Евгения Евтушенко до Константина Симонова.

Наверняка был в их пёстрой компании и первокурсник Литературного института – 18-летний уроженец Смоленщины Володя Фирсов, в тенниске с короткими рукавами и лихим чубом на голове.

На следующий год День Поэзии проходил с ещё большим размахом, и тогда же из печати вышел первый альманах с тем же названием, замысел которого, говорят, возник у Владимира Луговского, а в подготовке участвовала редколлегия, среди которой были Ярослав Смеляков, Павел Антокольский, Семён Кирсанов, Роберт Рождественский и другие. Он вышел в удивительной обстановке хрущёвской «оттепели». В сборнике поместили тогда стихи реабилитированных Павла Васильева, Николая Заболоцкого и других «опальных» поэтов. Наконец-то стали доступны миллионам читателей стихи Марины Цветаевой. Огромная книжка, амбарного формата, искренне полюбилась миллионам читателей, ежегодно прибавляя в тираже и популярности.

Последний «День поэзии» вышел в 1990 году, после чего прекратил своё существование. Поэтов тогда вытеснила политика...

21 марта 2006 года на круглом столе «служителей муз», проведённом в стенах Министерства культуры России, где мне посчастливилось в то время работать вместе с замечательным человеком, тогдашним Министром культуры, внуком писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова – Александром Соколовым, единодушно прозвучало настояние о возрождении «Дня поэзии» – издания, за свою пятидесятилетнюю историю ставшего символическим для нескольких поколений отечественных поэтов. Не скрою,

это решение было подготовлено во время наших долгих дружеских бесед с Владимиром Ивановичем Фирсовым, отблески поэтической славы которого до сих пор не дают спать его многочисленным завистникам и недоброжелателям. И в том же 2006 году регулярный выпуск альманаха был возрождён!

В мае 2011 года в моей телефонной трубке негромко прошелестел голос, раньше сотрясавший многочисленные аудитории: «"Боец", надо увидеться!» . Это был В.И. Фирсов – лучший, по моему глубокому убеждению, поэт конца XX века, которого мы, за смелый,



решительный характер и негибаемую волю, почтительно именовали в своём поэтическом кругу – Командармом. Но вместе с тем, он оставался в душе тончайшим лириком, вся поэтическая любовь которого была обращена на службу Отечеству. Воспитанник Александра Твардовского, задушевный друг Михаила Шолохова и Юрия Гагарина – он сам казался мне воплощённой частичкой этой Отчизны. Кто не знает его щемящих душу строк!

*Родина суровая и милая,
Помнит все жестокие бои...
Вырастают звёзды над могилами,
Славят жизнь по рощам соловьи.*

*Что грозы железная мелодия,
Радость или горькая нужда.
Всё проходит.
Остаётся – Родина,
То, что не изменит никогда.*

То, что происходило в стране с поэзией (да и не только с ней), конечно, не могло не ранить Командарма. Последние два года он тяжело болел, практически не цепляясь за жизнь, и если бы не его верная жена – Людмила Васильевна...

Владимир Иванович как бы высох. Совсем тихим стал его голос. Однако взгляд золотисто-карих глаз был по-прежнему твёрд и светел. «Послушай, зная, что ты никогда не оставишь наше дело, я хочу подарить тебе, как человеку возродившему выпуск «Дня поэзии», свою гордость – самый первый номер этого сборника – с моим юношеским стихотворением!»

Надо ли говорить, что почувствовал я, принимая последний дар любимого товарища. «Могучая» книга, «огоньковского» размера в красной обложке. На ней типографски напечатаны все автографы участников тогдашнего альманаха.

«Подпишите, Владимир Иванович», – взмолился я, протягивая ему ручку и раритет. Он несколько раз пытался взять в руки перо, но потом грустно улыбнулся и лишь покачал головой.

Чтобы скрыть невольные слёзы, я отвернулся и перевёл разговор на другое...

Владимир Иванович Фирсов умер в Москве 17 ноября 2011 года, не дожив 162 дня до своего 75-летия. Весть о его смерти застала меня в Санкт-Петербурге. На похороны успел примчаться прямо к отверстию могиле на Троекуровском кладбище, где долго целовал холодный лоб ушедшего вместе с Великой эпохой Великого поэта! «Всё проходит – остаётся Родина...» почему-то подумалось мне.

Последний альманах «День поэзии. 2011» со стихами Владимира Ивановича, как обычно вышел в 2012 году к празднованию Всемирного дня поэзии (ЮНЕСКО), отмечаемого в день весеннего равноденствия – 21 марта. До него он не дожил всего 126 дней.

Уже работая над данным материалом и внимательно рассматривая первый – 1956 года выпуска, «День поэзии», я сделал неожиданное открытие. На самой последней странице альманаха, с техническими данными, на которую обычно никто не заглядывает, маленькими буквами значится: *ДЕНЬ ПОЭЗИИ*** Редактор В. Фирсов. Художник Ю. Боярский...*

Стихи, опубликованные в альманахе «День поэзии. 1956»:

Владимир ФИРСОВ

СВАРЩИК

*Он режет темноту и таль,
В его руках перо жар-птицы.
Он ныне тружеником стал,
Окончив лишь вчера учиться.
Он смог увидеть ясный свет.
И с детством не успев проститься,
Он уносил из детских лет
Свою мечту – перо жар-птицы.*



Владимир ХОХЛЕВ

Санкт-Петербург



ПРОГУЛКА

Я шёл по небу, под ногами
Метался мелкий, звездный сор.
За тонкими луны рогами
Я слышал тайный разговор.

Небесный воздух чист и нежен,
Я надышаться им не мог.
Покой небесный был безбрежен.
Я знал – его хранитель Бог.

Его лучи меня касались,
Мне Божий свет был маяком.
Я шёл по небу, мне казалось,
Что с небом я давно знаком.

Дорога поднималась в гору,
Похожая на млечный путь.
Я на горе увидел город,
Где мог – устав – передохнуть.

Ворота, скрипнув, открылись,
За мной над тихой мостовой
Туманы юности клубились...
И путь оканчивался мой...

ГДЕ ТЫ, РУСЬ?

Я иду дорогою покатой.
Вновь блистают в даях миражи.
Где ты, Русь Святая, как когда-то?
Покажи себя мне... покажи.

Восхити мне душу благовестом,
Покрести уверенной рукой.
Где ты Русь – пречистая невеста?
Где твой вечный, неземной покой?

Я твоих молитв ищу стремнину,
Верой освящённые пути,
Прохожу бескрайние равнины
И не знаю, где тебя найти.

В храмах ты таишься, на погостах?
В оживающих монастырях?
Хоть высок я – не хватает роста
В русских разглядеть тебя полях.

Сердце убивается тоскою
По тебе, Святая Русь-земля.
Сердце я молитвой успокою,
И уйду в бескрайние поля.

ЧЕТЫРЕ НЕБА

Небо-кошка лунным блеском
Выгибает спину-ночь.
И движением не резким
От зари уходит прочь.

Небо-лебедь расправляет
Над зарёю крыльев сень.
Мягко на землю слетает,
Начиная новый день.

Небо-пёс на землю лает
Светом ярким, золотым.
В белых облаках играет
Синим воздухом густым.

Небо-рыба в сеть заката
 Непременно попадёт,
 Чтобы ночью небо-кошку
 Встретил чёрный небо-кот.

* * *

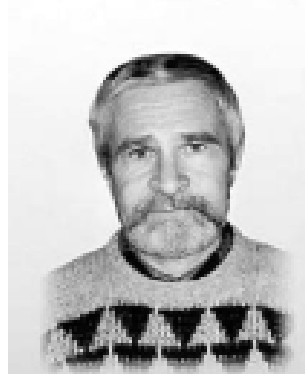
Земля качалась под ногой,
 Продавливалась твердь,
 Когда решил, совсем нагой,
 За веру умереть.
 Когда завеса сорвалась,
 Тряхнуло небеса.
 Тогда немногие из нас,
 Услышав голоса,
 На землю пали. Дождь пошёл.
 Расколот громом миг...

Тогда распятым вдруг нашёл,
 Но от Него не отошёл
 Скорбящий Бог-старик.



Евгений ЧЕПУРНЫХ

Самара



* * *

Договор между светом и тьмой,
 Договор меж душою и телом,
 Между мужем и падшей женой,
 Меж системою и беспределом,
 Меж надеждой и чёрной тщетой,
 Меж дорогой и скукой сидельной,
 Меж одной параллельной чертой
 И другою чертой параллельной,
 Между крестиком, что на груди,
 И крестом над соборною крышей,
 Меж бродягой, уснувшим в грязи,
 И младенцем, ниспосланным свыше.
 Договор, что древнее всего,
 О котором не шепчутся все...
 Никогда не читал я его.
 Но, наверное, он существует.

* * *

От свадеб драчливых и злых похорон,
 От звёзд, опрокинутых в старость,
 От диких, счастливых, жестоких времён
 Лишь слово «товарищ» осталось.

Суров и спесив ваш взыскующий взор,
 В котором есть суть неживая.
 Простите, товарищ, что я до сих пор
 Товарищем вас называю.

«Товарищ!» – кричу я. И слышно стране.
 «Товарищ...» – шепчу я убого.
 А что ещё делать безгласному мне,
 Чтоб нас уравнивать хоть немного?..

«Товарищ, а где наша спайка сердец?» –
 Я думаю, в странной обиде.
 (Какой ты мне, на хрен, товарищ, стервец?
 Я что? Настоящих не видел:

Тревожных, и светлых, и чудных на вид,
 Навек отделённых от стада?..)
 «Простите, товарищ!»
 Но он не простит.
 А мне и не больно-то надо.

* * *

Там, на фотокарточке пропавшей,
 Старый друг сжигает партбилет!
 Скорость света меньше черепашьей,
 Ибо не до всех доходит свет.

Ну, и что, что сжѐг. Игра и только.
 Разливай коньяк, лучистый бес.
 Выдохнув, скажу: «Дурак ты, Колька:
 Всё равно – с билетом или без.

Потому как в русском диком поле
 Ничего не пропадает, брат.
 Тут не только рукописи, Коля,
 Тут – и партбилеты не горят...»

* * *

На честном слове держатся миры –
 Души и плоти хрупкая основа.
 Давно бы всё сошло в тартарары,
 Но кто-то дал однажды это слово.

Меняются условия игры,
 Хрустят, как стѐкла, робкие надежды,

Трепещут и шатаются миры.
 Но тот, кто слово дал, тот слово держит.

Презревший и хулу, и похвалу,
 Он осеняет всякую обитель.
 И знает он, что я тебя люблю
 И что тебя я никогда не видел,

Что ты устала ждать, что я устал...
 Стократно ты, а я тысячекратно...
 Но он за нас с тобою слово дал
 И слов своих он не берѐт обратно.



Вита ШАФРОНСКАЯ

Псков

**ОДИНОЧЕСТВО**

С небосвода упавшие звёзды
Средь холмов и крестов не найдёшь.
Разрастаются в поле погосты,
А когда-то здесь сеяли рожь...

Тишиной величавого Крома
Вновь на сердце тревога легла...
Мне во Пскове всё с детства знакомо —
Сеть проулков, сады, купола...

Как зимою июльское солнце
Средь прохожих встречаются те,
Кто открыто в ответ улыбнётся
В невесёлой мирской суете.

И душа отворится без стука,
Сразу станет невидим порог...
Как же мало мы знаем друг друга,
Как же каждый из нас одинок!..

В ДЕКАБРЬСКУЮ СТЫНЬ...*Памяти Беллы Ахмадулиной*

В декабрьскую стынь, у зимы на пиру,
К окну расписному приникну...
Я знаю, что тоже однажды умру,
Но к мысли такой не привыкну.

Недобрую ветер затеял игру,
Пугая: «Настигну, настигну!...».
Конечно, я знаю, что тоже умру,
Но к смерти никак не привыкну...

В окно надышу, нарисую, сотру,
Тебя издалёка окликну:
— Мой милый, я тоже однажды умру,
Но к смерти никак не привыкну,

Чужой не бывает!.. Мы в этом миру
Как будто в ладошках у Бога
Пригрелись. И шепчем сквозь
сны поутру:
«Пожить бы ещё хоть немного...».



Андрей ШАЦКОВ

Москва – Руза, Московская область



НАД РОДИНОЙ

Над Родиной в тоске полынных трав
Восходит солнце Спаса ярым оком.
Несутся табуны, хвосты задрвав,
И березняк сочится свежим соком.

Течёт светила огненный металл
На холм, открытый сказочным красотам,
Где я, как в детстве, руки разметал,
Чтоб насладиться девственным полётом.

«Не покидай меня, моя весна!» –
Кричу и не надеюсь докричаться.
Пока придёт последняя война,
Позволь пребыть в уделе домочадца.

Позволь успеть благословить судьбу
За то, что жил в «неправильные» годы
И заступил Батыеву тропу
В урочный час свинцовой непогоды...

И бешено бежит по жилам кровь,
И мреет над рекой горячий аэр.
Не покидай меня, моя любовь!
Не оставляй извергнутым из рая

С рукой, дрожащей мелко, от нужды,
И горечи постигнувшей утраты...
А по Руси шатаются дожди
И шастают Иуды и Пилаты!

Но даже если грянут образа
Со стен и мир вокруг перевернётся,
Я верю, что бедовые глаза
Меня приветят взглядом у колодца!

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РЕКВИЕМ

Памяти Марины Шацковой

Ты забыл нас в сумерках, Ярила,
За три дня до встречи Рождества...
Восковую руку уронила,
Не окончив знаменье креста.
Плыли тучи в северном приходе,
Шли дожди, стуча о корку льда.
До чего не вовремя приходит
И не в пору зимняя вода.
Я бы, если мог, беду руками
В вашем топком городе развёл,
Чтоб мосты поднялись в небо сами,
Шпиль на Петропавловском процвёл.
Я бы мог... да расточились силы
По бесплодно прожитым годам...
На краю безвременной могилы
Брату руку зябкую подам.
Он нальёт вина, отломит хлеба...
Мне ль не знать по праву старшинства,
Как уходит Ангел дымом в небо
Даже накануне Рождества.

В СУМЕРКАХ ГОДА

Сумерки декабрьские года.
Толща снега и короста льда.
За окном такая непогода
И метель такая, что беда.

Зачерпнули пади студень мрака,
Зацепили сосны клок небес.
Спит без задних ног моя собака
И скулит во сне про зимний лес,

Где пришлось с утра в сугробах лазать,
Живность разгоняя по кустам...

Спи, мой друг, верна, голубоглаза.
Спи, моя святая простота.

Со своими синими глазами,
Гордо поступь лаячью храня,
Ты моей понравилась бы маме,
Только нету мамы у меня.

Ты лежишь в её пустынном кресле,
Где она, являясь по утрам,
На меня глядит и молча крестит,
И зовёт свечу поставить в храм.

Ну, а ты толкнёшь холодным носом
Седину хозяйского виска:
«Кто здесь был?» – и следом за вопросом
Лютым татем явится тоска.

Спи, мой друг, не веря Новогодью.
Жизнь прошла, остался маскарад.
По погостам расточившись плотью,
Близкие уходят в райский сад.

Только снег поскрипывает глухо
На исходе пасмурного дня...
Спит мой друг, настороживши ухо,
Будто, вправду, слушает меня.

* * *

Как жалко, что этих усталых снегов
По жизни осталось всё меньше и меньше.
Усталых друзей и усталых врагов,
Устало тебя покидающих женщин.

Ты даже их след замечать перестал
На выпавшей ночью метельной пороше,
Покрывшей ступеней резных пьедестал,
Что кажется каждое утро положе,

Чем в полночь, когда колотилась пурга
В закрытые окна – легка на расправу...
Как жалко, что рано устали снега.
И сколько им таять, не ведомо, право.

ЧЁРНЫЙ СНЕГ

Памяти
Владимира Ивановича Фирсова

«Пусть будет чёрный дождь
И чёрный ветер...»

В.Фирсов

Он чёрен был. Его родила ночь
В безумии циклонного набега.
Он падал вниз, стараясь перемочь
Следы того – обыденного снега,
Который накануне Покрова
Уже белел в оврагах и лощинах.
И опускали ветви дерева
В покрытых чёрной копотью лещинах.
Он был стокрыл, как стаи воронья,
И также вился в рамке небосвода,
Кресты церквей в полуночи кренил
И пеленою застилая воды
Не ставших рек, чьей кровотоком питал
Не мёрзнувшие на зиму болота.
И чёрных вод касался чернотал,
Цепляя их корнями у заплота...
Такие снега в чёрных снах идут
И в них ложатся лучшие поэты.
В таких снегах кресты не процветут
И не раскроют венчик первоцветы...
И странны были эти чудеса
И морок ледяного подсознания:
Разверзнутые долу небеса
И тёмные пороши наказания
За то, что жизнь не сладилась пока
И затерялась в пустошах дорога...

И чёрные идут, идут снега.
А белые не выпросить у Бога!!!



Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Санкт-Петербург



ДИГОРИЯ

Изгиб, излом — и нет дороги...
 Нелепо, как в дурном кино!
 И вспоминается о Боге —
 Ему всегда не всё равно.

Ревёт мотор на грани срыва.
 Чуть-чуть назад... Вперёд... Вираз...
 Налево — лезвие обрыва.
 Направо — зубы скалит кряж.

Потеет на спине рубашка,
 Как в зной из погреба вино...
 Водитель — на бровях фуражка —
 Хохочет... Чёрт, ему смешно!

И на заоблачном пределе
 Последних лошадиных сил,
 Скрипя мостами, еле-еле
 Вползает в небо старый ЗИЛ.

А вдалеке печальный демон
 Несёт домой пустой мешок...
 Я — наверху! Я занят делом!
 И мне сегодня хорошо!

И я живу... Ломаю спички...
 Курю, как будто в первый раз,

И вредной радуюсь привычке,
 И пелена спадает с глаз.

Здесь солнце на сосновых лапах
 Качается, как в гамаке.
 Здесь можжевельниковый запах
 Живёт в болтливом ручейке.

Здесь, как гигантские тюлени,
 Слезятся утром ледники.
 Здесь тучи тычутся в колени
 И тают от тепла руки

И, выгибая рысьи спины,
 Да так, что пробирает дрожь,
 Рыча, царапают вершины...
 И дождь вокруг! И сам я — дождь!

МАРИНЕ

Скрипит под ногами ледок.
 Чирикает воробышка.
 Меняет и наш городок
 На плащик худое пальтишко.
 Любимая, вот и весна,
 Снега уползают в овраги...
 Вот брякну в сердцах: «Не до сна!»
 И двину из греков в варяги,
 Минуя распутный Париж,
 В котором полно чернокожих,
 И снежные хищники с крыш
 Не прыгают на прохожих,
 И каждый случайный сугроб
 Сметанен и даже творожен,
 И всякий любовный микроб
 Опознан и уничтожен,
 И веник у них не цветёт,
 А наш — посмотри! — расцветает...
 Любимая, я — идиот:
 Европа стихи не читает!
 Не смейся, родная, прошу,
 И пусть непростительно трушу,

Виктор ШИРОКОВ

Москва



ТЩЕТА

Я с детства веровал в талант,
улыбками лучилась рожища...
Силён будь только, как Атлант,
а всё прекрасное приложится.

Прошли в борении года,
шагреновою стала кожаща,
и понял я, что без труда
едва ли что-то в жизни сложится.

А всё ж не понял, идиот,
мечтами мучась безответными,
что очень быстро жизнь пройдёт,
и все вопросы будут тщетными.

ДУРДОМ

Одурев от вина и «Ранеток»,
я сегодня отнюдь не грущу;
10 самых красивых брюнеток
в Интернете активно ищу.

А потом, подустав от картинок,
перед тем как захлопнуть «дурдом»,
10 самых красивых блондинок,
может быть, я найду перед сном.

ЦВЕТОЧКИ

А.

Приняв с утра рюмашку,
хочу купить скорей
сиротские ромашки
для Анечки моей.

У ней такая тяга:
с небесной высоты
пролить любовь как влагу
на сорные цветы.

Как ни бывало тяжко,
как ни пугала жуть,
всегда цветы-бродяжки
ей облегчали путь.

Пусть простоят хоть сутки,
зато глазам сладки
в стакане незабудки,
в бутылке васильки.

Подснежникам, мимозе
и ландышам средка
отряхивала слёзы
жены моей рука.

Конечно, я порою
дарил (пусть вздрогнет свет),
аж с праздничной каймою
особенный букет.

То лилии, то розы,
то целый сноп гвоздик...
Но поперхнётся прозой
внезапно мой язык.

От страсти свирепея,
вдруг память даст под дых,
ведь знаю: нет милее
цветочков полевых.

Опять вздыхаю тяжко:
хочу купить скорей
сиротские ромашки
для Анечки моей.

ЗАЩИТА ЛУЖИНА

Лужи на улице – хоть не вылазь.
Дома же всё шито-крыто.
Лужина ль это с Россией связь
или простая защита?

Ветер со снегом колюч как наждак,
валит ларьки и палатки.
Твидовый носит Набоков пиджак
с шёлковой скользкой подкладкой.

Жизнь продолжается, как ни крути...
Слово, хотя и дефектно,
сиюминутный порыв укротив,
нежится в плюсквамперфектум.

СОЛОВЕЙ И УЛИТКА

Милая, порадуй хоть улыбкой,
ещё лучше песенку пропой;
(соловьём быть лучше, чем улиткой),
медный грошик выдай на пропой.

Ничего другого не взыскую,
с головой накрыл девятый вал...
Я сегодня по тебе тоскую,
как уже давно не тосковал.

Подхватил тебя судьбы конвейер
и облез давно шиншиллий мех...
Боже, Боже, – я шепчу с доверьем, –
подари надежду на успех.

Как так вышло, что легко даётся
только то, что можно потерять...
Мы с тобой, как два канатоходца,
на канате встретимся опять.

Если падать, то, конечно, вместе,
чтоб погасла за звездой звезда;
чтобы труд остался делом чести,
чтобы ложь исчезла навсегда.

СТРАТОНАВТ

Ау, моя душа, веди благопристойно
себя, смотри – опять на улице весна.
Венозное метро с утра везёт на бойню
немой рабочий скот в слепых опметках сна.

Так шпроты подают, откупорив в «Ашане»,
так жмутся к фонарям сквозь
щупальца

ночей...

Я тоже здесь стою и прядую ушами.
Качается вагон. Не развернуть плечей.

Скорей свернись, как уж,
сложись легко, как веер,
И выброси снежком заученную грусть.
Я стратонавтом был.

Я вырос в стратосфере.
И я СССР запомнил наизусть.

Огромная страна, разбитая на льдины,
под натиском ветров крошится до сих пор.
А я ещё держусь за Альда и альдины,
тот книжный дефицит мне как голодомор.

О чём ещё сказать, в какой признаться
блажи?

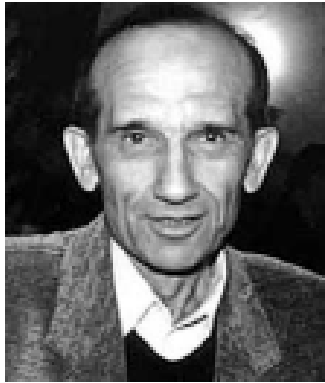
Найду ли наобум родимое пятно?
Вернусь домой, пойду на кухню, разбодяжу
любимый чёрный чай...

Теперь уж всё равно.



Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Москва



* * *

У брата на Березине
в эмалированном ведре
до срока намокают грузди,
укропом пахнет тишина,
и я один живу у брата,
где золотая от заката
в окне течёт Березина.

* * *

Дым, улета в небеса,
плывёт по тёмному безднюю,
а в доме свет и голоса.
Осенней ночью
под ладонью
скрипит на яблоке роса.

СЧАСТЛИВЫЙ АДВОКАТ МАКЕЕВ

Они кричат: – Моя! Моё!
И никуда от них не деться.
Как в золотое забытьё,
на перерыв –
уходишь в детство.
Там от суда и до суда
сигналят встречные суда,
и заполняют перерывы
к воде свисающие ивы...

ВОСПОМИНАНИЕ О СЛАВГОРОДСКОЙ ПЫЛИ

Это пыль на обочине,
или поэзия пыли,
или полустихи, полупроза
на бутылках портвейна
молдавского красного.
Тихий Славгород в жарком июле,
иногда проезжает по улице автомобиль
и за ним подымается облако пыли,
залетая в окно бухгалтерии УЖКХ.
Все ушли на обед и окно не закрыли.
А оттуда по радио
плачут виолончели.
Голос диктора:
– Каприччиозо Сен-Санса.
И взмывает душа,
вспоминая качели.
На обочине белой дороги
долго ждём грузовик,
и курлычет под камнем родник.
Удлиняются тени, уходит жара.
С огурцом в кобуре участковый
высматривает завхоза,
объезжая плакучие ивы над Сожем.
От него не уйдёшь...
Пыль показывает следы.
Их приятель лесник
истерзался вопросом:
почему нам всё время видна
одна сторона Луны?
Неужели Луна не вращается?
Плачет после второго стакана,
под задумчивым взглядом завхоза.
Между тем раскалённое солнце
зашло за леса
и на Славгород с неба спустилась прохлада.
– Посоли огурец и не плачь.
– Наливать ему больше не надо.
Тихо реют под звёздами их голоса.

Алексей ШОРОХОВ

Москва



* * *

Д. Ильичеву

Каждый день — как по краешку
бездны.

Год за годом — вперёд и вперёд.
Будто кто-то прямой и железный
Там, внутри, в напряженье живёт;

Будто тянет протяжно и глухо,
Как открытая ветру струна,
Эту песню, что слышу вполуха;
Что кому-то на свете нужна.

Каждый день выхожу я из дому,
Будто с поезда ночью — в пургу.
И боюсь, что родных и знакомых
Сквозь метель разглядеть не смогу!

Всё теряется в вихренном танце
Загустевших, как соты, минут:
Сотни лиц, переулков и станций,
Где нас, может, добром помянут.

Только кажется, что бесполезней
И быстрее всё мелькает во мгле...
Мы давно уж несёмся по бездне,
Как когда-то неслись по земле!

* * *

Вик. Бородиной

Душа, как сад, роняет первый цвет
И алым ветром порошит в зарю.
И только счастья — не было, и нет!
А я опять о счастье говорю.

Как нет любви земной, что без конца,
Которой с детства мы уязвлены.
А есть смешные глупые сердца,
Поющие в предчувствии зимы.

И есть великих сроков череда,
Когда под знаком славы и беды
Пред тем, чтобы угаснуть навсегда,
Качает сад тяжёлые плоды.

* * *

Я человек, и в этом одинок.
Вода в реке, и поле, и деревья —
Весь этот мир, летящий из-под ног,
Всё меньше чувствую своим теперь я.

И что с того, что ветра свист в ушах,
Что умный луч пронзил моря и стены,
Когда я собственный хочу замедлить шаг
И не могу — один во всей Вселенной!

* * *

С. Б.

Одинокая в мире звезда!
Ни души, ни печали, ни тела...
Для чего ж ты так долго летела,
Быть звездою давно перестав?

Только свет — безначальный и злой...
Не томит, а скорее томится,
Обдавая сияющей мглой
Все к нему обращённые лица.

ПРЕДЗИМЬЕ

К. Самыгину

И всюду будет жизнь, как валенок без пары,
Забытый у плетня в преддверии зимы.
Куда б ты не уплыл, какие б злые чары
Тебя не унесли на колеснице тьмы –

Везде отыщешь кров, просевший от заботы;
Везде одни и те ж морщины на челе,
Да горький самогон, как пасынок свободы,
Да сиротливый быт, глядящий из щелей.

Но близко торжество твоей глухой
равнины;
Вот-вот, ещё чуть-чуть – и озарится вся
Под низкою луной, среди звёздной ночи
дивной,
Нездешней красотой и снегом просияв!

НА КРЫМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

А. Фефелову

Плывут Москва-рекой трамвайчики,
Играют солнечные зайчики,
И аккуратные лужайчики
Стрижёт узбек.
Остались в прошлом каравайчики,
Трактиры, бани, балайчики...
Железный век
Идёт путём своим, не спросится,
И по волнам пустынным носятся
Тоска, печаль и миноносица –
Совсем одна.
Все миноносцы пали в омуты,
Лежат, уста стальные сомкнуты,
И пушки длинные, как комнаты,
Глядят со дна.
Империя лежит, ей дремлет.
Родная, с чернозёмом, земляца

Горчит в горсти.
Уже последнее отъемлетя,
И нету ни царя, ни кремлинца
Сказать: прости.
Играй же потихоньку вальсами,
Горилкой, газом, аусвайсами,
Моя страна!
Умрём, сказать «спасибо» некому,
Наверно, и живём поэтому,
Ведь ты – одна.

НОЧНОЙ ПОЖАР

Ген. Полякову

Тьма за окнами – тьма, а не марево
Беспокойных больших городов.
И огромное страшное зарево
Средь ночных неподвижных снегов.

С каждым шагом тревожнее дышится,
С каждым метром – навстречу беде.
Вот сирена пожарная слышится,
Вот промчались... Но где это, где?

Ничего не видать за деревьями!
И зачем мы оставили дом
И бредём нежилыми деревьями
По дороге, покрывшейся льдом?

Что нас выгнало в поле с товарищем?
Что мы ищем в морозной ночи?
Вот проходим с опаской над кладбищем,
Где могилы неведомо чьи.

Всё тревожные мысли проносятся.
– Боже правый, прости, не суди!
И лишь пламя до неба возносится,
Как молитва из грешной груди.



Не робея перед изуверами,
Не роняя духа в страшный век.

Что нетленно – сроду не износится,
Не охрипнет Слова вещей глас...
Ярославны плач со стен доносится,
Что с надеждой молится за нас.

Князь Донской с ордой Мамаю рубится
И хорош в боях Багратион.
Вот Андрей Рублёв на храм любится.
Пушкин жив и словом окрылён!

В Слове живо всё, нам свет несущее,
В нём перо едино и копьё.
И Душа Руси глядит в грядущее,
Продолжая шествие своё.

* * *

Вечера об эту пору душные
Не спасут от зноя тени крон...
Мы с тобою никому не нужные,
Маемся по граням двух сторон.

Далеко ли, близко ль эти стороны –
Встреча не случится ретивой.
Скоро осень, закружатся вороны
В стаях над речною тетивой.

И июлем ниц цветы склонённые
Кто-то в поле выкосит с плеча.
Так же всё, с глазами воспаленными,
Будут просыпаться по ночам

Наши души – дети суматошные,
До морозов, до больших снегов.
По одной бегут столбы дорожные...
А в другой звенит набат веков.

Лишь усталый вздох далёкой женщины
Долетит, как первый луч в рассвет.
И, судьбиной-встречей не отмеченный,
К ней всю жизнь свою идёт поэт.

Андрей ЩЕРБАК–ЖУКОВ

Москва



АНГЕЛ

А на крыше сизый сокол,
А под крышей чёрный грач,
А над миром всем высоко
Ангел, светел и горяч.

Сокол в небе ищет пищу,
У грача она в гробу,
Ангел смотрит, ангел свищет
И трубит в свою трубу...

Он оглянется неспешно,
Он отправится в полёт...
Всё вперёд – спасать нас грешных!
Только, видно, не спасёт...

Час придёт и клювом чёрным
Грач укажет нам маршрут,
И о том пути прискорбном
Перья сокола споют.

ВНУТРЕННЯЯ ИНДИЯ

Детская медитация

Подушав от жизненных фокусов,
Я тихонько сажусь в позу лотоса;
Сижу – выкликаю-кликаю

Я Индию многоликую:
 «Приди со слонами, с коровами,
 С йогами вечно здоровыми,
 Со специями не в меру,
 С Джавахарлалом Неру,
 С жёлтым Гангом, с зелёными кущами,
 С маргышками вездесущими,
 С песнями Раджа Капура,
 С сикхами, зрящими хмуρο,
 С озёрами синими, птичьими,
 С храмами неприличными,
 С лесом, где – твари по паре,
 И с разноцветными сари...»
 Посижу и из лотоса встану –
 Не достать мне до Индостана...
 Но больше уже не кликаю
 Я Индию многоликую,
 Ведь она уже здесь, а не где-то,
 И во мне все её приметы!
 Ни к чему эти глупые клики,
 Я теперь, как она, многоликий!

САЙРА И КАЙРА

На просторе
 в стылом море
 косяками ходит сайра,
 а над морем
 ей на горе
 расправляет крылья кайра.
 Знает сайра
 в стылом море
 много-много тайных мест,
 но она бессильна в споре –
 кайра
 сайру
 всё же съест.

* * *

Вдоль просёлочной дороги
 Ходит козлик однорогий,

Взгляд его предельно строг –
 Будто он единорог.
 Смотрит вправо, смотрит влево –
 Взглядом строгим ищет деву.
 Ноздри вширь, по холке дрожь...
 Только ж деву ж где ж найдёшь...
 Вдоль просёлочной дороги
 Ходит козлик однорогий,
 Взгляд его предельно строг –
 Будто он единорог.
 Смотрит вправо, смотрит влево –
 Взглядом строгим ищет деву.
 Ноздри вширь, по холке дрожь...
 Только ж деву ж где ж найдёшь...
 Вдоль просёлочной дороги
 Ходит козлик однорогий,
 Взгляд его предельно строг –
 Будто он единорог.
 Смотрит вправо, смотрит влево –
 Взглядом строгим ищет деву.
 Ноздри вширь, по холке дрожь...
 Только ж деву ж где ж найдёшь...



* * *

Родина стареет вместе с нами,
Вместе с грушей в папином саду.
Ей не спится зимними ночами,
Долгими и злыми, как в аду.

Жить бы, ничего не опасаться,
Не зависеть сердцем от беды...
Вьюга за окошком скачет зайцем,
Путая от времени следы.

Родина стареет, как и мама
С мыслями: у всех она в долгу...
До последней клеточки до самой
Горько, что ничем не помогу.

Лучше бы не видеть, не терзаться,
Зоркий глаз не пялить в зеркала:
Что там может в сумрак отражаться
Кроме мглы от чёрного крыла?

От Камчатки до балтийской чайки,
До кремлёвских башен и зубцов
Я – свидетель и живой участник
Всех её случившихся рубцов.

* * *

Мы себя постигаем по капле росинки,
Пьём утрами её серебрищийся морс,
Чтобы каждый из нас
до кровиночки врос

В эту твердь,
в чернозёмы её и суглинки,
Унаследовав гибкую стойкость былинки
И надёжность шипа
в хрупкой прелести роз.

Постигаем по звёздам на вечном,
на Млечном,

На пути, где в родстве
наши корни сплелись,
Где дороги, тропинки и стёжки
сошлись

На зверином следу,
на следу человеческом,
На высоком,
струящемся птичьим наречье
В эту даль, в эту ширь,
в эту глубь, в эту высь.

Кто-то путает шаг и теряет надежду,
Кто-то ищет любовь –
обретает тщету.
Эту землю с росой мы храним,
как мечту,
И, смежая в тревожном предчувствии
вежды,
Выпадаем росинками
в зыби прибрежной,
Подхватив в небесах
звёздный свет на лету.

Разве можно в корысти
расчётливо-тонкой
Это всё разграфить
по таблицам-столбцам?!
Постигаем себя
по инфарктным рубцам,
По могильным крестам,
материнским иконкам:
В трудный час мы о них вспоминаем,
поскольку
Устоять невозможно без веры
сердцам.

ПЕСНЬ О ЖИВОЙ ЗЕМЛЕ

Послушай: она еще бьётся и бьётся
На уровне сердца, на взлёте бровей,
Под огненным обручем
позднего солнца,
В клубящейся плазме
небесных кровей.

Жива после ливня, жива после вьюги...
А вдали: мертва как космический тлен,

* * *

По стогам индевет сено.
Сочной озимью вышит дол.
Ах, пустыни полей осенних,
Всё бы вами я шел и шел!

Ветру – воля, душе – молитва.
В позолоте, горчащей чуть,
Столько жизни ещё разлито –
Аж по самую хватит грудь!

И, как будто хлебов краюхи,
Разлеглись да и ждут зимы,
Перекатисты, чернобрюхи,
Перепаханные холмы.

Но о чем я пою? Послушай?!
Разве это хочу сказать,
Если ветер вынает душу
И под окнами ходит тать?

Он скупает родные земли,
Он суёт меня носом в зём.
Если это мы всё приемлем,
Что же внукам-то доведём?

Не спасись под навесом крова
От нагрянувших вдруг господ.
И бесстрашно народ, сурово
Всё спивается у ворот.

Ветрова через душу дышат,
Свищет холод со всех сторон.
– Слышь, Колян?! – А Колян не слышит.
– Слышь, Василий?! – Не слышит он.

Но очухались. Небо – смрадно.
Поздно, братцы! Да что уж тут!
– Заряжай!!! –
И пошел нещадный
И бессмысленный русский бунт.

Охлонусь от раздумий мгlistых.
Волны зыбятся чешуёй.
И взмывают литавры листьев –
Слава осени золотой!

Слава осени! Слава звени,
Что ликует сейчас со мной!
Не спеша по вечерней тени
Возвращаюсь к себе домой.

Никому не уснуть сегодня,
Кто за пазухой теплит день.
У зари – золотым поводья.
Шапка – месяцем набекрень.

* * *

Мне страшно иногда в родимом доме.
Окраина. Луна. И – ни души.
Кресты от рам плывут в дверном проёме
От дальних фар полуночных машин.

Тревожный свет. В углу скребутся мыши,
Скребётся в двери ветер-суховей.
А вдруг да человек недобрый вышел
И замышляет что-то у дверей?

Куда ж уснуть?! Подлунный свет могилен.
Я выйду на крыльцо и оглянусь...
Совсем не страшно в соснах ухнет филин.
Росой зелёной в сердце светит Русь.

* * *

Газ провели. В деревне – радость!
По торжеству – на стол харчи!
Но дед Василий сникнул малость:
«А как мы будем без печи?»

Но всё легко. Тепло в избушке
И остаётся только ждать
День, накукованный кукушкой,
И с телевизором дремать.

Василий мерит синим взглядом
По стенам на исходе дня,
Где чинно со святыми рядом
Расселась вся его родня.

Они пахали, и пилили,
И дружно пели под гармонь.
Они такую жизнь любили,
Когда в печи гудит огонь.

Василий грустно улыбнётся.
Что печь, коль век пошел на слом?
И не понять: откуда вьётся
Дымок последний над селом?

* * *

Сыта водою Вожа по весне.
Я вновь вернулся в детские пределы.
Далёкое... Ты будто бы во сне.
Но ты сегодня плакало и пело.

Приятен мне овечий дух травы
В подтаявших копытцах у сарая.
Плывёт подсолнух в волнах синевы,
Коровий взгляд неспешный повторяя.

Вот дед на вилы взваливает дни,
Вот бабушка идёт ко мне из сада...
Я не забыл: под вёслами они –
Там, за селом, за тихою оградой.

Взгляни сюда! По этой вот тоске,
Которую дорогой называли,
Прошли они, как волны по реке,
Вселенской песней счастья и печали.

Я не забыл, как на коне скакал
Среди цветов, средь врожбы шмелиной.
Мне пел о зорях росный краснотал!
Мне зори губы мазали малиной!

Я помню птичий щебет под стрехой.
Я кровью слышал в хоре песнопений
То бабу за согбенною сохой,
То мужика на пепелах сражений.

Хрипят ветра, хохочет пьяный лес,
Кипит река – проходят поколенья.
Разводят петухи гармонь небес –
«Ку-ка-ре-ку!» – скликаются селенья.

«Ку-ка-ре-ку!» И все мои века
С монгольским игом
и французским пленом,
С немецкой отчеканкой сапога –
Горят в печи берёзовым поленом.

Я не забыл ни счастья, ни любви,
Ни луговых опят круговороты.
И потому, как мёд, созревший в сотах,
Храню весь мир, бушующий в крови.



Евгений ЭРАСТОВ

Нижний Новгород



* * *

На свете счастья нет...

А.С. Пушкин

На свете счастье есть — на берегу Оки,
Пока с тобой блесна и верная тетрадка.
Там в лодочках своих притихли рыбаки,
Там на душе светло, и радостно, и сладко.

На свете счастье есть — о том шумит
камыш

На окском берегу да квакают лягушки,
Ритмично бередят взволнованную тишь
Протяжные стихи пророчицы-кукушки.

На свете счастье есть, и будет, и всегда
Лучиться будет свет с высоких звёзд
небесных.

На доньшке сверкнёт хрустальная вода,
И масляных стрекоз обрушится слюда
На племена живых, на семьи
бессловесных.

На весь подлунный мир обрушится строка
Барочным потолком и звёздною
извёсткой,

И сразу станет жизнь прозрачна и легка,
На небе кружевном проступят облака,
И зазвучат в ушах столетий отголоски.

На свете счастье есть, и оттого легка
Походка муравья, несущего иголку.
Покуда так легка рождённая строка,
Не можешь ты сказать, что жизнь
прошла без толку.

* * *

Как в фильмах Тарковского, гнётся трава
От сильного ветра — всё ближе к излучке
Притихшей реки... Мне даны на поруки
И эта дрожащая в небе листва,
И эти едва уловимые звуки
Тревожного ветра, и эти слова.

Мне песенный дар уготован за то,
Что жить на особинку всюду старался,
Что словно сорняк, на свободу я рвался,
Что мало воды унесло решето.

За то, что всю жизнь я провёл на краю,
Не мял ни тюльпан, ни твою незабудку.
За то, что ни разу я не был в строю —
Не пел идиотом под общую дудку.

За то, что необщие сеял слова
В родимом песке да на книжной
странице.
За то мне дарованы эти права,
Что я не обидел ни зверя, ни птицу.

* * *

На ветлужской старице в июле
Держат марку жирные слепни,
Сосенки застыли в карауле,
Сторожа облупленные пни.

Поднялся до неба муравейник,
И на фоне сторбленных стогов
Безрассудно властвует репейник,
Князь удельный солнечных лугов.

Кажется, что было так от века –
Ласковый кузнечиковый треск,
Еле слышный голос человека,
Карася задумчивого плеск.

Сторона сосновая, родная
Солнечному отдана лучу.
Что такое время? Я не знаю.
Да и знать, наверно, не хочу.

Здесь шмели летают, будто пули,
И лучится первозданный свет.
Может, нас со смертью обманули?
На ветлужской старице в июле
Никакого времени и нет.



Литературно-художественное издание

День поэзии. XXI век
2012 год

Ежегодный альманах

Стихи, статьи

Технический редактор **В. КОРНЕВ**
Корректор **Л. КОБЕЛЕВА**
Дизайн обложки **И. ВОВЧАРЕНКО**

Подписано в печать 15.02.2013 г.
Формат 60x84 ¹/₈. Бумага офсетная
Гарнитура Bodoni. Печать офсетная
Печ. л. 19,5. Тираж 1000 экз. Заказ № 380

Издательство журнала «Подъём»
394036, г. Воронеж, пр.Революции, За
Тел: +7(473) 253-11-34, 253-11-28
E-mail: podiem@mail.ru
<http://www.podiem.vsi.ru>

Отпечатано с готового оригинал-макета в ОАО «Воронежская областная типография —
издательство им. Е.А. Болховитинова»
394071, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 73а.

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Мария АВБАКУМОВА
Анатолий АВРУТИН
Олег АЛЁШИН
Александр АНАШКИН
Лев АННИНСКИЙ
Александр АСМАНОВ
Алёна БАНКИНА
Ника БАТХЕН
Юрий БЕЛИКОВ
Алексей БОЛДЫРЕВ
Владимир БОЯРИНОВ
Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ
Виктор БУДАКОВ
Александр БУНЕЕВ
Константин ВАНШЕНКИН
Лариса ВАСИЛЬЕВА
Марина ВИРТА
Наталья ГАЛКИНА
Александр ГЕРАСИМОВ
Юлия ГИАЦИНТОВА
Александр ГОЛУБЕВ
Глеб ГОРБОВСКИЙ
Надежда ГОРЛОВА
Александр ГОРОДНЯЦКИЙ
Наталья ГРАНЦЕВА
Сергей ДРОЗДОВ
Банр ДУГАРОВ
Валерий ДУДАРЕВ
Евгений ЕВТУШЕНКО
Анастасия ЕРМАКОВА
Александр ЗАЙЦЕВ
Максим ЗАМШЕВ
Николай ЗИНОВЬЕВ
Людмила ЗЛАЧЕВСКАЯ
Геннадий ИВАНОВ
Александр ИВУШКИН
Дарья ИЛЬГОВА
Миля ИЛЬНИНА
Егор ИСАЕВ
Елена ИСАЕВА
Геннадий КАЛАШНИКОВ
Людмила КАЛИНИНА
Людмила КАЛЯЗИНА
Евгений КАМИНСКИЙ
Диана КАН
Бахытжан КАНАПЬЯНОВ
Валентин КАРАСЁВ

Светлана КЕКОВА
Виктор КИРЮШИН
Александр КЛИМОВ-ЮЖИН
Александр М. КОБРИНСКИЙ
Александр КОВАЛЁВ
Кирилл КОЗЛОВ
Сергей КОЗЛОВ
Леонид КОЛГАНОВ
Валентина КОРОСТЕЛЁВА
Владимир КОСТРОВ
Лев КОТЮКОВ
Геннадий КРАСНИКОВ
Алексей КРЕСТИНИН
Юрий КУБЛАНОВСКИЙ
Александр КУВАКИН
Марина КУДИМОВА
Татьяна КУЗОВЛЕВА
Василий КУЛИКОВ-ЯРМОНОВ
Станислав КУНЯЕВ
Александр КУШНЕР
Валерий ЛАТЫНИН
Александр ЛЕОНТЬЕВ
Светлана ЛЕОНТЬЕВА
Евгений ЛЕСИН
Игорь ЛОГВИНОВ
Борис ЛУКИН
Евгений ЛУКИН
Витеслав ЛУТЫЙ
Светлана ЛЯШОВА-ДОЛНСКАЯ
Елена МАКСИНА
Мария МАЛИНОВСКАЯ
Мария МАРКОВА
Новелла МАТВЕЕВА
Олег МЕЛЬНИКОВ
Дмитрий МИЗГУЛИН
Евгений МИНИН
Валерий МИХАЙЛОВ
Сергей МНАЦКАНЯН
Ирина МОИСЕЕВА
Валентин НЕРВИН
Галина НЕРПИНА
Александр НЕСТРУГИН
Александра НИКУЛИНА
Евгений НОВИЧИХИН
Ирина ОБРАЗЦОВА
Григорий ОСИЦОВ
Игорь ПАНИН

Николай ПЕРЕЯСЛОВ
Юрий ПЕРМИНОВ
Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН
Екатерина ПОЛЯНСКАЯ
Василий ПОПОВ
Евгений ПОПОВ
Сергей ПОПОВ
Алексей ПУРИН
Алексей РАФНОВ
Валентин РЕЗНИК
Наталья РОЖКОВА
Андрей РОМАНОВ
Геннадий РУСАКОВ
Анатолий РЫБКИН
Ольга РЫЧКОВА
Юрий РЯШЕНЦЕВ
Константин САВЕЛЬЕВ
Евгений СЕМИЧЕВ
Владимир СИЛКИН
Владимир СКВОРЦОВ
Владимир СКИФ
Сергей СОКОЛКИН
Валентин СОРОКИН
Евгений СТЕПАНОВ
Анатолий СТОЛЯРОВ
Марина СТРУКОВА
Наталья СТРУЧКОВА
Светлана СЫРНЕВА
Сергей ТЕЛЮК
Владимир ТЕПЛЯКОВ
Ариак ТЕР-МАРКАРЬЯН
Галина УМЬБАКИНА
Валентин УСТИНОВ
Александр ФИГАРЕВ
Владимир ХОХЛЕВ
Евгений ЧЕПУРНЫХ
Вита ШАФРОНСКАЯ
Андрей ШАЦКОВ
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Виктор ШИРОКОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ
Алексей ШОРОХОВ
Мargarита ШУВАЛОВА
Андрей ЩЕРБАК-ЖУКОВ
Иван ЩЁЛОКОВ
Евгений ЮШИН
Евгений ЭРАСТОВ

XXI
век